ШОРТ-ЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ



ТАЙНАЯ РЕКА

КЕЙТ ГРЕНВИЛЛ

Гибкая, льющаяся, подобно реке, проза Гренвилл – чистое удовольствие для читателя.
Наталья Ломыкина, Forbes

Тайная река
Кейт Гренвилл

Аннотация
Кейт Гренвилл. Тайная река
Отзывы о книге «Тайная река»
Введение
Чужаки
Лондон
Сидней
Между рекой и лесом
Сто акров
Положить предел
Река крови
Мыс Торнхилла
Благодарности
Об авторе

Аннотация

«Тайная река» – роман о моральном выборе и его последствиях, мощнейшее произведение антиколониальной литературы, созданное на основе семейной истории писательницы Кейт Гренвилл.

В 1806 году Уильям Торнхилл, английский бедняк и человек вспыльчивого нрава, крадет доски, и его вместе с любимой женой Сэл депортируют в Новый Южный Уэльс (будущая Австралия). Невероятная любовь Уильяма к обретенному экзотическому уголку нового мира омрачается тем, что постепенно становится ясно: создать дом для своей семьи означает лишить земли тех, кто здесь живет.

Кейт Гренвилл
Тайная река

Kate Grenville
THE SECRET RIVER

Published by arrangement with Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE and The Van Lear Agency LLC.

Дизайн обложки: Canongate Books Ltd.

Адаптация обложки для издания на русском языке Светланы Зорькиной

Издательство благодарит The Map Collection, State Library of Victoria, and the New South Wales Public Office за предоставленную географическую карту ‘An Outline Map of the Settlement in New South Wales, 1817’ by S.A. Perry

© 2005 by Kate Grenville

© Наталия Рудницкая, перевод на русский язык, 2021

© ООО «Издательство «Лайвбук», оформление, 2021

• • •



Отзывы о книге «Тайная река»

«Выдающееся исследование столкновения культур… Пугающее в своей тщательности описание горестей и ужаса колониализма… Кейт Гренвилл – умудренный опытом автор».

Guardian

«Это тот роман, который следует прочесть каждому».

Irish Times

«Волнующий рассказ о жестоком столкновении двух культур, но к тому же – и в этом выдающееся достижение романа – это еще и невероятно живое описание прекрасной девственной природы».

Mail on Sunday

«Живое и волнующее описание бедности, борьбы и поисков мира».

Independent

«Здесь, в “Тайной реке”, Гренвилл, открывая источники своей кровной связи с Австралией, наконец-то удовлетворяет пожелания некоторых ее критиков придать повествованию большую остроту, ввести больше действия… Описывая Торнхилла, Гренвилл создает образ человека, чья жажда владеть землей совершенно понятна… У Гренвилл Австралия, как всегда, предстает такой прекрасной, что читателям тоже захочется урвать для себя кусочек ее пропеченной солнцем души».

Daily Telegraph

«Роман невероятно умно оперирует на двух уровнях – историческом и частном и философском, поднимая вопрос о том, до какой степени возможно владеть хоть чем-либо, даже собственной жизнью».

Times Literary Supplement

«Чтение “Тайной реки” может заставить вас хотя бы на время отказаться от чего-то менее изысканного».

Daily Express

«Наконец-то нашелся кто-то, кто действительно умеет писать».

Питер Кэри,
австралийский писатель, дважды лауреат Букеровской премии

Посвящаю этот роман аборигенам
Австралии —
тем, кто жили, живут и будут жить
на этой земле

Введение

Прапрапрадед Гренвилл по имени Соломон Уайзмен был лодочником на Темзе. Происхождения он был более чем скромного — один из тех лондонских бедняков, для которых кража нескольких досок из перевозимых им пиломатериалов не считалась делом таким уж зазорным. Но его поймали, и в 1805 году он был приговорен к повешению. В последний момент его помиловали и заменили смерть на виселице высылкой в Австралию. Жене разрешили ехать с ним как вольной поселенке — в те времена это практиковалось широко, потому что в колонии женщин было мало и сопровождение осужденных женами задешево решало проблему.

Попав туда, осужденные становились практически рабами тех, кто уже отбыл свое наказание и поднялся до уровня поселенца. Мужчин могли отдавать в рабство их же вольным женам, как и получилось с Уайзменом. Человек стойкий и разумный, он нашел применение своим навыкам лодочника и тяжким трудом заслужил в 1810 году условно-досрочное освобождение, а полное

прощение — в 1812 году. Он перевез семью на облюбованный им участок плодородной земли на берегу реки Хоксбери, где построил похожий на форт дом, и со временем стал уважаемым гражданином.

В детстве Кейт Гренвилл с мамой ездила посмотреть на этот дом. Мать Кейт была женщиной необычной — она гордилась своим предком-каторжником и пересказывала дочери легенды о нем. Эти рассказы, а также интерес к тому, что значила для коренного населения Австралии колонизация, побудили Гренвилл изучить семейную историю — она намеревалась написать документальную книгу. Но чем больше она узнавала, тем меньше, казалось ей, она знала на самом деле, пока однажды романист, которым она, по сути, и была, не взял верх над документалистом — и она решила освободиться от навязываемой предком точности, попросту изменив имя героя. Река Хоксбери осталась, как и построенный Уайзменом дом, но только теперь в нем поселился Уильям Торнхилл, и этот необъяснимый феномен — воображение романиста — создал нечто, принимаемое читателями за непреложную истину. Исследования сформировали крепкий каркас, воображение населило его героями.

Вполне возможно, что английский читатель останется равнодушным к *самой идее* романа об Австралии, особенно если речь в нем идет об отношении страны к ее аборигенному населению. Нам хватает собственных поводов чувствовать себя виноватыми, поэтому мы склонны аккуратненько так упаковывать чужую вину, навешивать на нее ярлычок «прискорбно», после чего выбрасывать вон из головы. Нам подавай романы, способные пощекотать нервы, в которых было бы написано о том, что мы могли бы потрогать и понюхать, чего могли бы возжелать или чего хотели бы избежать, а не те, которые читали бы из чувства долга. Поэтому важно знать, что этот роман — не «про Австралию». Он о человеке по имени Уильям Торнхилл и о его жене Сэл, о том, как они пустились в предприятие настолько странное, что кажется невообразимым, о том, что это предприятие сделало с ними и как они его пережили. Если уж их история не сможет «пощекотать нервы», значит, у вас их просто нет. Или они какие-то совсем невосприимчивые.

Никогда больше эти люди, отчаявшиеся, растерянные, грязные, девять месяцев проведшие в чудовищной вони корабельного трюма, не испытают того чувства, которое испытали, вы-

бравшись на палубу и увидев скалистый берег с прилепившимися к нему домиками-времянками и простирающийся за ним бескрайний серо-зеленый буш, и не будет больше этого первого удара яростного солнца. Никогда больше мужу и жене с двумя детьми, один из которых совсем младенец, не выдадут пары одеял и недельного запаса еды, не выделят мазанку из ветвей акации с земляным полом: живите, как хотите. «Домохозяйство» должно было кормить себя самостоятельно, а не обращаться в казенный пакгауз — наверное, самый экономичный из когда-либо придуманных способов содержания преступников. Торнхиллы, которые ничего не знали о мире за пределами лондонских трущоб да нескольких миль по Темзе, могли вполне сгинуть в ситуации, требовавшей немалого мужества и смекалки. Одни осужденные выживали всеми правдами, другие — всеми неправдами (и часто за счет самого худшего в себе), но Торнхиллы оказались среди тех, кто открыл в себе невероятные запасы добра — неприметного, обыденного добра, — достойного, однако, восхищения, когда мы увидим, к чему оно их привело.

Главная и самая драматичная часть истории Гренвилл — это ее итог, и здесь особенно вос-

хищаться-то нечем. Бескрайняя серо-зеленая пустота не была, конечно же, пустой. Обитатели умели мастерски в ней скрываться, но это не значит, что их не было. Почти во всем их культура была прямо противоположной культуре колонистов, ни одна из сторон не знала языка другой стороны, и хотя на первый взгляд ничто не препятствовало их свободному общению, это не значит, что они могли бы сотрудничать. Дело не только в том, что аборигены были темнокожими и ходили обнаженными, а колонисты — белыми и считали наготу непристойной. Куда больше рознило их отношение к собственности: колонисты признавали собственность, а аборигенам это понятие было совершенно чуждо.

Сначала Уильям Торнхилл зарабатывал на жизнь доставкой товаров из Сиднея поселенцам, которые завели фермы вдоль берега Хоксбери, а потом понял, что сможет иметь куда больше, если сам станет фермером. Белый человек мог приобрести землю очень просто: выбрав участок, посеяв зерно и сказав: «Это мое». Потому что никаких видимых признаков того, что эта земля кому-то принадлежит, не существовало, да и по представлениям белого человека эта земля действительно никому не принадлежала. Но на

ней могла расти ямсовая маргаритка[1], корнями которой питались аборигены, и в сезон цветения племена приходили сюда, выкапывали корешки, оставляя часть в земле, чтобы и на следующий год можно было собирать урожай. Поколение за поколением они собирали корешки, и когда кто-то, вспахивая землю, выбрасывал желтые цветочки как сорняки, это означало, что в следующем сезоне племя обречено на голод — если, конечно, не заберет себе выросшую на месте маргариток кукурузу, что казалось аборигенам совершенно естественным. Пища — она не для тебя или для меня, она для всех людей, все люди ее едят. Такая разница в понимании неминуемо вела к катастрофе.

Способы, которыми Гренвилл передает растущую напряженность между двумя сообществами, зловеще убедительны. Когда Торнхиллы выбрали участок земли, они его расчистили и построили на нем хижину. Почва здесь была каменистой, стволы деревьев для строительства опор слишком различались по размерам, кора, которой

[1] Примечания: 1

От *англ.* yam daisy (*лат.* Microseris lanceolata) — австралийское многолетнее растение с желтыми цветками и съедобными клубневыми корнями, также известное как мурнонг или ромашка ям. — *Здесь и далее примеч. пер.*

покрывали крышу и стены, оказалась неподатливой, и хижина вышла кривобокая и хлипкая. Днем все были заняты делами, и времени на беспокойство и страхи не оставалось, но когда опускалась темнота, и они сбивались в кучу в их неубедительном убежище, слушая дыхание буша, его шорохи и вопли… Гренвилл заставляет читателей так же трепетать от страха, как дрожала семья Торнхиллов. И даже днем скрывавшиеся в густом кустарнике тени вдруг обретали очертания чьей-то фигуры — а иногда это и *правда* была фигура, — что не могло не пугать. И когда группа аборигенов действительно материализовалась, буквально из ниоткуда, когда они построили свои шалаши, разожгли свои костры и начали совершать свои таинственные ритуалы, словно Торнхиллов здесь и не было, да при этом все мужчины были вооружены наводящими ужас копьями, потребовалось огромное нервное напряжение, чтобы уверять себя: нет, эти люди — не враги.

Большинство поселенцев — а ферм было не так уж и много, и располагались они на большом отдалении друг от друга — не справлялись с этим нервным напряжением, а некоторые вели себя так, будто им действительно что-то угрожает,

и результаты были кошмарными. Уильям Торнхилл, по существу добропорядочный человек, был в ужасе, когда увидел то, чем похвалялся один из его соседей, но ничего не рассказал об этом Сэл — он боялся, что жена запаникует, и это означало бы потерю драгоценного для него куска земли, — таким образом став соучастником неописуемо чудовищного деяния просто потому, что чудовищность была поистине неописуемой. И сначала он даже не понял, что оказался втянутым в тайную необъявленную войну.

В детстве Кейт Гренвилл спрашивала у матери, что случилось с аборигенами, когда их предок начал свою австралийскую жизнь, и мать ответила, что к тому времени, как он сюда прибыл, все они уже переселились вглубь континента. В это стало очень удобно верить. Но исследования столкнули Гренвилл лицом к лицу с правдой, и это была не просто неудобная правда. Это была страшная правда. Временами, чтобы переживать все вместе с Уильямом и Сэл, от читателя требуется огромная выдержка. Но Гренвилл — и в этом великая сила ее романа — также заставляет сочувствовать своим героям, потому что, если кто-то на одном конце планеты решил колонизировать землю на другом конце планеты, сбрасывая на эту землю

преступников и злодеев и не принимая в расчет тех, кто уже обитает здесь, тогда те, кого сюда ссылали, становятся такими же заложниками ситуации, как и те, на чьи землю их выбросили.

Великую историю от просто хорошей отличает лишь одно — как долго ее отголоски звучат в душе читателя, что он чувствует, закрыв книгу, в которой все так отличается от окружающего его мира. Это непросто — выделить качества, которые вызывают такой эффект, но Кейт Гренвилл, рассказав историю Торнхиллов и правдиво описав необъятные просторы, на которых она развивалась, этого эффекта добилась.

Диана Этхилл[2]

[2] Примечания: 2

Диана Этхилл (1917–2019) — издатель, романист и мемуарист, работавшая с самыми выдающимися англоязычными писателями XX в., офицер Ордена Британской империи.

Чужаки

Почти год «Александр» — груженый преступниками корабль — болтался по океанской поверхности. И теперь, в год от Рождества Христова тысяча восемьсот шестой, он доплыл до края земли. Замка на двери хижины, в которой Уильям Торнхилл провел свою первую ночь в каторжном поселении, приговоренный к пожизненному здесь пребыванию, не было. Как, собственно, не было ни самой двери, ни стен как таковых — лишь слепленная из обрывков коры, палок и глины ограда. Здесь, в Новом Южном Уэльсе, нужды ни в замках, ни в дверях, ни в крепких стенах не имелось: решеткой в этой тюрьме служили воды, простиравшиеся кругом на десятки тысяч миль.

Жена Торнхилла сладко спала рядом, ее рука все еще покоилась в его руке. Старший и младший ребенок тоже спали, свернувшись клубочком. И только Торнхилл не мог заставить себя закрыть глаза в этой чужой тьме. Сквозь дверной проем вливалась ночь, огромная и влажная, неся свои

звуки — скрип, треск, чье-то шуршание, и поверх всего — тяжелое дыхание бесконечного леса.

Он встал, вышел наружу — никто не прикрикнул на него, не было никакой стражи, была только живая, дышащая ночь. Вокруг него всколыхнулся напоенный густыми запахами воздух. Деревья уходили ввысь. В ветвях прошелестел легкий ветер, затем и он затих, остался лишь необъятный лес.

Он был не более чем блошкой на теле огромного живого существа.

Внизу, под холмом, в кромешной тьме лежало поселение. Устало пролаяла собака и смолкла. В заливе, где стоял на якоре «Александр», тихо ворочалась вода, с шуршанием терлась о берег.

В небе над ним висел тоненький месяц в окружении бесчисленных звезд, смысла в них было не больше, чем в рассыпанном по столу рисе. Не было здесь ни Полярной звезды, друга, сопровождавшего его в плаваниях по Темзе, ни Большой Медведицы, которую он знал всю жизнь, — всего лишь светящиеся точки, нечитаемые, равнодушные.

Все долгие месяцы на борту «Александра», лежа в гамаке, которым ограничивался весь его мир, слушая, как плещется о борт вода, стараясь разли-

чить в доносившемся из женского трюма гомоне голоса жены и детей, он находил успокоение в том, что перебирал в памяти извивы родной Темзы. Собачий остров, глубокие водовороты возле Ротерхита, внезапное изменение звездной карты, когда река делала крутой поворот на Ламбет, — все это было его жизнью, его дыханием. В соседнем гамаке ворочался Дэниел Эллисон — он дрался даже во сне, женщины за переборкой тихо спали, а перед его мысленным взором проходили повороты реки, один за другим.

И сейчас, стоя в этой громадной дышащей темноте, ощущая босыми ногами прохладную почву, он понял, что жизнь закончилась. С таким же успехом он мог болтаться на конце отмеренной ему веревки. Из этого места не возвращаются, как не возвращаются после смерти. Он почувствовал острую боль, какая бывает, когда загонишь щепку под ноготь — боль потери. Он умрет под этими чужими звездами, и кости его будут гнить в этой прохладной земле.

За свои тридцать лет он не плакал ни разу — ни разу с тех пор, как был совсем мальцом, не понимающим, что плачем не насытишься. Но сейчас горло перехватило, и отчаяние выжало из глаз теплые слезы.

Было кое-что похуже смерти — жизнь его этому научила. Существование здесь, в Новом Южном Уэльсе.

Сначала ему показалось, что это из-за слез темнота перед ним пришла в движение. Но через секунду он понял, что то, что зашевелилось, было на самом деле человеком, таким же черным, как сам воздух. Его кожа поглощала свет, и он казался не совсем реальным, плодом воображения. Глаза у него были словно вдавлены в череп, почти невидимы, каждый в своей костной пещере. Рот и подбородок выступали вперед, все лицо казалось сдвинутым ко рту, крупный нос, складки на щеках. Торнхилл, совсем не удивившись, будто все это ему виделось во сне, разглядел на груди человека шрамы — аккуратные, изогнутые, они, казалось, жили на коже сами по себе.

Он шагнул к Торнхиллу, и рассеянный свет звезд упал ему на плечи. Свою наготу он носил словно мантию. В его ладони, как продолжение руки, было зажато копье.

Торнхилл был в одежде, но показался сам себе голым, словно какая-то личинка. Копье было длинное и серьезное. Он избежал смерти в петле, только чтобы умереть здесь, под этими холодными звездами, когда вся кровь вытечет

из продырявленной кожи! А позади него, едва скрытые кусками древесной коры, спали мягкие, теплые комочки плоти — его жена и дети.

Гнев, этот старый друг, пришел ему на помощь. «Да чтоб у тебя глаза повылазили! — крикнул он. — Иди к дьяволу!» Плеть уже успела убедить его в том, что он злодей, и он почувствовал, что вновь разрастается до ставшего привычным естества. Голос стал грубым, обрел силу, гнев разогрел его.

Он с угрозой шагнул вперед. Разглядел прикрепленный к концу копья острый каменный наконечник. Такой наконечник не проткнет человека легко, словно игла. Он его просто разорвет. А когда копье станут вытаскивать, разорвет снова. Эта мысль еще больше его распалила. «Пошел вон!» — крикнул он. И занес над человеком руку, пустую руку.

Рот черного человека пришел в движение, из него послышались какие-то звуки. Говоря, человек жестикулировал копьем, и оно то исчезало во тьме, то выныривало вновь. Они стояли так близко, что могли дотронуться друг до друга.

В быстром потоке звуков Торнхилл вдруг различил слова. «Пошел вон! — крикнул человек. — Пошел вон!» Слова точь-в-точь повторяли

его интонацию.

В этом было что-то безумное, как если бы вдруг собака залаяла по-английски.

«Пошел вон, пошел вон!» Он стоял так близко, что видел свет, отражавшийся в глазах человека, глазах, что прятались под тяжелыми бровями, видел прямую, сердитую линию рта. У него самого не нашлось больше слов, но он упрямо стоял на месте.

Он уже однажды умер, можно сказать и так. И мог бы снова умереть. У него ничего не осталось — только грязь под босыми ступнями, маленький клочок неизвестной земли. Вот и все, что у него было, да еще эти беспомощные существа, спавшие в хижине за спиной. И он не отдаст их никакому обнаженному черному человеку.

Между ними возникла тишина, послышался шорох ветра в листьях. Он взглянул назад, туда, где спали жена и дети, а когда повернулся вновь, человека уже не было. Тьма перед ним шептала, ворочалась, но то был только лес. Который мог бы спрятать сотни черных людей с копьями, тысячи, целый континент людей с копьями и с этой беспощадной линией рта.

Он быстро вернулся в хижину, споткнувшись в дверном проеме, из-за чего от стены отвалился

кусок коры и смешанной с соломой глины. Хижина не давала никакого укрытия, то была лишь иллюзия безопасности, но все же он приладил кору на место. Он вытянулся на земляном полу рядом с семьей, заставляя себя лежать спокойно. Но каждый мускул был напряжен, предвкушая удар в шею или в живот, он даже ощупал себя, словно его плоть уже пронзила эта ничего не прощающая штуковина.

Лондон

В комнатах, в которых Уильям Торнхилл рос в последние десятилетия восемнадцатого века, нельзя было локтем пошевелить без того, чтобы не задеть стену, или стол, или кого-то из сестер или братьев. Дневной свет с трудом пробивался сквозь маленькие окошки с надтреснутыми стеклами, сажа из чадящего очага покрывала стены.

Там, где они жили, почти у самой реки, улицы были шириною в шаг, и даже в самый солнечный день на этих улицах стоял сумрак, потому что дома жались друг к другу. Кирпичные стены и трубы, булыжник и гнилые доски, беленые известкой, отчего структура дерева становилась заметней. Ряды и ряды насупившихся, нависавших друг над другом домов, выросших из самой почвы, на которой они стояли, а за ними — сыромятни, бойни, клееварильни, солодовни, наполнявшие воздух своими миазмами.

За сыромятнями, во влажной кислой почве, бились за выживание репа и свекла, а за изгородями да стенами лежали низинки, там не сажали

ничего — уж больно мокро там было, только камыши торчали из гнилой воды.

Все Торнхиллы подворовывали репу, дело рисковое: либо собаки покусают, либо закидают камнями фермеры. Вон у старшего брата Мэтти на лбу осталась отметина от камня, из-за чего в тот раз репа показалась не такой вкусной.

Выше всего были колокольни. На этих вонючих кривых улочках, и даже еще ниже, на болотах, от них было не скрыться — смотрели отовсюду. Стоило спрятаться от какой-нибудь за поворотом, как из-за трубы пялилась на тебя другая.

А под колокольней — Божий дом. Жизнь Уильяма Торнхилла, по крайней мере, сознательная его жизнь, началась с самого большого имевшегося у Господа дома — Церкви Христовой у реки. Дом был такой огромный, что, когда он смотрел на него, у него слезились глаза. У входа стояли каменные столбы, на столбах скалились каменные львы, мать подняла его, чтобы он мог рассмотреть их получше, но он испугался и заплакал. И газон был огромный, такой, что, казалось, мог заглотить его целиком, и когда он стоял посреди этой немыслимой пустоты, у него кружилась голоса. По краям газон сторожили кусты, люди, мелкие, словно букашки, где-то там вдали взбирались по

огромным ступеням к входу. Его накрыла тошная, горячая волна паники.

Внутри был невиданный им доселе высоченный свод и такой необычный свет. Какой же большой дом был у Господа, пугающе огромный для мальчика с Теннерс-Лейн. Он видел перед собой затейливую резьбу, покрывавшую все вертикальные поверхности, колонны, что вздымались над сидевшими на скамьях людьми. Все его существо растворялось в безмерной пустоте, а из огромных окон лился холодный безжалостный свет, он не оставлял тени, от него невозможно было укрыться. В этом сером каменном сооружении мальчику в протертых штанишках не стоило искать милосердия.

Он ни о чем таком не думал, он только сразу понял, что Господу нет до него никакого дела.

• • •

С того момента, как он узнал собственное имя — *Уильям Торнхилл*, — ему казалось, что мир населен одними только Уильямами Торнхиллами. Начать с призрака первого Уильяма Торнхилла — брата, который умер через неделю после рождения. Через полтора года, в 1777-м — в «семь-семь-семь» был свой особый ритм, — пришел в

этот мир он сам, и ему дали такое же имя. Первый Уильям Торнхилл был горсткой праха, смешанного землей, а он состоял из теплой плоти и крови, и все равно мертвый Уильям Торнхилл казался ему главным, настоящим, а он сам — лишь тенью.

За рекой, в Лейбор-ин-Вейн-корт, жили родственники, там тоже были Уильямы Торнхиллы. Старый мистер Торнхилл, чья трясущаяся иссохшая голова росла прямо из темных одежек. Потом его сын, Молодой Уильям, который прятался за черной бородой. Возле церкви Святой Марии на Холме был еще один Уильям Торнхилл, большой мальчик — двенадцати лет, — и каждый раз, увидев самого позднего Уильяма Торнхилла, он давал ему пинка.

А когда жена дяди Мэтью, того, что был морским капитаном, родила в очередной раз, сына тоже назвали Уильямом Торнхиллом. Они все пошли посмотреть на младенчика, и когда назвали это имя, то все повернулись к нему, и все улыбались, и хотели, чтобы он тоже улыбнулся, и он так и сделал. Но его смышленая сестричка Мэри, самая старшая, видела, как он скуксился. Потом она двинула ему кулаком в плечо и сказала: «У тебя, Уильям Торнхилл, имя самое обыкновенное», и он почувствовал, как в нем поднялась волна

гнева. Он стукнул ее в ответ и проорал: «Уильямы Торнхиллы заселят весь мир!» И она не нашлась, что сказать в ответ, хотя и была смышленая и всякое такое.

• • •

Сестра Лиззи, слишком маленькая, чтобы подшивать саваны, но уже достаточно взрослая, чтобы таскать на руках ребятишек, заботилась о малышах. В свои шесть лет она носила на бедре маленького Уильяма, чтобы он не ползал по грязи, и запах Лиззи и грубая текстура ее непослушных волос, выбивавшихся из-под чепца, были для него куда роднее материнских.

Он все время был голодным. То был факт жизни: тянущее ощущение в животе, пресный привкус во рту, раздражение и разочарование от того, что еды всегда не хватало. А когда еда появлялась, главное было побыстрее запихнуть ее в рот, чтобы освободить руки и схватить еще. Если он был достаточно проворным, то успевал выхватить хлеб, который младший братик Джон только подносил ко рту, откусить кусок и быстро заглотить. Потому что проглоченное никто уже отобрать не сможет. Но Мэтти тоже не дремал и выхватывал хлеб из ручонки Уильяма, глаза у Мэтти при

этом становились маленькими и суровыми, как у животного.

А еще всегда было холодно. Ему до ужаса, до отчаяния хотелось согреться. Зимой ступни его, там, на концах ног, леденели. По ночам они все дрожали, лежа на гнилой соломе, чесались от блох и клопов, прокусывавших их сквозь лохмотья.

Он не раз разжевывал клопов.

На двух младших Торнхиллов было одно одеяло, они грели друг друга своими вонючими тельцами. Джеймс был старше на два года, одеяла ему доставалось больше, но Уильям, хоть и младший, был хитрее. Он не позволял себе заснуть, пока не услышит храп Джеймса, и тогда стягивал одеяло на себя.

«Ты все время есть хотел», — отвечала мать, когда он спрашивал про себя маленького, после чего заходилась кашлем, и кашель сотрясал все ее тело. Порою казалось, что кашель — вот и все, что от нее оставалось. «Жадный маленький паршивец, вот какой ты был», — шептала она, едва дыша, и он, пристыженный, уходил, но все равно слышал урчание в пустом животе. Он по голосу понимал, что она его не любит, и что-то в нем каменело.

Лиззи говорила про то же, но по-другому. «Жадина! — воскликнула она. — Уж поверь, Уилл, жадина ты был, да и то верно: такие здоровенные парни с ничего не берутся!»

Но что-то в ее голосе говорило, что быть здоровенным парнем не так уж и плохо, а когда она добавила: «Мы тебя называли бездонной бочкой», понятно стало, что она улыбается.

Лиззи была доброй сестрой для всех малышей, умела сооружать соску из тряпочки, хлеба и сладкой водицы, ей хватало сил таскать маленького Уильяма на бедре. Но когда Уильяму не было еще и трех, мать снова стала большой и раздражительной, и другой младенец, а не он, стал самым младшим, и уже того таскала на бедре Лиззи. Уильяму, которого и так преследовал дух мертвого Уильяма Торнхилла, теперь не давал житья еще один братец, Джон. Похоже, его всегда будет стискивать с двух сторон то, что было до, и то, что стало после.

Под ним был Джон, над ним — Лиззи и Джеймс и старший брат Мэтти, и Мэри, самая старшая, он ее пугался, потому что она все время кричала и бранилась. Они с матерью целыми днями сидели под маленьким окошком и шили саваны для похоронной конторы Гиллинга. А еще Роберт, он

был старше Уильяма, но и младше тоже. У бедного Роберта половины мозгов не было, и слышать он толком не слышал, потому что в пять лет заболел лихорадкой и чуть не умер. Уильям как-то услыхал, как мать орет: «Лучше б ты помер, и дело с концом!» У него внутри все похолодело, потому что бедняга Роб был добрым мальчиком, он так улыбался, когда ему что-нибудь давали, — нет, он не хотел бы, чтобы Роб умер.

Па работал на бумагопрядильне, на солодовне, на сыромятне, но нигде подолгу не задерживался. Щеки у него были ввалившиеся, с красными пятнами, будто он злился, и ходил он, как ползал, вечно полусонный, вечно усталый. Когда он говорил или смеялся, слова или смех превращались в нескончаемый влажный кашель. «Трактирщик» — так он назвал себя, когда крестили Джона, но звание трактирщика означило лишь нескольких мрачного вида мужчин из сыромятни мистера Чауберта, собиравшихся в одной из двух принадлежавших Торнхиллам комнат, где они пили эль из грязных деревянных кружек, да ели пироги, что пекла мать, — слишком много теста, слишком мало начинки. Когда по зиме чаны в сыромятне замерзали, то и клиентов тоже не было, и комната пустовала, от половиц воняло

старым элем, из очага — холодным пеплом.

Это было тощее время для Торнхиллов. В пять лет Уильям уже выходил с Па на рассвете на улицы с палкой и мешком — собирать шакшу, собачье дерьмо для выделки сафьяна. Мешок нес Па, а юный Уильям был тем, кто с палкой. Па шагал впереди, с высоты своего роста выглядывая собачьи кучи. Если им не удавалось ничего найти, тогда, чтоб наполнить животы, кроме глинистой речной воды ничего и не было. Но если Па видел кучу, то это было работой мальчика — стараясь не дышать, палкой переложить дерьмо в мешок. Самое поганое было, когда собаки выбирали брусчатку возле Тайерс-гейт: там между камнями были большие щели, и какашки приходилось выковыривать палкой, а то и ногтями, а Па стоял над ним, кашлял и показывал, где еще ковырять.

За полный мешок шакши в цеху, где выделывали сафьян, давали девять пенсов. Он никогда не спрашивал, как именно шакшу использовали, но чувствовал, что скорее умрет, чем станет снова выковыривать дерьмо из плит, которыми был выложен Саутуарк[3].

Но, по правде говоря, когда сосет в пустом брю-

---

[3] Примечания: 3

Саутуарк — один из исторических районов Лондона на южном берегу Темзы.

хе, это похуже вони.

Ма, чтобы раздобыть кусок хлеба, шла на риск, но зато менее пахучий. Вот они — Лиззи, Уильям и Джеймс — наблюдают за ней, спрятавшись за чьей-то повозкой. Торнхилл думает, что намерения Ма чересчур очевидные — вид таинственный, напряженный, идет, словно крадется. Его так и подмывает крикнуть: «Голову выше, Ма! И улыбайся!»

Она подходит к прилавку с книгами. Торговка внутри, в лавке, и непонятно, видит ли она, что происходит у нее возле лотка. Уильяму хочется самому перескочить через улицу, схватить книгу и удрать, а то Ма так возится: перебирает книжки, листает страницы, будто что может прочесть, хотя с буквами знакома не лучше, чем какие-нибудь человечки с Луны. Наконец она прячет одну в складках фартука, и при этом смотрит на книжку, бестолково запихивает ее обеими руками, чуть ли не роняя младенца. До чего ж все неуклюже!

Внезапно возле нее вырастает торговка, вопит: «А ну-ка отдай, миссус!» — они слышат, как Ма дрожащим голосом отвечает: «Что? Да у меня ничего вашего нет!» При этом судорожно сжимает складки фартука, что, несомненно, ее выдает. Торговка, жилистая старая карга, толкает Ма,

отчего та падает на колени, из фартука вываливается книжка, младенец тоже вываливается из рук, катится по брусчатке, вопит.

Торговка наклоняется за книгой, а Ма, хоть и на коленях, успевает треснуть ее по затылку. Хоть и старая, торговка мгновенно подскакивает и бьет Ма книгой по спине — они через улицу слышат громкий шлепок, торговка вопит: «Воровка! Воровка!» Но Ма уже поднялась на ноги, держит младенца в руках, принимается пинать прилавок, книги грудой валятся в грязь.

Это — сигнал для притаившихся за повозкой детей: они несутся через улицу и хватают разбросанные книги. Уильям выхватывает по книжке обеими руками, прямо из-под ног торговки, та отпускает Ма, чтобы отобрать книги, он мчится во весь опор, а Ма, воспользовавшись моментом, тоже улепетывает прочь, и торговка мечется, не успевая никого поймать. Два джентльмена, только что вышедшие из «Якоря», приходят старухе-торговке на помощь, но Торнхиллов уже и след простыл — разбежались, словно крысы в темном закоулке.

У каждого оказалось по книжке. У Уильяма — самая богатая, в переплете из красной кожи с золотыми буквами, точно возьмут у «Лайла» за

шиллинг, и без вопросов.

• • •

Он рос драчуном. К десяти годам другие мальчишки уже знали, что связываться с ним себе дороже. Ярость согревала, наполняла его. Ярость была ему другом.

Были, конечно, и другие друзья-приятели, они вместе болтались по улицам и верфям, хватали ракушки-сердцевидки с рыбных прилавков на рынке, рылись в грязи и иле после отлива в поисках пенни, которые кидали им развеселые джентльмены.

В банду входили его брат Джеймс, гибкий мальчишка, который мог быстрей таракана пробираться по сточной трубе, и бедный туповатый Роб с вечной улыбкой на лице. А еще тощий маленький Уильям Уорнер, самый младший сын мусорщика с Хафпенни-Лейн, и Дэн Олдфилд, чей папаша утонул — он был среди пассажиров ялика, пытавшегося пройти под Лондонским мостом во время отлива, а все потому, что лодочник был мертвецки пьян. Дэн славился умением таскать раскаленные каштаны у разносчика на Фрайинг-Пэн-Элли, он таскал их столько, что хватало и ему, и другим, он их прямо горячими раздавал из

карманов другим уличным мальчишкам. Как-то раз морозным утром — это Дэн придумал — они с Уильямом помочились прямо себе на ноги, и блаженство, которое они при этом испытали, стоило наступившего потом холода. Был также Колларбоун из Эш-Корта, у того было красное родимое пятно в пол-лица. Колларбоуну нравилась Лиззи. «У нее кожа как у монашки», — с изумлением заявил он Торнхиллу и, видимо, вспомнив про свое багровое пятно, покраснел здоровой половиной лица.

Все они подворовывали при случае. Этот их чистоплюй-священник мог сколько угодно распинаться про грех, но никакого греха в том, чтоб украсть что-то, чем можно набить брюхо, уж точно не было.

Как-то раз Роб заявился в нору возле Дерти-Лейн, где они околачивались с пацанами, с одним ботинком, который стащил с витрины обувной лавки. Он прихватил бы и второй, но обувщик увидел его через окошко и погнался за ним. И даже поймал, сказал Роб, но дядька был старый, а он молодой, и сумел удрать. Уильям взвесил ботинок в руке и спросил: «А на что он тебе, только один?» Роб долго думал, аж весь сморщился от усилия, а потом, втягивая слюну, вечно свисавшую с

нижней губы, вскричал: «Продам какому-нибудь одноногому! Он же стоит десять шиллингов, не меньше!» И весь засветился от удовольствия, как будто деньги уже были у него в кармане.

• • •

Пока Лиззи выполняла роль матери для Джона, а потом для Люка, сестрой Уильяму стала Сэл, подружка Лиззи из Суон-Лейн. Сэл была единственным ребенком: она родилась худышкой и, видно, прокляла материнскую утробу, потому что все, кого мать потом рожала, болели и умирали, не прожив и месяца.

Ее семья была ступенькой повыше Торнхиллов, поскольку мистер Миддлтон был лодочником, как и его отец, и отец его отца. Все поколения семьи жили на той же улице в том же узком доме с комнатой наверху, с очагом, который зимой топили углем, с окнами, в которых были вставлены настоящие стекла, а в буфете у них всегда имелся хлеб.

Но все равно то был печальный дом, наполненный крошечными призраками умерших младенцев. И с каждым долгожданным, а потом заболевшим и умершим сыном мистер Миддлтон становился все угрюмее и молчаливее. Успокое-

ние он находил в работе. Каждый день он вставал в раннюю рань и был первым лодочником, поджидавшим пассажиров у спускавшихся к реке ступеней-пристаней. Греб весь день и возвращался домой, когда уже темнело, всегда молча, будто всматривался в свою душу, где пребывали его мертвые сыновья.

Ма и Па Сэл надышаться на свое драгоценное дитятко не могли. Мать все время держала девочку подле себя, трепала по щеке, называла куколкой или конфеткой. У Сэл были всякие вкусности, какие только родителям по карману: и апельсины, и бисквит, и мягкий белый хлеб, а на день рождения ей подарили голубую шерстяную шаль, тонкую, как паутинка. Это были совсем не такие Ма и Па, и Уильям — никто из домашних даже не знал, когда у него-то бывает день рождения, — смотрел на них и изумлялся.

Сэл цвела, окруженная заботой. Она не была красоткой, но ее улыбка освещала все вокруг. Ее жизнь омрачало лишь кладбище, на котором были похоронены братья и сестры. Она все время помнила о них, ломала голову — почему они не живут, а она живет, хотя заслуживает жизнь не больше, чем они, и почему ей досталась вся любовь, которую она должна была разделить с

ними. Эта тень сделала что-то с ее характером, и такого характера, как у Сэл, Уильям больше ни у кого не видел. Он больше не знал никого другого, кроме Сэл, кто не мог видеть, как курице отрубают голову или как лошадь бьют кнутом. Однажды она набросилась на человека, который порол маленькую собаку, она кричала: «Не трогайте, не трогайте!» — и человек отшвырнул собачку и уже было занес плетку над Сэл, но тут Уильям оттащил ее за руку и крепко держал, пока человек и скулящая от боли собака не скрылись за углом, и тогда она уткнулась носом в грудь Уильяму и рыдала от злости.

Было легко мечтать о том, что живешь в доме 31 по Суон-Лейн. Даже название улицы, и то было красивым[4]. Он представлял себе, как живет там, растет в тепле этого дома. И дело даже не в щедром ломте хлеба, намазанном вкусной подливой, — дело в ощущении того, что у тебя есть свое место. Он понимал, что и Суон-Лейн, и эти комнаты были частью самого существа Сэл, а у него ничего такого, что он мог бы назвать своим местом, своим домом, и быть не могло.

И так получилось, что он, чье существование

---

[4] Примечания: 4

Англ. Swan Lane — или Лебяжий переулок.

было отмечено присутствием столь многих братьев и сестер, и Сэл, чье существование было отмечено столь многими отсутствиями, нашли в этом что-то для них общее. Они вместе убегали от вонючих мерзких улиц, через засаженные репой и капустой поля, перепрыгивая через канавы с гнилой водой, — прочь, прочь к пустошам Ротерхита, которые, как они считали, принадлежат лишь им одним. Там было в кустах одно местечко, укрытое со всех сторон, где они прятались от ветра. Бледное небо над ними, простор серовато-коричневой воды, крики морских птиц — это место так отличалось от Таннерс-Лейн, что Уильям чувствовал себя здесь совсем другим мальчиком. Он любил это место, его очищенную ветром пустоту. Ни домов, ни проулков, никто за тобой не смотрит, разве только время от времени там появлялись цыгане, да и они надолго не задерживались, и место это снова принадлежало только им.

И когда начинался дождь, мягкий, ровный, настойчивый, они с Сэл накрывались мешком и наблюдали, как капли пробивают ямочки в серой реке; они не смотрели друг на друга, но глазели по сторонам, и дождь был убедительной причиной не нарушать это состояние, а сидеть

рядышком, наблюдая, как смешиваются белые облачка от дыхания.

Что-то в ее лице заставляло его все время хотеть на нее смотреть. В этом лице не было никаких таких уж примечательных черт, кроме, пожалуй, рта — верхняя губа у нее была полной по всей длине, а не сужалась к уголкам, как у других, и это придавало ей решительное выражение, как будто она в любой момент улыбнется или заговорит. Ему нравилось смотреть на этот рот, ждать, когда она к нему повернется, когда в глазах ее блеснет мысль, которой она непременно с ним поделится, чтобы они могли посмеяться вместе.

Когда он был с Сэл, ему не надо было все время ждать нападения, быть бойцом. Но мальчики есть мальчики, и они делают всякие глупости, например, показывают, как далеко они могут плеваться. Они наблюдали, как изо рта его вырывается сгусток слюны, сверкает в воздухе, плюхается на траву. Она тоже постаралась плюнуть подальше, и Уильям смотрел на ее рот — как она собирает слюну, вытягивает губы, плюет. Конечно, она никак не могла до него доплюнуть, но он позволил ей думать, что она тоже далеко плюется — чтобы не портить удовольствие.

Ему нравилось, что она называет его Уилл. Его

имя носили и называли столь многие, что оно стерлось от употребления, а имя Уилл принадлежало ему одному.

По ночам, когда его толкал в спину Джеймс, кашляли во сне Па и Ма, рядом храпел и хлюпал Роб, когда в гнилой соломе шуршали крысы, ноги от холода покрывались пупырышками, а живот сводило, потому что за целый день в нем не было ничего, кроме жидкой овсяной каши, он думал о Сэл. На него смотрели ее карие глаза.

При мыслях о ней в нем разливалось тепло откуда-то изнутри.

• • •

Когда мама болела в последний раз — Уильяму в тот год исполнилось тринадцать, — она все время вспоминала про львов на столбах у входа в церковь Христа. Она снова и снова проигрывала в памяти, заново переживала случай из детства — как она вскарабкалась на забор и протянула руку, чтобы их погладить. И он чувствовал — словно те ее ощущения переселились в его тело, — как отец отрывает ее от планок забора, он ощущал ту же боль в ухе, что почувствовала и она, когда отец схватил ее за ухо. «Я просто хотела дотронуться, — говорила она и улыбалась бескровными

губами. — Я была так близко, так близко. А потом — плюх! — и снова внизу». Ее костлявая рука с синими вздутыми венами, проступающими сквозь тонкую, как бумага, кожу, протянулась к стене в грязной побелке, узловатая ладонь раскрылась, и она улыбнулась нежной улыбкой той девочки из далекого прошлого.

Вскоре она умерла. Денег на священника, который прочел бы отходную, не было, похоронили ее в общей могиле. В память о ней Уильям на следующий день завернул в тряпку кусок навоза, спрятал под курткой и отправился к церкви. Львы стояли там, с надменным видом, таким же, как и когда мать, еще девочкой, пыталась до них добраться. Он достал из-под куртки навоз и запустил им в морду того льва, что ближе, толстая лепеха дерьма смачно залепила элегантную морду. А теперь вот утрись, думал он, и улыбался весь неблизкий путь домой. И после этого, глядя на льва, каждый раз чувствовал удовлетворение, потому что никакой дождь в мире не мог вымыть дерьмо из львиных ноздрей.

• • •

Вскоре умер и Па, выкашляв себе дорогу в еще

одну общую могилу в сырой земле Бермондси[5]. Семья осталась без главы. Старший брат Мэтти нанялся в матросы на «Оспри» и дома не был уже четыре года. Они получили весточку от него из Рио-де-Жанейро, потом, год спустя, стало известно, что его корабль потерпел крушение возле берегов Гвинеи и он теперь плавает на «Саламандре», они идут к Ньюфаундленду, и он, Мэтти, надеется, что скоро вернется домой, но вот уже два года от него не было ни слуху ни духу.

Когда Джеймсу сравнялось четырнадцать, он в один прекрасный день ушел за реку и не вернулся. Время от времени до них долетали рассказы о том, как он выпрыгнул в открытое окно, унося с собой серебряный подсвечник, или как по дымоходу забрался в спальню к некоему джентльмену и освободил джентльмена от часов. Так что забота о выживании остальных легла на плечи Уильяма.

Какое-то время он работал на месте отца в мануфактуре мистера Потта, но хлопковая пыль, неумолчный шум и грохот механизмов были невыносимы, а после того, как на его глазах маленького мальчишку раздавило, словно креветку,

---

[5] Примечания: 5
Район в центральной части Лондона.

когда его послали подлезть под машину и что-то там исправить, он ушел и не вернулся. Потом работал в дубильне Уайта, таскал вонючие из-за стухшей крови шкуры из повозок к чанам, где на него кисло смотрели насквозь пропитанные химикалиями мужчины. Больше всего на свете он боялся стать таким, как они, вечно торчавшие по пояс в мерзкой жиже и уже почти утратившие человеческий облик.

Когда другой работы не было, он на солодовне сгребал лопатой жмых, из которого было выжато все возможное и невозможное, так что оставалась лишь вонючая волокнистая масса цвета детского дерьма.

Какое-то время он работал в «Неттлфолд энд Мозерз» — выметал из-под токарных станков металлические опилки и стружку, лопатой закидывал в мешки и грузил в телеги. Весь день он взбирался и спускался по мосткам с тяжеленными мешками за спиной — мешки он с трудом удерживал обеими руками за углы, только и глядя, как бы не грохнуться. Он боялся надорвать спину или сломать позвоночник, но стружка и опилки хотя бы не воняли. По ночам мышцы на ногах все еще дрожали от напряжения.

Лучшая из работ, какая у него бывала, — это

грузчиком на верфях. Вдоль реки дул свежий ветер, а пришвартованные корабли напоминали о том, что есть и другой мир — за пределами Бермондси. Здесь, в доке Слоуна, был один нищий — бывший матрос, у него на плече сидел зеленый попугай, так что сзади куртка нищего всегда была изукрашена птичьим пометом. Попугай переминался на когтистых лапах, щипал хозяина за ухо и громко вопил, когда кто-то подходил слишком близко. Это была птица из снов, однако вот она — восседала в своем ярком оперении на плече хозяина.

Он любил доки, потому что здесь всего было в изобилии. Бочонки бренди, мешки кофе, ящики чая, здоровущие бочки сахара, тюки конопли.

А когда всего столько, то кто заметит небольшую пропажу?

Как-то раз Уильям наткнулся на группу мужчин с ломиками в руках, собравшихся на третьем этаже склада. Отковырнуть крышку с ближайшей бочки оказалось делом нескольких мгновений. Дерево раскололось с таким треском, что, казалось, это было слышно по всему складу, однако один из мужчин мастерски изобразил приступ кашля, и никто ничего не расслышал. Внутри оказались кристаллы темно-коричневого сахара.

Сахара было так много, что он казался совсем не тем известным ему веществом, драгоценной горсточкой в бумажном фунтике. Он смотрел на сахар, и рот его наполнился слюной.

«Ох, — произнес один из мужчин, — какая жалость! Бочка-то разбитая!» А другой, с постным пасторским выражением на лице, добавил: «Как говорит Господь наш, расточительство премерзко». Уильям вместе с остальными протянул руку, захватил в горсть сахар и прямиком отправил его в рот. Какая сладость! Эта сладость рождала еще более острую жажду сладости. Тем временем другие быстро ссыпали сахар в небольшие мешки, прятавшиеся у них под куртками, и сбежали, а Уильям все стоял и слизывал сахар с ладоней.

Над головой он слышал грохот катившихся по настилу бочек, откуда-то сбоку доносился скрип лебедок и крики грузчиков, к нему приближались чьи-то шаги. Он оглянулся, но за грудой бочек и тюков его вроде не было видно.

Мешочков под курткой у него не было, имелась только грязная фетровая шапка, так что он принялся черпать сахар обеими руками и наполнять им шапку, а когда шапка наполнилась, стал пихать сахар в карманы, но сахарная масса прилипала ко всему и не желала запихиваться.

Теперь шаги звучали еще ближе, за тюками конопли. Он сунул шапку под мышку и попятился к дальнему углу, где мог бы отсидеться до конца дня, но стоило ему повернуться, стоило ему сунуть шапку под мышку, как прямо перед ним возникла полосатая фуфайка мистера Крокера, десятника. «Отличный трюк, Торнхилл! — возопил он. — Что, лакомство для всякой швали, да?» Мистер Крокер выбил шапку, и сахар полетел на пол. «Дурака из меня делать вздумал, да, Торнхилл?»

Но объяснение у Уильяма Торнхилла было наготове. «Бочка уже была открыта, сэр, когда я тут проходил, — сказал он. — Господом Богом клянусь». И эти слова казались вполне правдивыми, потому что он так и видел внутренним взором, как сворачивает за тюки с коноплей, видит бочку, разбитую крышку, рассыпанный кругом сахар. «Там между бочками и стеной лежало немного сахару, сэр, — продолжал он. — И какой-то дяденька кивнул, мол, я могу взять, в этом нет ничего плохого, сэр, Господь мне свидетель!» Он сам слышал, что его голос звучит вполне убедительно.

Вот только Крокер не слышал, он и слушать-то не собирался. Мир по Крокеру не допускал слож-

ностей: вот мальчик с шапкой, полной сахара, рядом открытая бочка с сахаром, значит, мальчик вор.

Работа прекратилась: все наблюдали за тем, как Торнхилла гнали плеткой все сто ярдов вдоль причала Красного Льва.

Крокер задрал на Торнхилле рубашку, спустил ему штаны до колен и для начала ударил по спине. Бич, хлестнув по коже, издал противный чавкающий звук, и он думал только о том, как бы убежать, но ноги путались в спущенных штанах, а Крокер не отставал ни на шаг.

Он хорошо усвоил этот урок: не попадаться. Колларбоун показал ему, как проковыривать бочонки с бренди — дырочка получалось такая маленькая и аккуратная, что ничего не было заметно. Колларбоун осторожно сдвигал обод к узкому концу бочонка, а потом там, где обод был раньше, просверливал в дереве две маленькие дырочки. Затем доставал жестяную трубочку — она состояла из двух частей, чтобы аккурат помещалась в кармане, — и перекачивал бренди в пузыри, спрятанные под курткой. Торнхилл жадно вдыхал густые пары бренди — от одного только запаха внутри становилось тепло. Колларбоун предложил ему выпить: «Глотнешь

маленько, а, Торни?», и Торнхилл глотнул, а Колларбоун выхватил у него пузырь и сделал такой большой глоток, что стало слышно, как жидкость забулькала в глотке.

Когда оба пузыря наполнились и Колларбоун закрепил их в приделанные под курткой по бокам, под рукавами, петли, он достал две заранее подготовленные щепочки и загнал в просверленные отверстия. А потом задвинул на старое место обод. «Чего глазом не видно… — и он подмигнул. — Или как там говорится в Библии, да, Торни?»

• • •

Каждый год в ноябре непременно случалось утро, когда он просыпался в какой-то особой, словно подбитой ватой тишине. Свет в комнате лился откуда-то снизу, уходил к потемневшим и прогнувшимся потолочным балкам. Он не успевал даже высунуть голову из-под одеяла, однако уже понимал, что его ожидает — снег. Снег укутывал кучи мусора, накрывал своей белизной, глушил вонь сыромятен. Это было здорово.

Но в ту зиму, когда ему исполнилось четырнадцать, река замерзла и простояла подо льдом две недели. Прямо на льду устроили зимнюю ярмарку

с ирландскими скрипачами и танцующими медведями, с прилавками с горячими каштанами, и у всех мужчин и женщин от джина развязались языки. Но для тех, у кого не было ни пенни на каштаны и выпивку, ярмарка была самым тяжким временем. Раз река замерзла, значит, не было работы ни на кораблях, ни в сыромятнях.

Торнхиллы голодали в своей комнатенке на Мермейд-Корт. Мэри все подшивала и подшивала саваны, так яростно орудуя иглой, будто от этого зависела вся ее жизнь, но пальцы от холода едва слушались, потому что в окне, под которым она сидела, не было стекол — оно пропускало не только свет, но и ветер. У Лиззи разболелось горло, она лежала, стонала и тяжело дышала. Джон пытался воровать картофелины в лавке Тиррелла, а Люк стоял на стреме, и еще был Роб, бедный дурачок, он по-прежнему все улыбался, хотя радоваться было нечему.

Их спас мистер Миддлтон, этот мрачный, но, несомненно, добрый человек. Умер еще один младенец, еще один сын, который мог бы вырасти, выучиться отцовскому ремеслу и унаследовать его дело. Что-то переменилось в мистере Миддлтоне — у него больше не осталось надежд. «Он стал очень суровым, — сказала Сэл Торнхиллу. —

Говорит, больше никаких деток». Она помолчала и добавила: «Никаких сыновей. Только я». Она пыталась говорить беззаботно, легко, как будто все это ничего не значило, но он слышал в ее голосе страдание.

А потом мистер Миддлтон сказал Торнхиллу, что мог бы взять его в учение. «Но запомни: никакого воровства, — предупредил он. — Украдешь хоть что-нибудь — тут же вылетишь башкой вперед». Что до сестер, то он знал человека, которому нужны были швеи для незатейливой работы, так что им удастся продержаться.

• • •

В самый сильный мороз того года, в январский день, когда переливающиеся как жемчуг облака, казалось, сами были сделаны изо льда и от холода даже было тяжело дышать, мистер Миддлтон сопроводил Торнхилла от церкви Святой Марии на Холме к зданию Гильдии водников, где Торнхилла должны были официально закрепить за ним в качестве ученика. Он и другие мальчики ждали в длинном, продуваемом насквозь проходе, выложенном стертыми временем плитами. Они сидели на жесткой и слишком узкой скамье, холод от камней насквозь проморозил ему ноги

в деревянных башмаках, но он чувствовал, что в этот день происходит прорыв из его ужасного, голодного и грязного прошлого. Мистер Миддлтон сел рядом, он все еще тяжело дышал после крутого подъема на холм, а Торнхилл вообще почти не дышал: перед ним представало будущее, на которое он и надеяться не смел.

Если он осилит семь лет ученичества, он станет полноправным членом сообщества лодочников Темзы. Людям всегда будет нужно перебираться с берега на берег, уголь и зерно всегда нужно будет доставлять к причалам от стоящих на рейде кораблей. И пока у него будет здоровье, ему больше никогда не придется голодать. Он поклялся себе, что станет лучшим из учеников, самым сильным, самым быстрым, самым сообразительным. А после семи лет, став свободным, он будет самым усердным лодочником на всей Темзе.

А когда у него будет работа, он сможет жениться на Сэл и содержать ее. Как ни крути, а мистеру Миддлтону понадобится сильный зять, чтобы помогать в деле и, что совершенно естественно, унаследовать его. Сегодня для него откроются все прежде наглухо закрытые двери!

Лестница походила на лестницу из сна — закрученная, словно кожура апельсина, вокруг

хлипкой рейки, она поднималась к льющемуся с неба свету. Наверху он замер, и мистер Миддлтон почти втянул его за собой в большую комнату с турецким ковром на полу, сверкающими шандельерами, он чувствовал жар камина и смотрел на темные торжественные лица на развешанных по стенам портретах.

Он стоял позади мистера Миддлтона, который выглядел еще строже и суровее, чем прежде, вытянувшись, словно дворцовый гвардеец, лицом к большому столу из красного дерева, за которым восседали с полдюжины мужчин в мантиях. Один из них, тот, у которого на плечах лежала тяжеленная бронзовая цепь, сказал: «Доброе утро, Ричард, как поживает миссис Миддлтон?» И мистер Миддлтон сдавленным голосом ответил: «Терпимо, мистер Пайпер, не на что жаловаться».

Торнхилл никогда не слышал, чтобы кто-то обращался к мистеру Миддлтону по имени, да и не видел его таким скованным от волнения и смирения. И он понял, что эти люди, сидящие за столом из красного дерева, настолько возвышались над мистером Миддлтоном, насколько мистер Миддлтон был выше него. И на него вдруг снизошло понимание того, как люди возвышаются друг над другом — один за другим, от Торнхиллов в самом

низу до короля, или Господа Бога, на самом верху, и каждый выше другого или ниже другого, и от этого понимания его даже затошнило.

Человек с цепью спросил: «Кто этот малый, Ричард?» — и мистер Миддлтон тем же сдавленным голосом ответил: «Это Уильям Торнхилл, ваша светлость, и я здесь, чтобы поручиться за него». А другой человек спросил: «Умеет ли он обращаться с веслом?» — и невысокий человек на конце стола добавил: «У него руки-то к реке приспособлены?»

Голос у мистера Миддлтона стал повеселее — теперь он был на своей территории: «Да, мистер Пайпер, он на той неделе греб от причала Хея до Сафферанс-дока и от старой лестницы Уоппинга до пристани Фреша». И человек с цепью воскликнул: «Молодчина!» — как будто разговаривал с каким-нибудь мальцом, но мистер Миддлтон никак не отреагировал на это восклицание, словно для него было совершенно нормально, что с ним вот так обращаются, от чего Торнхилл испугался еще больше.

Языки пламени из камина почти обжигали. Он никогда в жизни не стоял подле такого большого огня, никогда не знал, что может быть так горячо, у него чуть штаны не задымились. Но он не мог

сдвинуться вперед, это было бы неуважительно по отношению к джентльменам в мантиях. Он полагал, что это часть испытания, что-то, что он обязан перенести, как и взгляды этих джентльменов, которые, если им того захочется, могут ему отказать.

Мистер Пайпер повторил: «Молодчина», но он был такой старый, весь аж трясся от старости, что было ясно, что он совершенно забыл, кто именно молодчина — он даже похлопал себя по руке, как если бы поздравлял сам себя.

Тогда лысый человек сказал, обращаясь уже к самому Торнхиллу: «Руки все стер, а, сынок?» И Торнхилл не знал, что ему говорить — да или нет, и следует ли вообще что-то говорить. Ладони у него все еще были опухшие от тяжелого испытания, которому его подверг мистер Миддлтон, но уже не кровили. Он молча протянул их людям за столом, и они рассмеялись.

Лысый сказал: «Хороший парень, руки у него уже как у настоящего лодочника, да, джентльмены? Что ж, лицензия вам выдана». Дело сделано.

• • •

Мистер Миддлтон оказался добрым хозяином. Впервые в жизни Торнхилл не испытывал го-

лода и холода непрерывно. Спал он в кухне, на выложенном плитняком полу — раскладывал набитый соломой матрас, подъем и сон диктовал прилив.

Приливы и отливы — вот кто был настоящим тираном. Они не ждали никого, и если лодочник, которому надо доставить уголь вверх по реке, пропускал прилив, никто, даже такой силач, как Уильям Торнхилл, ничего не мог поделать — грести с грузом против течения было невозможно, и приходилось целых двенадцать часов ждать следующего прилива.

Кровавые мозоли на ладонях не заживали никогда. Волдыри росли, прорывались, потом снова росли и прорывались снова. Ручки весел на «Надежде» потемнели от его крови. Мистер Миддлтон одобрительно кивал. «Только так, парень, ты наработаешь руки речника», — говорил он и давал ему топленое сало, чтобы втирать в ладони.

Семь лет — это казалось вечностью, но и научиться надо было многому. Как ведет себя река во время приливов и отливов на участке от Уоппинга до Ротерхита, где течение заворачивает к Хейз-Роуд и где человека, если он упадет за борт, мгновенно утянет на дно — столько там

водоворотов. Как течения мотают лодку возле Челси-Рич, потому что, как говорят, здесь когда-то утонули несколько скрипачей, и с тех пор река в этих местах пляшет. Как весло длиной в четыре человеческих роста берет верх над своим хозяином. Как, наклонив поворотом кисти лопасть, выдернуть весло из носовой уключины, промчаться с ним по узкому планширу на корму и, навалившись на рукоять всем весом, вставить его в кормовую стойку.

Порой он забывал, что всему этому ему приходилось учиться.

Но он узнавал и многое другое. Вот, например, про благородных господ. Как они торговались за каждый фартинг в выражениях длинных и цветистых, постоянно называя его «мой добрый друг», а если у пристани было много лодок, а фартингов в кармане мало, то небрежным жестом отметая его услуги и нанимая того, кто подешевле. Как вынужденно соглашаться везти их от Челси к Святой Катарине у Тауэра всего за два пенни, лишь бы не возвращаться домой совсем без заработка. Как дурачатся на пристанях актеры, направлявшиеся в театры в Ламбете, — они заставляли лодочника ждать, ровно удерживая лодку, при этом они на него даже и не смотрели,

и всю дорогу проговаривали свои реплики, как будто были одни на белом свете, а лодочник — только часть пейзажа.

Он узнал, что у благородных имеется столько же трюков, чтобы надуть бедного лодочника, сколько их есть у крыс. Как-то он перевез одного через реку, этот господин приказал ему ждать — мол, скоро вернется, надо будет везти его обратно, и тогда уж он заплатит сразу за оба конца. Торнхилл прождал пять часов, не хотелось ему терять обещанный шиллинг, и только потом понял, что этот пройдоха просто нанял на обратный путь другого лодочника.

Так что больше он господам на слово не верил.

Но и лодочнику тоже надо было знать свои хитрости: например, когда пассажиры собираются на пристани Уайтхолл, желая, чтобы их перевезли к Воксхолл-Гарденз, и когда они захотят возвращаться домой. Или знать, когда идет мерлуза, чтобы отвезти джентльменов к «Доброму другу» или «Капитану», где они будут сидеть за столами у самой реки и набивать брюхо, и тут уж лодочнику самому решать, то ли ждать, то ли вернуться к пристани Корниш в надежде, что там удастся подцепить джентльмена, желающего, чтобы его отвезли в загородный дом в Ричмонде.

Как лучший на реке подмастерье, Торнхилл знал, как обращаться с джентльменами. Он приветствовал их громко и весело, и его крик перекрывал заунывные вопли других лодочников. «Сюда! — орал он. — Сэр, приглашаю на борт “Надежды”, лучшего судна на этой реке!» — и размахивал старой шапкой. У него была густая блестящая шевелюра, служившая ему лучше всякой шляпы, и он знал, что, увидев эти энергичные кудри, вряд ли кто усомнится в жизнеспособности всей остальной системы. Он отчаянно жестикулировал, как комики, которых видел в мюзик-холле: «Лучшая лодка во всем христианском мире, сэр! С ней ни одна лодка сравниться не может!» — и указывал на украшавший его рукав значок Доггетта[6], говоривший о том, что он выиграл гонку учеников. «Отсюда до Грейвсенда за два часа без четырех минут, а до Биллингсгейта, сэр, доставлю вас так быстро, что вы и табакерку открыть не успеете!»

Благородные господа казались ему создани-

[6] Примечания: 6

Знак Доггетта — большой овальный серебряный значок победителей в гонках лондонских лодочников. Впервые такое соревнование, придуманное комедийным актером Томасом Доггеттом, состоялось в 1715 г. Соревнования на приз Доггетта проводятся и по сей день.

ями еще более загадочными, чем ласкары[7], и он очень удивился бы, что ими движут те же импульсы, что и другими человеческими существами. Как-то раз он стоял по задницу в воде, удерживая лодку возле рампы, чтобы пассажиры могли пройти, не замочив ног. Он едва глянул на них, когда они его поприветствовали, думая только о том, как бы заработать и вернуться, наконец, в теплую кухню мистера Миддлтона. Ноги у него онемели от холода, да и выше пояса он тоже замерз до смерти, потому что насквозь промок под дождем, а ветер в тот день задувал холодный. Он чувствовал запах собственных мокрых волос. От них пахло псиной — запах мокрой шерсти от его синей куртки и красного фланелевого жилета, который вручил ему мистер Миддлтон: тому больше не было нужды самому надевать этот жилет, потому как у него теперь имелся сильный подмастерье, делавший за него всю работу. На реке было сильное волнение, и лодка била его по ногам, пока он стоял в воде, держась обеими руками за планшир, и тут он услышал, как джентльмен произнес богатым аристократичным голосом: «Осторожней, любовь

[7] Примечания: 7

Ласкары — солдаты и матросы из Индии, Юго-Восточной Азии и арабских стран, служившие в европейских армиях и флоте.

моя. Не показывай ножки лодочнику!»

Джентльмен был белолиц, хлипок в груди, ротик у него был словно маленький розовый бутон. Из-под шляпы свисали длинные локоны, и он бережно усаживал в лодку свою даму, придерживая ее за руку и за талию. И все равно он успел бросить на Торнхилла, стоявшего в грязной воде, вцепившись промерзшими руками в планшир, взгляд не столько презрительный, сколько триумфальный. «Глянь на меня, приятель, вот что у меня имеется!» — говорил этот взгляд. И обтянутые белым шелком ножки, и все, что к ним приделано, есть собственность джентльмена, в то время как у Уильяма Торнхилла собственности никакой, кроме разве скукожившейся от бесчисленных дождей черной шапки, сидевшей у него на затылке как прыщ на слоновьей заднице.

Судя по виду, джентльмен понятия не имел, что делать с женскими ножками, но обнимал даму, хотя и без всякого удовольствия: дама, ее белые чулочки, шелковые туфельки и все такое прочее, была предметом его гордости, гордости обладателя, но в том, как он произносил «любовь моя», любви-то не было ни капли.

Но нога — нога-то была, как раз на уровне глаз лодочника, она переступила через планшир так

близко, что лодочник мог бы, если б захотел, до нее дотронуться, почувствовать пальцами шелк. Туфелька, венчавшая ногу, была чудом, непонятно каким образом оказавшимся на старом грязном причале Хорслидаун. Было совершенно невероятно, что столь внушительная особа могла стоять и передвигаться в таких крошечных башмачках из ярко-зеленого шелка. Задников у туфелек не было, зато были маленькие каблуки, придававшие щиколоткам особое изящество, и когда она ступила на корму, ножка была повернута так, что взгляд Торнхилла не мог не заметить изгиб щиколотки, узкую пятку, элегантность каблука.

Там, где-то над ногами, было лицо, рот на нем поблагодарил мужа — «любовь мою» — за заботу, но само лицо выглядело скучающим, словно его обладательница давно уже не ждала от супруга никаких радостей, кроме этой жеманной галантности.

На Торнхилла она не смотрела, на него смотрела ее ножка, она приоткрыла ее специально для него. Может, показывая ножку простому лодочнику, она надеялась расшевелить своего вялого муженька? Или это делалось для ее собственного удовольствия, как напоминание о том, что на

свете существуют и другие мужчины, которые, завидев дамскую ножку, знают, как с ней обращаться?

Но тут джентльмен одернул ей юбку и влез в лодку — каким-то образом ему удалось втащить и супругу, при этом он чуть ли не сел задом Торнхиллу на физиономию. Торнхилл помочь пассажирам не мог, так как обеими руками еле удерживал суденышко, а когда вскарабкался на борт, мокрый и дрожащий от холода так, что его собственные ноги едва слушались, пассажиры уже сидели на корме, и белая юбка прикрывала зеленые башмачки.

Владелица ноги произнесла: «Генри, дорогой, боюсь, моя туфелька совсем испорчена». Она вытянула ногу. И действительно, зеленый шелк промок, и маленькая оборка, украшавшая перед туфельки, печально повисла. Юбка была задрана почти до колен, и к северу от туфельки лежали тени, в которых притаились прелести, о коих мужчина мог вполне догадываться.

«Любовь моя, — на этот раз голос джентльмена звучал резче. — Ты снова выставила ногу!»

Теперь дама определенно смотрела на Торнхилла, и, Господи Боже мой, это был откровенно дразнящий взгляд, но он промелькнул так

быстро, что никакой муж не мог бы ни к чему придраться. Взгляды, которыми они обменялись, были взглядами двух живых существ, мужской и женской особей одного вида и одной крови.

Денди обвил руками плечи супруги, хотя, на взгляд Торнхилла, этот жест не обещал ей ничего интересного даже среди пышных кустов Воксхолл-Гарденз, когда они туда, наконец, добрались.

В любой битве за выживание с этим Генри — Торнхилл прекрасно это сознавал — он всегда выйдет победителем, например, случись кораблекрушение, денди скиснет и умрет, в то время как он сам — грубиян и все такое — найдет способ преуспеть. И все же на этом пустынном лондонском острове, в этих полных опасных созданий джунглях в год от Рождества Христова тысяча семьсот девяносто третий, Торнхилл был в полной зависимости от таких жеманных педиков, которые смотрели на него, но не замечали, как не замечают они швартовую тумбу.

Надо сказать, не все господа были такими; у него имелось несколько постоянных клиентов, которые говорили с ним на равных — капитан Уотсон, например, который всегда выбирал именно его на причале в Челси и с которым у него

было договорено, что по средам он утром возит капитана к даме сердца в Ламбет. Для капитана он удерживал лодку изо всех сил, потому как капитан был человеком дородным и ему было непросто сходить по трапу, да и когда клиент помещал свой зад на корму — зад настолько увесистый, что трудновато было отталкиваться от берега, — Торнхилл все равно не жаловался, потому что капитан был человеком хорошим и не в обычае у него было торговаться с бедняком из-за нескольких пенсов.

Речнику и головой приходилось все время работать, потому что, едва проснувшись и еще не встав с постели, он уже чувствовал, что там с рекой, с приливами, ветром. Он вычитывал это в цвете неба на рассвете, в криках носившихся над водой птиц, в том, как во время прилива шла волна. И он мог определить, к какому причалу швартоваться, чтобы заработать в этот день как можно больше.

Со временем эта мутная река и корабли, которые она несла на себе, словно собака блох, стала для него как большая комната, в которой он знал каждый угол. Он полюбил бледный свет, разливавшийся по воде, на фоне тусклого неба все неважное, незначительное куда-то исчезало.

На Хангерфорд-Рич он сушил весла и сидел, отдавшись течению, он знал, что оно принесет его куда надобно, и смотрел вдаль, на воду, где все было словно нарисовано этим светом.

• • •

Иногда по воскресеньям он, по соглашению с мистером Миддлтоном, не работал, и они с Сэл могли побыть вместе. Ему нравилось находиться рядом с ней, нравилось чувствовать, как где-то там, в глубине, под кожей, пляшут его мысли, которыми он не мог поделиться ни с кем, а ей мог рассказать абсолютно все, признаться в чем угодно, рассказать всякую, даже стыдную, правду. Она выслушала бы и ответила в своей привычно-добродушной манере.

В ту первую зиму ей взбрело в голову научить его буквам, совсем как учила ее мать. Он согласился, только чтобы ее порадовать, но без особой охоты. Ему казалось, что все эти марашки на бумаге иссушают мозг. Он видел, как Сэл записывает что-то для памяти — список того, что надо купить у мануфактурщика или в бакалее, сам-то он мог запросто удержать все в голове. И цифры тоже. Он видел многих джентльменов, которым, чтобы подсчитать, сколько будет стоить до Ричмонда и

обратно, приходилось вытаскивать из карманов карандаш и клочок бумаги, особенно если подсчеты были сложные — два человека туда, один обратно, да еще пакет туда, а если по воскресному тарифу… Он же, неграмотный лодочник, еще пока джентльмены рылись в поисках бумажки, уже успевал сложить всю сумму у себя в голове, да еще накинуть десять центов за обслуживание и шестипенсовик в благотворительный фонд.

Они занимались, сидя рядышком за столом, в неровном свете воткнутой в подсвечник свечки. Он чувствовал ее фруктовый женский запах, этот сладкий аромат заставлял вспомнить о лете, о забытой в деревянной коробочке клубнике. Она наклонилась к нему и сказала: «Нет, не надо пока макать в чернила, просто держи — видишь? — как я держу», — и протянула свою маленькую ручку, показывая, как надо держать перо.

Он пытался, и это было неестественно, движения требовались осторожные до бешенства. Бессмысленные какие-то. Совсем не то, что требовалось, чтобы удержать весло — там он его просто обхватывал всей пятерней, и дело с концом. А чтобы удержать перо, требовалась акробатическая ловкость — и пальцами, и кистью, да еще руку по-дурацки вывернуть. Перо крутилось,

выскакивало у него из пальцев. Он возился с этим пером, только чтобы ей угодить.

Потом они окунули кончик пера в чернила, и стоило ему поднести перо к бумаге, как оно принялось плеваться, и по скромной белой бумаге побежали наглые черные кляксы. Сэл расхохоталась, и он едва сдержался, чтобы в ярости не перевернуть к дьяволу этот стол и не рвануть к реке. Вот там он был самим собой. Он мог пройти на веслах к Ричмонду и обратно против течения. Он выиграл приз Доггетта, а ветрище в тот день, между прочим, был ужасный, и все равно он всю дорогу шел на корпус впереди Льюиса Блэквуда. Он не позволял мыслям разбегаться, сосредоточившись исключительно на том, что делали руки. Он тогда пришел к финишу, на десять ярдов опередив Блэквуда, и почувствовал, что выдержит любое напряжение и любую нагрузку.

Вот только не может никак усидеть за столом и удержать эту верткую штуковину.

Сэл посмотрела на него и поняла, что сейчас ему точно не до смеха. Она вытерла чернила со стола, с бумаги, с пера, с его пальцев. А потом нанесла на бумагу точки в форме буквы «Т». «Просто иди по точкам, Уилл, — сказала она. — Мы пока букву “У” трогать не будем». Он провел робкие

линии через точки, изо всех сил стараясь удержать непослушное перо. В первый раз промазал: кривая горизонтальная линия выступила за точки. Он провел вторую линию, внимательно следя за чернильным следом. Шаткая, неуверенная, но все равно вот они была перед ним — две линии, буква «Т».

Только теперь он понял, что все это время сидел, высунув кончик языка, помогая языком выводить букву. Он откинулся назад, облизнул губы, положил перо и произнес голосом, который и ему самому показался скрипучим: «Хватит на сегодня». Сэл снова глянула на бумагу с кляксами: «Ох, Уилл, ты только погляди! Как здорово у тебя получилось, гораздо лучше, чем вначале!»

Он потер руку, которую даже свело от усилий. На его взгляд, каракули выглядели постыдно, какие-то дурацкие закорюки. Больше всего ему хотелось разорвать листок в клочья. Но она подталкивала его локотком, а ему так нравилось чувствовать рядом ее руку, да тут она еще произнесла: «Обещаю, — и произнесла так легко, словно и обещать-то не стоило, словно это само собой разумелось, — обещаю, что к следующему воскресенью ты и это “У” напишешь, просто, как нечего делать».

Зима миновала, и вот он уже мог написать имя целиком: «Уильям Торнхилл», медленно и ровно. А поскольку никто не видел, как он это делает, то никто и не знал, сколько времени это у него занимало, и сколько раз он ловил себя на том, как кончик языка помогает перу.

Уильям Торнхилл.

Ему ведь всего шестнадцать, а в его семье еще никто не добивался таких успехов.

• • •

Любовь пришла к нему так неторопливо, что он даже не сразу сумел назвать это чувство. Все годы ученичества он знал только, что, когда ветер на реке пробирался сквозь старую выношенную куртку, его согревала мысль о ней, сидящей подле матушки, вдевающей для нее нитку в иголку и складывающей уже подшитые рубашки и носовые платки. Он дивился ее ловким пальцам, подворачивавшим белоснежные квадраты легкими мелкими движениями, такими скорыми, что и не углядишь. Только что был махристый обрезанный край, а вот он уже скручен, свернут, чудом превращен в аккуратный рулончик, и все это пока матушка даже еще не успела и на иголку посмотреть.

Он не знал, что это такое — то, что делало его внутри таким мягким и тихим, от чего — он ясно ощущал — его лицо при мысли о ней разглаживалось, почему он думал о ней целыми днями, а потом вечерами, когда шагал по ступеням пристани и вода хлюпала у него в башмаках. Он лежал на своем соломенном матрасе на кухонном полу, поджидая, когда придет сон, и мысль о том, что она тоже здесь, над ним, в своей комнатенке под крышей, заставляла его горло сжиматься. Иногда, случайно столкнувшись с ней в доме, он не мог и слова вымолвить в ответ на ее приветствие. А она восклицала: «Ой, Уилл!» — как будто удивлялась тому, что этот широкоплечий отцовский ученик возникал вдруг на пороге, заполнив собой весь дверной проем и наклонив голову, потому что дверь была слишком для него низкой. Она, разговаривая с ним, дотрагивалась до него, клала руку ему на рукав, и он еще долго потом ощущал прикосновение ее маленькой ручки, словно эта ручка что-то сообщала ему сквозь грубую ткань куртки.

Ротерхит теперь разросся — здесь тоже появились и сыромятни, и бойни, и жилые дома на месте пустынной заболоченной равнины, где двое детей когда-то находили себе убежище.

Отсюда согнали даже цыган. Но они все-таки обнаружили для себя новое местечко — Церковь Христову в Боро, задами выходившую к реке. В хорошую погоду двое всегда могли найти уединение среди могил.

Радуясь возможности побыть вместе, перешептываясь, они сидели, прислонясь к надгробьям, и Сэл читала то, что на них написано, медленно, по одному слову. А он должен был запоминать те слова, что она уже прочитала, тоже по одному, потому что это было непросто — и прочитать, и запомнить все сразу.

Голос Сэл был особенно нежен, когда она распутывала эти узелки слов: «Сюзанна Вуд, супруга мистера Джеймса Вуда, изготовителя измерительных инструментов, — произносила она. — У нее откачивали жидкость девять раз, и всего из нее вышел сто шестьдесят один галлон воды, а она ни разу не пожаловалась на болезнь и не боялась операции». — «Ну прямо как мех для вина», — пробурчал Торнхилл, и Сэл едва сдержала смех. «Ох, Уилл, — сказала она. — Только подумай об этой бедняжке, а мы над ней смеемся!» Она взяла его за руку, и он почувствовал, какая мягкая и маленькая у нее ручка и как она умещается в его грубой клешне. Она улыбнулась, и он увидел

ямочку у нее на щеке — одну, словно само лицо ее ему подмигивало.

Он уставился на реку, где прилив начинал гнать воду вверх, и силился найти слова, которые лежали у него на сердце. «В общем…» — начал он, и почувствовал себя дураком, продолжить никак не получалось. Он начал заново, и сам услышал, как громко и решительно звучит его голос: «Скоро меня сделают членом гильдии, и первым делом я на тебе женюсь». И тут же подумал, что она наверняка его высмеет — чтобы подмастерье с Таннерс-Лейн да сказал такое! Но она и не думала смеяться.

«Да, — сказала она. — Я подожду». Она смотрела ему в лицо, на этот раз без улыбки. Он видел, как она сначала посмотрела ему в глаза, потом перевела взгляд на его рот, потом снова заглянула в глаза, читая за его словами ту правду, что была написана в его сердце. И он тоже смотрел ей в глаза, так близко, что видел в них маленькие отражения себя самого.

Семь лет будет длиться его служение. Время пройдет само по себе, и перед ним откроется совсем другая жизнь.

• • •

Они поженились в тот же день, как он стал свободным лодочником, накануне того, как ему исполнилось двадцать два. Мистер Миддлтон подарил им на свадьбу свой второй ялик, и они сняли комнату неподалеку от Мермейд-Роу, там муж и жена могли наслаждаться куда большей свободой, чем за могилой Сюзанны Вуд.

Сэл оказалась в постели куда смелее, чем он. В первую ночь она прижалась к нему, говоря, что боится темноты. Взяла его руку — ей, мол, нужна поддержка. Он чувствовал ее тепло, слышал ее шумное дыхание. Им нужно было вести себя тихонечко, потому что стены были тонкие, как бумага. Кашель мужчины, занимавшего соседнюю комнату, слышался так явственно, будто он лежал с ними в постели.

То, что произошло потом, не было громким и не требовало усилий. Все произошло как бы само собой — семя, пробившееся сквозь почву, бутон, развернувшийся в цветок.

Ночь стала лучшим временем суток. Теперь, когда у них была своя постель, она любила свернуться у него под боком клубочком, свеча горела на табуретке. Ее груди ласкали его, и он был

одновременно и шокирован, и возбужден. Она очищала мандарин и скармливала ему дольки прямо из своего рта, и когда они завершали все то, что надо было сделать и с мандаринами, и со ртами, а свеча догорала в лужице сала, они лежали рядом и рассказывали друг другу всякие истории.

Сэл любила рассказывать о Кобхэм-холле, где ее матушка была в служанках до того, как вышла за мистера Миддлтона, и где она еще девочкой целый месяц прожила вместе с матерью. Что-то врезалось ей в память — подъездная аллея, зеленый туннель из тополей. Накрахмаленные, жесткие, словно кожаные, скатерти из дамаска — даже на половине слуг. И правила, согласно которым надо все делать. Там был виноградник, рассказывала она, и несколько раз в столовой для слуг подавали виноград. Как-то раз она отщипнула с кисти виноградину, и экономка ее выбранила: «Ешь, что хочешь, сказала мне старая грымза, но никогда не уродуй кисть. Возьми ножницы для винограда и просто отрежь маленькую кисточку, — она повернулась к Торнхиллу и прошептала: — Только представь, Уилл, специальные ножницы для винограда!» Торнхилл пробовал виноград — раздавленные кисти, валяв-

шиеся в грязи после того, как закрывался рынок.

Торнхиллу больше нравилось, когда они рассказывали друг другу о совместном будущем. У них, конечно же, будут свои дети, и их отец, вольный член гильдии лодочников реки Темзы, будет вести достойную жизнь и много работать и станет партнером ее отца.

Торнхилл с трудом верил в то, что жизнь его совершила такой поворот, и о том, что все происходит на самом деле, напоминала только постоянная боль в плечах да мозоли на ладонях. Нет, все это не походило на сказку — то, что с ним случилось, было наградой за труд. Он лежал в темноте, слушая, как Сэл рассуждала, кого ей хочется первым — мальчика или девочку, и потирал свои мозоли, словно они были дорогими сувенирами.

Семь лет в качестве перевозчика благородных господ с берега на берег отвратили Торнхилла от этой работы. Став свободным гребцом, он предпочел работать на лихтерах, перевозивших уголь или древесину. Немногим хватало сил управлять тяжело груженой плоскодонной лодкой в капризных водоворотах Темзы, но он справлялся. Тяжелой работы он не боялся никогда, а этот труд был честнее и чище, чем кланяться перед

господами за несколько лишних пенсов.

Это также означало, что он мог взять в помощники брата. У Роба, конечно, с головой было не все в порядке, но зато он был на реке самым сильным и самым послушным. Когда Роб взваливал на плечи мешок с углем, его мышцы напрягались так, что задняя пуговица на штанах грозила отскочить. Но он соглашался работать весь день за плату, которой хватало только на то, чтоб не сдохнуть с голоду.

Вместе Торнхиллы составляли отличную пару.

• • •

Через год после свадьбы родился ребенок, крепенький здоровый мальчик. Он плакал, орал, производил гигантское количество желтовато-коричневых какашек, а когда его распеленывали, писал крутой дугой. Его окрестили Уильямом, но звали Уилли. Еще один Уильям Торнхилл — что ж, мир переживет эту напасть, тем более если это твой собственный сын.

Ребенок размахивал перед Торнхиллом ручками, будто посылал тайные сигналы, моргал, таращился на склонившуюся над ним фигуру, указывал на нос отца крошечным пальчиком, словно что-то заявлял. Четко очерченный

красный ротик все время двигался, губки выпячивались, растягивались, надувались, кулачки мелькали в воздухе, выражение личика постоянно менялось, словно волны в океане.

Ему нравилось брать сына на руки, чувствовать его вес на своей груди, то, как обвивают ручки его шею, ощущать невинный запах его волос. Ему нравилось смотреть на Сэл, как она, улыбаясь про себя, сидит у окошка и шьет очередную маленькую рубашечку или как, воркуя, склоняется над мальчиком. Он слушал, как она, возясь по дому, что-то напевает. Мелодия ускользала от нее, но для Торнхилла эта нестойкая мелодия была музыкой его новой жизни. Он часто улыбался про себя.

• • •

Та зима, когда малышу сравнялось два годика, выдалась ранней и суровой. Торнхилл никогда еще не видел таких туч и не сталкивался с такими ветрами. И ветер, и тучи всегда были врагами лодочников, но в тот год что вверх, что вниз по реке только и говорили о суровости ветра и холода. Да, зима будет трудной.

Собравшиеся над головой облака пролились дождем, и куртка Торнхилла, при легком дож-

дичке отталкивавшая воду, промокла насквозь, резкий ветер, дувший вдоль реки, словно ножом пронизывал старую выношенную ткань. Ветер хлестал по щекам, лицо покраснело, опухло, закаменело. Он испытывал те же мучения, что и любой человек, но не жаловался. Какой смысл жаловаться на погоду? Такой же, как на то, что он родился на Таннер-Корт в Бермондси в сырой вонючей конуре, а не на Сент-Джеймс-сквер с серебряной ложкой во рту, на которой выгравировано его имя.

Так что его почти отпустило, когда в начале января вода выше Лондонского моста подернулась жемчужной пленкой, словно облачный налет на старческих глазах. В одно прекрасное утро река превратилась в пространство, покрытое грубым серым льдом, и лодки застряли в нем, как кости в застывшем жире. Втроем они забрались в постель и провели все это время, греясь друг о друга. Жили на деньги, отложенные на такой вот случай, растягивая их в ожидании оттепели.

В этот морозный месяц, когда река перестала кормить семью, мир Торнхилла лопнул по швам.

Сначала сестра Лиззи свалилась с ангиной, такой, какая была у нее в детстве. Она лежала вся красная, задыхалась и плакала от боли в горле.

Лекарство стоило шиллинг за пузырек, маленький такой пузырек, и сколько нужно было таких шиллингов…

Потом миссис Миддлтон поскользнулась на льду возле входной двери и упала, сильно ударившись о ступеньки. Что-то там, внутри у нее, сломалось и не желало заживать. Она лежала, вытянувшись и побелев от боли, плотно сжав бескровные губы, и отказывалась от еды. Несколько раз звали хирурга, он брал по три гинеи за визит, но про него говорили, что он лучший по этой части.

Мистер Миддлтон все время проводил у постели жены, обливаясь потом в жарко натопленной комнате, потому что в тепле бедной женщине становилось немного легче. Новый ученик, понадеявшийся, пока река стояла, на небольшой отдых, непрестанно таскал по лестнице уголь.

Недели шли за неделями, мистер Миддлтон сильно похудел, вокруг глаз у него появились черные круги. Компанию ему теперь составлял постоянный легкий кашель. Когда Торнхилл и Сэл приходили их навестить, они уже от входа слышали этот кашель и знали, что мистер Миддлтон сидит подле жены и либо гладит ее по голове, либо вытирает ей лоб пропитанной камфарой

салфеткой.

Лицо у него оживало, только когда он придумывал, чем бы таким вкусненьким соблазнить жену. Придумав, он тут же вскакивал и мог отшагать мили, только чтобы принести ей вишен в бренди или фиг в меду.

Как-то раз Торнхиллы встретили его на выходе — день был такой морозный, что, казалось, брусчатка на мостовой трескается от холода. Он собрался в аптеку на Спитафилдз за зельем из апельсинов и корицы — кто-то сказал, что это может помочь. Сэл пыталась его разубедить, а Торнхилл развернул его, чтобы завести обратно в дом, сказав, что сам сходит. Но тот выказал удивительное упрямство и отверг помощь зятя. Сэл и Торнхилл обменялись взглядами — они оба подумали, что, наверное, мистер Миддлтон больше не в состоянии провести еще один день у постели жены, протирая камфарой ее восковое лицо. Когда он вышагивает по промерзшим улицам, ему кажется, что он хотя бы пытается сделать что-то полезное — пока не возвращается домой и не пытается накормить жену этими апельсинами: она пробует чуть-чуть и снова отказывается есть.

Так что они позволили ему уйти. Торнхилл смотрел, как он спешит по переулку, как у него

изо рта вырываются клубы пара. Эти облачка были такими плотными, что могли бы следовать за ним, однако не следовали — а он казался таким маленьким на фоне огромных сугробов.

Домой он вернулся уже затемно, бледный и молчаливый. Достал из кармана куртки, которую даже не снял внизу, перед тем как подняться по лестнице, микстуру и попытался напоить жену. Она слабо улыбнулась, приподняла голову, чтобы попробовать немного с протянутой им ложки, затем в изнеможении снова откинулась на подушку и отказалась выпить еще.

Сэл увела его в кухню, где, наконец, выпростала его из куртки и теплого кашне. Он послушно уселся и уставился в горевший в очаге огонь. Она встала на колени, чтобы снять с него ботинки и вскрикнула — ботинки промокли насквозь, ноги у него совершенно заледенели. Он пояснил, что по дороге набрал в ботинки снега, и пока ждал, когда аптекарь приготовит снадобье, снег растаял, так он и шел в промокших башмаках домой.

После ужина он расчихался, и на следующее утро у него начался жар, он потел, но мерз под четырьмя одеялами, и беспокойно метался по подушке. Снова позвали лекаря, теперь уже для мужа. Врач дал ему какое-то темно-коричневое и

густое лекарство из маленькой бутылочки, после чего он заснул беспокойным сном, все время вскрикивая и пытаясь вскочить. Несмотря на лекарство, лихорадка не отпускала. Щеки у него были пунцовые, кожа сухая и горячая на ощупь, язык покрылся серым налетом, глаза ввалились.

Через неделю он умер.

Когда об этом сказали миссис Миддлтон, она вскрикнула — это был ужасный хрипящий звук. Потом отвернулась к стене и не произнесла больше ни слова. Сэл проводила с ней рядом дни, спала в изножье материнской кровати. Врача звали снова и снова, пока весь стол у постели не был уставлен пузырьками со снадобьями и пилюлями. Но путь миссис Миддлтон к смерти не могли преградить никакие врачебные ухищрения. С каждым днем она словно становилась все меньше, глаза все время были закрыты, будто она больше не могла смотреть на белый свет, она ускользала из своего тела.

И наступил серый рассвет, когда она больше не шевельнулась под своим одеялом. Ее положили в гроб и отвезли в похоронную контору Гиллинга, где она вместе с мистером Миддлтоном ожидала, когда земля оттает, и их обоих смогут похоронить.

Мистер Миддлтон делал все правильно, так, как делал бы на его месте любой. Он жил экономно, откладывал впрок. Вкладывал средства в хорошие лодки и содержал их в порядке, следил, чтобы подмастерья работали на совесть и были честными. Дело у него шло хорошо, и на жизнь никто не жаловался.

Но после его смерти все начало рушиться с ужасающей скоростью. Этот морозный месяц поглотил все его сбережения. Каждый день приходил врач, и редко какой визит обходился без рецепта на новое снадобье по фунту за пузырек. Кладовая была забита нетронутыми горшками с вишнями в коньяке и фигами в меду. Река стояла подо льдом, и у подмастерья не было работы, но все равно его надо было кормить, а уголь, который он таскал наверх, тоже стоил пять фунтов за мешок.

Но, что самое ужасное, хозяин дома каждый понедельник присылал своего человека за арендной платой, а тому было все равно, замерзла река, или нет, есть работа, или нет работы.

Дом на Суон-Лейн всегда казался Торнхиллу крепостью, защищавшей от нужды. Что дурного может случиться с человеком, у которого имеется кусок земли и строение на нем? Если у человека

есть крыша над головой, он непобедим — всегда есть, где переждать трудные времена.

Что дом не в собственности, а только арендуется, Торнхилл понял гораздо позже. А когда понял, то у него словно что-то от души оторвалось, оставив зияющую лакуну. Дом на Суон-Лейн, всегда такой теплый, такой надежный, оказывается, мало чем отличался от убогих обиталищ, в которых прошло его детство.

Чтобы заплатить долги за дом, пришлось распродавать мебель. Сэл и Торнхилл наблюдали за тем, как выносили кровать, на которой умерла миссис Миддлтон. Когда и этого оказалось недостаточно, бейлифы пришли за лодками. Сначала отобрали «Надежду», на которой работал ученик, и тому пришлось искать нового хозяина, чтобы отработать положенное для ученичества время. Потом забрали и вторую лодку, потому что Торнхилл ничем не мог доказать, что это был свадебный подарок. К тому моменту река только-только оттаяла, Торнхилл проработал всего неделю, и теперь он смотрел, как судебные приставы взяли его лодку на буксир. То, чем он зарабатывал на хлеб, то, что составляло основу его существования, исчезло под мостом Блэкфрайарс. Отныне он станет наемным работником, гребцом

на чужих лодках, со страхом гадающим, будет ли завтра работа для него или нет.

Он сидел на Бычьей пристани и смотрел на красные паруса, на то, как надувались они, когда моряки, следуя речным изгибам, меняли галс. Был прилив, и поверх речной воды, рябой, вспененной, суровой, устремлялись иные потоки, иная пена — вода моря. Он смотрел на прилив и думал о том, что река будет продолжать этот свой танец — шаг вперед, шаг назад — и после того, как Уильям Торнхилл и все, что его терзает, будут похоронены и забыты.

Какой смысл в стремлениях и надеждах, если все может так легко пойти прахом?

• • •

Сэл держалась до последнего. Она сидела с отцом все время, пока он болел, растирала ему ступни, которые, несмотря на лихорадку, были ледяными. Когда он умер, губы у нее сжались в угрюмую гримасу, словно она хотела кого-то наказать. Когда умерла мать, она пешком — повторив путь отца — прошла до Спитафилдз и обратно, чтобы купить тонкий красный бархат, который всегда так нравился матери, и стояла в мастерской Гиллинга, пока гробовщик обивал

этим бархатом гроб — чтобы все было сделано как надо. Лицо матери выглядело на фоне бархата белым как мел, но Сэл осталась довольна результатом, и пока родителей не предали земле, она неустанно топталась по дому, раскладывала вещи по комодам и снова их вынимала, перемыла все чашки на кухне, каждый соусник и каждую ложку, стоя на коленях, выдраила щеткой полы. Как будто, загоняя себя работой, могла вернуть родителей к жизни.

Она сломалась, когда первый гроб — гроб отца — ударился о дно могилы с коротким глухим стуком, похожим на стук в дверь. Торнхилл знал, что она обязательно сломается. Ее слезы были слезами скорее не горя, а возмущения. Чтобы задавить их, она вцепилась зубами в руку, как это было, когда она рожала, и Торнхилл снова испугался, что она прокусит руку насквозь.

Отплакав, она вроде как подвела итог чему-то и восприняла появление судебных приставов куда спокойнее, чем он. Торнхилл не мог смотреть, как на повозку грузят любимое кресло ее отца, но Сэл взгляда не отвела. Она смотрела вслед повозке с родительскими пожитками, пока та не скрылась за углом, а потом, повернувшись к Торнхиллу, сказала: «Что ж, Уилл, слава богу, он

этого не видит. Он купил это кресло за семь фунтов в Чипсайде. Я хорошо помню, как он принес его в дом».

Именно Сэл первой поняла, что они уже не могут позволить себе снимать мансарду. Посадив ребенка на бедро, она вышагивала по переулкам, выискивая жилье подешевле. Когда и это жилище стало для них слишком дорогим, она отправилась искать другое, еще дешевле. Когда они уже спустились на самую низкую жилищную ступень — следом шла только улица, — она все равно продолжала искать что-то дешевле, но лучше, и сама перетаскивала их нехитрый скарб, пока Торнхилл был на реке.

Была комната в подвале на Спаррик-Роу; чтобы ее не заливало водой, приходилось строить дамбы из рваных мешков; еще одну вроде этой они снимали на углу Кэш-Граунд; оттуда они перебрались за реку, к церкви Святой Марии в Сомерсете, где их сводил с ума колокольный звон; потом вернулись на свою сторону и поселились в Сноу-Филдз, но там их ограбили, и они переехали в дом Батлера на Брансуик-Лейн, где задержались. Это снова был третий этаж, в комнате было одно окно, правда, разбитое, и чулан с оторванной дверью. Каждый понедельник Сэл

отсчитывала четыре шиллинга, и он спускался к мистеру Батлеру, который стоял возле входной двери и колотил палкой по полу, напоминая жильцам, что пришел час расплаты. Это был натуральный грабеж, к тому же они задыхались от вони находившейся рядом солодовни. Но здесь было по крайней мере сухо, и черпальщики недавно очистили выгребную яму во дворе, да и труба чадила совсем чуть-чуть. «Мы привыкнем к вони, Уилл», — сказала она.

Он видел, что женился на женщине стойкой и решительной, и мог лишь восхищаться ею, потому что сам от отчаяния пребывал в каком-то трансе. Он мог лишь тупо работать, но силы воли на то, чтобы починить прохудившуюся крышу или прочистить забитую сажей трубу, ему не хватало.

«У нас есть мы», — напоминала она, лежа на куче тряпья, которое служило им в доме Батлера постелью. Она прижималась к нему, и он чувствовал ее дрожь и думал, что она плачет; она и в самом деле иногда рыдала — горько, отчаянно, вроде как ни с чего. На самом же деле она смеялась. «У нас есть мы, а еще блохи, — говорила она. — Так что здесь мы никогда не будем одиноки, не так ли?» И снова прижималась к нему,

зная, что он не сможет устоять, и в конце издавала победный крик.

Он знал такие дома, как дом Батлера, с детства. У него ведь появились было надежды на лучшую жизнь, он ее уже почти ухватил, эту жизнь, и вот теперь его отбросило далеко назад. Если бы не Сэл, он позволил бы себе соскользнуть под поверхность жизни, подобно тому, как человек, упавший в слишком холодную воду, уже не старается выплыть.

Она заставляла его идти вперед, даже когда их начал грызть голод. Он не забыл это ощущение усталости из-за вечно пустого желудка. Он уставал даже от мыслей об этом, и будь его воля, отвернулся бы, подобно миссис Миддлтон, к стене и сдался. Он и представить себе не мог, что свободный лодочник реки Темзы будет испытывать голод куда более сильный, чем простой ученик, будет голодать так же, как голодал он мальчишкой на Таннерс-Лейн. Он пытался храбриться, но понимал, что ему суждено голодать всю жизнь.

Сэл, возможно потому, что у нее не было такого опыта, воспринимала нужду как нечто временное, как то, что двое людей, таких смышленых и работящих, как они, смогут преодолеть. Однажды она стащила пару яиц с прилавка и спрятала

их в детское одеяльце, пока все таращились на двух дерущихся собак. Вечером она, смеясь, рассказывала об этом происшествии Торнхиллу: «Я утащила бы и три, только эти псы, хоть и все в крови, вдруг перестали драться и принялись облизывать друг друга». И он веселился вместе с нею, им обоим было весело, потому что в животах у них было по яйцу: «Надо же, паршивцы, принялись друг друга обнюхивать, а мне-то это было совсем ни к чему!»

Это была ее первая кража, и она по-детски ею гордилась.

Он похвалил ее, назвал хитрым воришкой, но на сердце у него было тяжело, потому что жизнь отбросила его в прошлое.

Из своего крохотного окошка они видели двор мистера Ингрэма, по которому весь день бродила домашняя птица. Куры и утки сражались за сухие корки, которые бросала им из кухонной двери Ингрэмова кухарка. Торнхиллы тоже сразились бы с курами за эти корки, да только кухарка все время торчала во дворе и, догадываясь, что у Торнхиллов на уме, злобно на них поглядывала.

Это была идея Сэл. Главное, сказала она, действовать быстро и не терять головы. Они дождались, когда ближе к вечеру служанка, изрядно на-

грузившись спиртным, проковыляла в уборную. Торнхилл ринулся вниз, схватил ближайшую курицу, сунул под куртку и помчался наверх в их комнату. Только они собрались свернуть курице шею, как услышали топот на лестнице и вопль: «Воры!» Но сообразительная Сэл вышвырнула курицу из окна, где та приземлилась на крышу маленького сарайчика. Торнхиллы попытались шугануть ее, чтобы она слетела во двор, но упрямая птица стояла на крыше и громко кудахтала, а служанка во дворе вопила: «Я все видела, курица у них из окна вылетела!»

Когда раскрасневшийся от натуги мистер Ингрэм наконец вскарабкался по лестнице, он не нашел у них никакой курицы, разве только на полу валялась какое-то перышко. Тогда хозяин выглянул в окошко и увидел курицу на крыше. Но Торнхилл божился, что он днем спал, только сейчас проснулся и собрался идти в порт на работу, Сэл тоже стояла насмерть: «Он в последние шесть часов из комнаты не выходил, чертова курица сама, должно быть, залетела на сарай, и вообще мы ничего об этом не знаем, богом клянусь!»

Когда Ингрэм, ворча, ушел, Торнхиллы расхохотались. Они не смеялись уже давно, и их смех звучал, пожалуй, немножко дольше и громче,

чем следовало бы — и верно, ну что в этой истории было такого уж смешного? А потом в комнате повисла гнетущая тишина. Сэл покрутила складку на своей старой юбке, единственной, которая у нее оставалась — потрепанной, в пятнах, в дырках, и сказала: «А ведь у нас уже животы к спинам присохли, Уилл, — и в голосе ее не было никакого веселья. — Вот так-то».

Он брался за любую работу, которую могли предложить лодочнику без своей лодки. Он перевозил благородных туда-сюда и начал ненавидеть их из-за теплых меховых накидок, холеных рук, упрятанных глубоко в карманы, глаз, скрытых низко надвинутыми шапками, ног в больших теплых сапогах, в то время как его голые ноги в какой уж раз за день промокших башмаках мерзли, пока он поджидал очередного клиента.

Когда подворачивалась возможность, он работал на грузовых лихтерах, принадлежавших куда более удачливым лодочникам, и мог ненавидеть только прилив да ветер. Лихтеры перевозили уголь и древесину, и он налегал на весла, опустив голову, ни о чем не думая, словно какая-нибудь бессловесная тварь. Он сам напоминал себе человека, которому отрубили руку и который размахивает культей. Он ощущал в себе какую-то

огромную пустоту — в этой пустоте когда-то было место надежде.

• • •

Честные речники тоже встречались. Одним из таких был суровый и глубоко религиозный Джеймс Манн с причала Святой Катарины у Тауэра. Он был человеком надежным, у него имелись постоянные клиенты, которые работали только с ним, и, поджидая их, он не тратился на всякие излишества вроде табака или там жареного угря, а, бывало, расколет грецкий орех, один, не больше, да и выковыривает мякоть помаленьку.

Но речник с женой и ребенком не мог прожить только на свои заработки. Большинство речников воровали, а некоторые подходили к этому как к настоящему промыслу. У Томаса Блэквуда был лихтер — «Речная королева», номер четыреста восемьдесят семь, — который смотрелся как любой другой лихтер, пока не поднимал на корме фальшивое днище, под которым имелось объемистое отделение для перевозки краденого.

На самом деле попадались только дураки — либо слишком наглые, которые крали при ясном свете дня, либо те, которые не подмазали нужных людей. Но некоторым просто не везло. Колларбо-

ун был таким вот невезучим — об этом говорило уже то, что он родился с багровым пятном на пол-лица. Правда, может, дело было и не в одном лишь невезении — может, на него кто и донес, заработав таким образом фунт-другой. Доносчиков всегда хватало.

Колларбоун был вахтенным матросом на лихтере Смита на причале таможни, доставившего тридцать три бочонка лучшего испанского бренди. Он заступил на смену в шесть, в полночь его сменили, но как только Колларбоун сошел на берег, его остановил вахтенный офицер, обыскал и нашел в карманах куртки пузыри с бренди. Колларбоун вырвался, оставив куртку в руках офицера, и помчался на холм Святого Дунстана, где его уже поджидал другой офицер. Поскольку бренди было отличного качества, и стоимость покражи явно превышала сорок шиллингов, Колларбоуна без всяких приговорили к повешению.

За день до казни Торнхилл ходил повидаться с ним в Ньюгейт. Они сидели за длинным столом — эти свидания были одной из привилегий приговоренных к смерти, и Колларбоун рассказывал ему все в подробностях: «И вот я достал буравчик и трубку, и сказал себе: ну, и чего ж ты ждешь?» Он ухмылялся, как будто это была очередная

забавная история.

Но Торнхилл очень хорошо себе представлял, как все это происходило, он даже ощущал страх, сжимавший горло, когда что-то крадешь, и понимал, что все это вовсе не шутка. Не важно, как часто приходится воровать, ты все равно задыхаешься от страха, потому что тебя непременно поймают и повесят.

Колларбоун сначала смеялся, а потом страшно побледнел. Закрыл лицо руками, а когда снова взглянул на Торнхилла, то, казалось, видел не его, а тот путь, что привел его в эту комнату, весь путь, начавшийся два месяца назад, когда он проснулся и ел на завтрак, стоя у окна в одном исподнем, ломоть хлеба, ел и еще не дотрагивался до испанского бренди, которое и привело его в это проклятое место.

Смерть через повешение и так была ужасной, но некоторым счастливчикам везло, и она была быстрой. Палач накануне взвешивал приговоренного, производил кое-какие подсчеты — рассчитывал длину веревки, чтобы шея ломалась чисто и быстро. На следующее утро в восемь часов под человеком с петлей на шее открывался люк, и он падал — словно прыгал в реку с пирса Ламбет. Если мистер Палач все правильно

рассчитал, тогда человек дергался недолго, не плясал в петле и голова его быстро свисала на сломанной шее.

Но в такой скорой смерти не было ничего увлекательного. Разочарованная толпа принималась улюлюкать, швырять огрызки и кости в тело, раскачивающееся на веревке совсем как мешок с кофе, который на веревке же затягивают в проем в стене склада Лэмба.

Здесь, в этой камере смертников, Колларбоун упросил Торнхилла купить ему быструю смерть, и ради былых времен Торнхилл так и сделал — ходками для Уорнера и Блэквуда и остальных собрал полкроны. Сунул монеты через решетку в протянутую руку, продолжение невидимого тела мистера Палача. Это все, что он мог сделать для друга.

Сэл заложила табуретку и их второе одеяло, чтобы раздобыть еще полкроны, но смотреть на казнь не пошла. Торнхилл же почему-то чувствовал, что это будет правильно — составить Колларбоуну компанию в его последнем путешествии, и поэтому на следующее утро, в сером рассветном свете, они с Робом стояли во дворе тюрьмы Ньюгейт и смотрели, как их друг неуклюже шел к люку. Мистер Палач шагнул в сторону,

и Колларбоун провалился в люк.

Но, видно, мистер Палач что-то не так посчитал, или сунутых сквозь решетку монет оказалось маловато. В результате падения шея у Колларбоуна не сломалась сразу же, а толстая веревка просто перетянула дыхательное горло. До Торнхилла донеслись хрипы пытавшегося вдохнуть Колларбоуна, он видел, как бились в воздухе его ноги, как вздымались плечи, как отчаянно, словно рыба, пойманная на крючок, билась его затянутая парусиновым мешком голова.

Публике смерть Колларбоуна понравилась.

Роб видел казнь впервые. Он глазел с открытым ртом, и когда все было кончено и веревку, на которой болтался бедный Колларбоун, отрезали, он отвернулся и его стошнило прямо на маленькую собачонку, прижимавшуюся к юбке своей хозяйки, и дамочка, даром что была вся в шелках, вопила и бранилась, как торговка рыбой с Биллингсгейта.

«Попал на псину прямо в точку, — рассказывал он потом Сэл. — И захочешь — так не сделаешь». Она быстро глянула на него, а потом снова уставилась на чулок, который штопала — стежок на стежок. Глубоко вздохнула и повернула чулок, чтобы вонзить иглу под другим углом, и он так и

не понял, поверила она ему, или нет.

• • •

Мистер Лукас был дядькой объемистым, полосатый жилет подчеркивал его толстое пузо. Он был хозяином нескольких лихтеров и бригадира по имени Йейтс, который уже сам нанимал гребцов. Йейтс слыл человеком справедливым и распределял работу поровну.

Ходили слухи, что Лукас мечтает стать лорд-мэром Лондона. Он слыл благочестивым, по крайней мере, по воскресеньям, потому как это было обязательным условием будущего лорд-мэрства, и весьма строго следил за всякими злоупотреблениями на принадлежавших ему лодках. Другие хозяева могли глядеть в сторонку, позволяя бедным гребцам пользоваться какими-никакими возможностями, но только не Маттиас Прайм Лукас. Человек, твердо решивший стать лорд-мэром Лондона, должен считать каждый пенни, потому как это затея не дешевая — чего стоят грандиозные обеды и подарки нужным людям, тут не до щедрот по отношению к работягам.

Джон Уайтхед сглупил, и его заловили на причале Брауна с семьюдесятью фунтами конопли

с лихтера, принадлежавшего мистеру Лукасу. Уайтхед, говорят, на коленях умолял мистера Лукаса, но мистер Лукас был непреклонен, и в назидание другим Уайтхеда вздернули.

Поначалу Торнхилл осторожничал, лишь время от времени позволяя себе наполнить пузырь портвейном или припрятать мешочек чая. Пару раз он чуть не попался — офицеры выскочили прямо из ниоткуда. Но проработав три года на Лукаса, он научился ценить и безлунные ночи, и то, как важно всегда иметь под рукой маленький ялик, на котором можно удрать. Уайтхед попался только потому, что недостаточно подмазывал портовую полицию. Торнхилл же регулярно поставлял им бутылки французского бренди. Единственное, от чего человек не мог себя защитить, — это от брехунов, готовых за пять или десять фунтов доносить на своих.

Торнхилл обзавелся полезными знакомствами. Одним из таких знакомцев был Наджент из судовладельческой компании «Мессирз Буллер» — клерк, не гнушавшийся несколькими лишними шиллингами. Это Наджент дал ему

знать о грузе бразильского красного дерева[8], стоившего не меньше десяти фунтов за доску, который прибывал на «Роуз Мэри».

Поэтому, когда бригадир Йейтс приказал ему плыть к Хорслидауну, к «Роуз Мэри», принадлежавшей компании мистера Буллера, и доставить груз древесины вверх по реке к пристани Трех Кранов, у него все уже было готово. Он убедился, что луна взойдет в эту ночь поздно, и наказал Робу ждать его у «Роуз Мэри».

Вечером, с отливом, он погнал пустой лихтер к Хорслидауну и прибыл как раз к полуночи. Пришвартовался к борту «Роуз Мэри» и лег соснуть до рассвета, когда загрузится древесиной и когда прилив понесет его вверх по реке, к пристани Трех Кранов.

Пока что он был невиновен, как свежевыпавший снег.

Он любил эти ночи на реке, его успокаивал звук плещущей о борта воды. Стоявшая рядом «Роуз Мэри» была всего лишь сгустком тьмы на фоне темного неба — звезды скрылись за облаками.

---

[8] Примечания: 8

Бразильское красное дерево, или фернамбук, очень ценилось как сырье для изготовления красной краски для окрашивания дорогих тканей. Также из этой древесины делали смычки для струнных инструментов.

Человеку с чистой совестью нечего бояться темноты.

Он думал о Сэл, спящей в кровати вместе с ребенком. В это самое утро она сказала ему, что у них будет еще один ребенок — еще один голодный рот. Она рассмеялась, когда он уставился на ее живот: «Еще ничего не видно, Уилл!» Но взяла его руку и положила на передник, на то самое место, где его семя дало свои всходы, и улыбнулась.

Она никогда не выспрашивала его, откуда взялись деньги, а только радовалась, что в буфете есть краюха хлеба и свежее молоко для ребенка. Она, как и он, прекрасно знала, что те из гребцов, которые отличались честностью, голодали. Но он чувствовал, что она не хочет знать всей правды, и поэтому никогда не рассказывал ей о тех ночах на реке, когда ему удавалось наложить лапу на то, что ему не принадлежало.

Наступило утро, но Роб не появился. Ждать он больше не мог, и потому нанял человека с пристани по имени Барнс, такого тупого, что ему пришлось объяснять, с какого конца брать доски и как загружать их в лихтер. Он подгонял Барнса и все больше злился на Роба и на себя самого, потому что понадеялся на полудурка, который не в состоянии запомнить собственное имя, не

говоря уж о том, чтобы быть в назначенное время в назначенном месте.

Позже на борт поднялся мистер Лукас, чтобы вопить да указывать. К тому времени основную часть леса перегрузили на лихтер, но Торнхилл пока не видел никакой бразильской древесины, только хвойный лес, и он подумал, что Наджент что-то перепутал. Он крикнул Лукасу: «Мы уже почти все загрузили, мистер Лукас! Полагаю, больше ничего не будет?» Лукас глянул на него и со странной усмешечкой вынул свой маркировочный молоток. «Еще немного загрузим в каюту, — прокричал он с борта “Роуз Мэри”. — Шесть досок бразильского красного дерева, я их сам промаркирую».

Торнхилл чувствовал какую-то странную легкость во всем теле. Он знал это ощущение, он испытывал его всякий раз, когда нарушал закон — и сколько б раз ни нарушал: это была лихая смесь страха и надежды. Однако ему удавалось сохранять невозмутимое лицо.

Стоя наверху, Лукас наблюдал, как они с Барнсом укладывали бразильскую древесину, четыре длинных доски и две покороче. Лихтер был уже полностью загружен, и им пришлось положить бразильские доски поверх всего остального. Они

были хороши даже в необработанном виде — плотное дерево с чудесным рисунком глубокого красного цвета. Лукас пометил каждую доску — на обоих концах виднелись маленькие квадратные следы от молотка.

На какое-то мгновение Торнхилл решил, что задуманный им план придется отменить. Это даже было не осознанное решение — просто ощущение, словно кто-то плеснул ему за шиворот холодной воды: «Он знает, не делай». Сердце колотилось так, что в груди прямо ухало. Он знал, как называется это чувство — то был страх. Но чтобы помешать кому-то украсть что-то у того, кому это что-то принадлежит, одного страха недостаточно. Это чувство — такая же составляющая жизни гребца, как вечно мокрые башмаки. Все просто: страхом за крышу над головой не заплатишь.

Лукас стоял на палубе «Роуз Мэри», уперев толстые ручищи в объемистые бока, и внимательно наблюдал за погрузкой. «Мне не нравится, что ты положил бразильские доски поверх всех остальных, — заявил он. — Они стоят пятьдесят фунтов». Торнхилл глянул на него снизу, из лихтера: «Вы бы хотели, чтобы мы разгрузились, положили их вниз и загрузились снова?» Лукас постоял, размышляя, и наконец решил: «Нет, но смотри,

парень, чтобы с ними ничего не случилось». Торнхилл изобразил подобострастие: «Конечно, мистер Лукас, можете на меня положиться».

К трем пополудни лихтер был полностью загружен, но как раз начался отлив, так что пришлось повременить. У Торнхилла была с собой еда, и он уселся на доски, ожидая, когда наступит вечер. Около одиннадцати он услышал, как у реки поменялся голос, а это означало, что начинается прилив. Он отогнал лихтер от корабля, и прилив понес их вверх по течению. Ему оставалось лишь направлять судно веслом.

Он прошел через среднюю часть Лондонского моста и повернул к банке Мидлсекса. В кромешной тьме он различал лишь воду. По тому, с какой скоростью он прошел под Лондонским мостом, он высчитал, когда ему надо свернуть к пристани Трех Кранов, и повернул судно в сторону берега, поймав течение, которое принесло его к доку. Он слышал, как плещется о деревянные сваи вода, судя по звуку, она стояла еще слишком низко, чтобы начинать разгрузку.

Он слышал, как в конце причала бьется на фалине его шлюпка — он сам привязал ее там накануне. Шлюпка ждала, когда он погрузит в нее бразильские доски. Он пока еще к ним не при-

тронулся, он пока еще был ни в чем не повинен.

Вахтенный сидел в своей каморке на краю причала. Торнхилл видел, как из-под двери пробивается тоненький лучик света. Вахтенный закрылся с чем-то там жидким и согревающим.

Торнхилл, направляя лихтер вдоль причала, тихо позвал: «Роб, Роб, ты здесь?» Никто не отвечал. Он уж было решил, что ему придется все делать самому, оставил весла и собрался прыгнуть на причал, чтобы закрепить линь на швартовой тумбе, как из темноты послышался тихий голос Роба: «Уилл, я здесь». — «Бога ради, помоги пришвартоваться!» — ответил Торнхилл и бросил линь. Роб каким-то чудом поймал его, закрепил, и лихтер мирно закачался на волнах.

Торнхилл вскарабкался на причал. «Черт бы тебя побрал, Роб, — прошипел он. — Почему ты не пришел помочь мне с лихтером?» В темноте он не видел брата, но мог легко представить себе виноватое выражение на его тупой физиономии. «Пришел, как только смог, Уилл, — заныл Роб. — Господь мне свидетель!» Стараясь не повышать в раздражении голос, Торнхилл сказал: «Господа-то хоть не поминай! Давай спускайся, и закрепи корму, да поживее!»

Он только успел привязать кормовой линь к

тумбе, как услышал какой-то звук рядом с лихтером — легкий всплеск, деревянный звук весла, стукнувшегося об уключину. У него мелькнула мысль — мимолетная, как тень птичьего крыла, отмеченная быстрым взглядом, — что что-то идет не так. Он вгляделся в темноту, но не увидел ничего, кроме переливов этой темноты.

Им пришлось перегружать бразильскую древесину в шлюпку почти наощупь. Они тихо-тихо передвигали доски через планшир лихтера, шлюпка оседала под их тяжестью. Он чувствовал, как Роб принимает груз, слышал глухой звук, с которым ложились доски друг на друга. Стук был почти неслышным, но для него он звучал словно гром.

Они перегружали уже четвертую доску, когда вдруг на другом конце лихтера послышалась какая-то возня, стук и топот нескольких пар ног в тяжелых ботинках. Кто-то бежал по лихтеру к Торнхиллу и Робу, державшим брус. «Торнхилл! — раздался вопль Лукаса. — Торнхилл, ах, мерзавец!» В этот момент в душе его поднялся весь скопившийся ужас, и этот ужас поглотил его. Надо было прислушаться! Надо было слушать тот тихий голосок, твердивший: «В этот раз они тебя поймают!»

У Лукаса в руке что-то было. Торнхилл увидел металлический отблеск и понял, что это кортик, с которым мистер Лукас никогда не расставался. Он услышал, как лезвие рассекло воздух рядом с ним, и этот звук заставил его запаниковать. Он отступил в шлюпку, споткнулся о брусья, почувствовав себя беспомощным и маленьким. «Бога ради, не надо!» — услышал он собственный крик, его плоть съежилась, сжалась, стремясь избежать столкновения с лезвием, а Лукас вопил: «Сюда, стража, сюда!» — и Торнхилл почувствовал, как чья-то рука ухватила его за рукав.

Ему удалось вывернуться, но руки схватили его за ворот, и он побежал вдоль шлюпки. Лукас пытался его удержать, но споткнулся о весло и грохнулся плашмя. Он услышал, как воздух с ревом вырвался из его глотки и представил, как этот огромный обтянутый полосатым жилетом живот лопается, словно пузырь. Он запрыгнул в шлюпку, Роб уже был в ней — смотри-ка, когда речь идет о спасении собственной жизни, он быстро соображает! — и отвязывал канат. Отталкиваясь веслом от лихтера, он услышал, как одна из бразильских досок соскользнула с планшира и шлепнулась в реку, отчего их лодка закачалась и чуть не зачерпнула воды.

Он задыхался от страха, но одновременно и от странных конвульсий в животе, которые, как ему показалось, имели какое-то отношение к смеху.

Роб был больше озабочен потерей своей куртки, чем спасением, и вновь и вновь с удивлением, как будто только что об этом узнал, твердил: «Моя куртка там осталась! Моя хорошая толстая куртка! — и добавлял: — И мой носовой платок, как же я теперь сопли вытирать буду, а, Уилл? — затем с кормы раздался его похожий на клекот смех: — Мой платок, Уилл, только подумай, мистер Лукас решит, что это его собственный платок!»

Ну точно, мозг у Роба был устроен странно — в нем, как сливы в пудинге, попадались мысли вполне здравые.

Он уже подумал, что им удалось удрать, как с лихтера послышался рык мистера Лукаса: «Йейтс! Хватай их!» Обернувшись, Торнхилл увидел, как по темной воде к ним приближается нечто — другая шлюпка. Он налег на весла, чтобы повернуть, да так резко, что Роб растянулся на корме.

Как во время гонки на приз Доггетта, все существо Торнхилла словно сжалось, остались только руки, плечи, ноги, упертые в днище. Он греб изо всех сил, чувствуя только, как зад его с каждым гребком отрывается от скамьи. Он подумал, что

оставил преследовавшую его шлюпку позади. Быстрый взгляд через плечо подсказал, что рядом собор, он направил лодку к пристани Кроушей и уже собрался сушить весла и причаливать, как сзади, из темноты, на него налетела другая лодка, из которой в его суденышко перепрыгнул кто-то огромный, его лодка закачалась, и голос Йейтса, задыхаясь, просипел: «Я тебя поймал, застрелю, если попытаешься сбежать!» И даже в этот миг Торнхиллу хотелось засмеяться и ответить: «Кончай важничать, Йейтс!»

Роб издал вопль, лодка качнулась, раздался громкий всплеск. Брат перевалился через корму, и больше от него не было слышно ни звука.

Торнхилл видел темные очертания Йейтса, чувствовал запах трубки, которую тот всегда курил. Йейтс не был плохим человеком — сам ведь был лодочником. За все эти годы к его рукам тоже прилипло немало. «Бога ради, поимейте жалость, мистер Йейтс, — взмолился Торнхилл. — Сами ведь знаете, что мне будет!» Он увидел, что темная масса — мистер Йейтс — вроде как помедлила, и взмолился снова: «Вы же меня десять лет знаете, неужто позволите, чтоб меня вздернули?»

И поскольку Йейтс стоял в явной нерешительности и молчал, Торнхилл набрал полные легкие

воздуха и прыгнул за борт. Прилив был на середине, вода доходила ему только до бедер, а рядом качалась лодка Йейтса. Он в одно мгновение добрался до узла, отвязал лодку и перевалился в нее. Торнхилл оттолкнулся и принялся грести изо всех сил. Йейтс молчал.

Йейтс мог быть милосердным, но Лукас таковым не был. Человек, метивший на должность лорд-мэра Лондона, ни за что не стал бы попустительствовать воровству. Объявили награду — не за поимку Роба, чье тело прибило к ступеням причала Мейсона, а за поимку его, Уильяма Торнхилла. И кто мог устоять против десяти фунтов?

Так что они пришли и нашли его там, где он прятался — выше по реке, на пристани Экри, что возле мельницы.

• • •

Людей в камерах Ньюгейта было столько, что по ночам едва удавалось найти на полу место для грязного тюфяка. Стены были сложены из камня, обтесанного так ровно, что между блоками не оставалось ни малейшей щели, известковым раствором при сооружении тоже не пользовались: каменные блоки держались за счет собственного веса, и несокрушимыми были сложенные из них

стены.

Сэл переехала из комнаты в доме Батлера к Лиззи и Мэри и тоже стала шить саваны. Все они навещали его в камере, делая вид, что у них все хорошо и что опасаться им нечего. Сэл, крепко держа за ручку маленького Уилли, привела его с собой. Ему было четыре — уже достаточно большой, чтобы испугаться увиденного в Ньюгейте, но еще маленький, чтобы это сильно на него повлияло. Торнхиллу нравилось держать ребенка на руках, прижимая к груди, но он попросил Сэл больше его не приводить — заключенные болели тюремной лихорадкой.

Они принесли еду, какую смогли собрать, — кусок хлеба и кусочки вяленой селедки. И наблюдали, как он ест. Он видел их голодные глаза и старался съесть все, чтобы их порадовать, но на самом деле есть ему не хотелось: горло словно перекрыло.

Он старался не вспоминать о счастливых временах. Здесь, в Ньюгейте, все, что было в его душе мягкого, где раньше теплилась какая-то надежда, затвердело, превратилось в камень, покрылось панцирем. И слава богу.

Сэл взяла все в свои руки. Она продумала все. Больше всего человеку в Ньюгейте нужен был

не кусок хлеба и не одеяло — больше всего ему нужна была надежная история. Она твердила, что хорошая история — самое главное, даже если тебя поймали с поличным. И человек должен сам в нее верить, потому что когда настанет черед ее рассказывать, все должно выглядеть как чистая правда.

Он видел, что она ухватила саму суть. В тюремном дворе он наблюдал, как один мальчишка снова и снова повторял себе и всем, кто оказывался рядом, одну и ту же фразу: «Это все вранье, это все ради награды». Мальчик произносил эту фразу и так, и эдак, с разными выражениями, ребенок с дырками вместо передних зубов, лишь немногим старше Уилли. «Это все вранье, это все ради награды». Он был похож на тех актеров, которых Торнхилл перевозил через реку. В нужный момент и при ярком свете рампы, фраза будет наготове и вытеснит все остальные соображения — только потому, что ее столько раз повторяли.

История должна быть такой убедительной, чтобы мало-помалу само событие — а в случае мальчика это была кража бекона из мясной лавки — было скрыто под другим событием, подобно тому, как нарастают на камень ракушки. Что может быть лучше грубой *лжи*? Просто произ-

нося ее, надо верить в ее реальность и смотреть открыто, как человек, который говорит правду.

К тебе подошел какой-то человек и сам отдал тебе куртку. Этот кусок ковра ты нашел на дороге. Некто пообещал тебе пенни за то, что ты отнесешь эту коробку на Коспорт-стрит. Бог свидетель, ты ни в чем не виноват.

Сэл уже все для него придумала. Он привязал лихтер, но из-за того, что прилив был еще низким, он выбрался на причал, собираясь вернуться, когда будет больше воды. Он понадеялся, что вахтенный на причале присмотрит за грузом, но пока его не было, кто-то неизвестный, должно быть, подобрался со стороны реки, так, чтобы вахтенный не заметил, и перегрузил доски.

Это была надежная история, без прорех. Он любовался Сэл, восхищался тем, как ясно она все себе представила и подсказала слова, которые могли превратить эту историю в правду. «Ты выберешься отсюда, Уилл, — прошептала она, обнимая его на прощание. — Ничего они тебе не сделают, уж я об этом позабочусь».

Ее любовь и стойкость придавали ему мужества, это было богатство, которого, как он видел, не было у других. Когда его жена и сестры ушли, он выпрямился, стал словно выше, и мог смот-

реть тюремщикам в глаза. «Я привязал лихтер и ушел, собирался вернуться позже».

На следующий день по двору пронесся слух, что некий Уильям Биггс, которого обвиняли в краже двух уток, оцененных в двадцать пять шиллингов, убедил суд в том, что он невинен, как еще не рожденное дитя, и его оправдали. В тюремном дворе все только и говорили о своей невиновности, и идея распространилась среди заключенных, словно холера. Торнхилл слышал, как стоявший рядом с ним человек бормотал: «Я солдат. Я только что вернулся с дежурства, да рядом со мной в казарме полно было народа, я невинен, как еще не рожденное дитя».

И он добавил эти слова к своей истории, которую все время репетировал. «Я привязал лихтер, собирался вернуться позже, чтобы разгрузиться, я невинен, как еще не рожденное дитя»

• • •

Зал в Олд-Бейли[9] был настоящей медвежьей ямой. В самом низу глубокого, как колодец, помещения стоял большущий стол полукругом, за которым сидели барристеры, похожие в своих

[9] Примечания: 9
Центральный уголовный суд Лондона.

черных мантиях и париках на ворон, вокруг них толпились робкие свидетели, ждавшие, когда их вызовут, приставы подпирали стены.

Чуть повыше, вдоль одной из стен, внутри кафедры, огороженной деревянными панелями, располагались присяжные — по четыре в три ряда, в этом огромном и плохо освещенном зале различить их лица не было никакой возможности. Напротив судьи, на маленькой платформе, спиной к свету, лившемуся из высоких окон, словно пришпиленный, торчал очередной свидетель.

Высокие, полные света окна повторяли окна церкви Христа. И доказывали — как если бы Торнхилл в том сомневался, — что судья суть особа благородная, потому как Господь тоже ведь из благородных!

Над кафедрой, на которую вызывался тот, кто давал показания, было прикреплено зеркало под таким углом, чтобы свет из окон, отразившись от него, освещал лицо говорившего. Этот холодный мертвенный свет, из-за которого лица приобретали металлический оттенок, должен был позволить судье и присяжным заглянуть непосредственно в душу говорившего. Позади него было прикреплено еще одно зеркало, дававшее свет человеку в парике вроде барристерского,

с чернильным прибором и большой книгой, в которую он записывал каждое произнесенное слово.

Вот это, наверное, было самым ужасным: кто бы что ни сказал — будь то слово правдивое, или ложно обвиняющее, — запечатлевалось навеки, и не было здесь места для милосердной человеческой забывчивости.

Наверху, почти под потолком, находились галереи для публики, огороженные высокими панелями и колоннами, призванными сдерживать волнение толпы. Он смотрел туда, наверх, в надежде отыскать взглядом Сэл, но видел лишь беспокойную людскую массу. То там, то здесь над заграждением возникала чья-то рука, мелькала в толпе яркая женская шаль. Он заметил соломенную шляпку, которая удерживалась на голове завязанным под подбородком шарфом. У Сэл была шляпка, и носила она ее именно так, и, наверное, это ее изгиб шеи, это она пытается через головы и плечи заглянуть вниз, туда, где заседает суд.

Он расслышал какой-то вскрик, женский голос. Может, это был ее голос, и она звала: «Уилл! Уилл!» — и это ее рука ему махала?

Наверняка это она, думал он, и любил ее за это. Он сидел за решеткой и не осмеливался крикнуть

ей в ответ — это было бы так же неуместно, как окликнуть кого-то в церкви. Во всяком случае, она принадлежала другому миру, миру, который он покидал. Он любил ее, она была для него всем, но здесь, внизу, он был сам по себе.

Он стоял на месте, которое почему-то называлось скамьей подсудимых, — на высоком пьедестале, на котором был виден всем, прямо перед ними, словно совершенно нагой. Руки были туго связаны за спиной, из-за чего ему приходилось склонять голову, он все время старался выпрямиться, смотреть судьбе в глаза, но боль в шее заставляла склоняться. Здесь, на возвышении, он чувствовал, как скапливается и ползет снизу вверх влага: все эти втиснутые в одежды тела, все эти вдохи и выдохи, все эти клубящиеся в тяжелом воздухе слова.

Он был потрясен силой слов. Слова были сутью этого суда, отдельные слова, сгустки воздуха, вылетавшие из уст свидетеля, от них зависело, болтаться ему на виселице или нет.

Когда его вытолкнули на пьедестал, он не сразу разглядел судью, восседавшего на резной скамье, — серое лицо, казавшееся еще меньше из-за пышного парика, многослойной мантии, туго обхватывавшего шею белого воротника с золотой

окантовкой. И это облачение было призвано усмирить, сократить то человеческое, что находилось под ним, пока оно не исчезнет совсем.

• • •

Мистер Нэпп, которого назначили ему в защитники, был джентльменом апатичным и вялым, и Торнхилл не ожидал от него никакого толка, однако мистер Нэпп его удивил. Мистер Лукас сказал все, что собирался сказать, затем Нэпп обратился к нему голосом таким утомленно-скучающим, что Торнхилл поначалу и не понял, что тот нашел какую-то лазейку: «Я так понял, мистер Лукас, что вы сказали, что ночь была очень темная и потому вы могли узнать того человека только по голосу, и то был голос Торнхилла?»

Но мистер Лукас понял, куда тот клонит, сначала прокашлялся, а потом убежденно произнес: «Я его точно узнал, когда до него добрался», и мистер Нэпп, не обращая внимания на слова мистера Лукаса, небрежно спросил: «Но узнали вы его только по голосу?»

Человека, намеревающегося получить золотую цепь лорд-мэра, какому-то полусонному барристеру не смутить, и Лукас холодно ответил: «Я уверен, что человек, которого я видел, это вон тот

заключенный, и когда я его поймал, я его узнал — это заключенный».

Теперь Торнхилл слушал со всем вниманием: судя по всему, ему следовало бы поблагодарить ночь за то, что она была такой темной. Нэпп подстроил маленькую ловушку, сказав: «Другими словами, вы узнали Торнхилла, когда схватили его?» Лукас снова откашлялся, переступил с ноги на ногу, почесал глаз и сообразил, что к чему. «Перед этим я узнал его по голосу», — нетерпеливо произнес он. Мистер Нэпп, не дав ему времени на обдумывание, тут же заявил: «И это заставило вас сделать вывод, что это Торнхилл — то есть вы не были уверены, пока не приблизились и не убедились, что это так?»

Но и Лукас был не дурак, так просто его было не поймать. Он уперся руками в ограждение, солнечный свет, отразившись от зеркала, воссиял на его физиономии. Заговорив, он, казалось, читал письмена, начертанные плясавшими в солнечном луче пылинками: «Когда древесину двигали, я никакого голоса не слышал. И если б меня спросили об этом моменте, я не стал бы клясться, что то был Торнхилл». Он помолчал, подбирая слова, а затем, ровно и медленно, словно втолковывал что-то всем Робам этого мира, продолжил: «Сей-

час я могу поклясться, что одним из тех, кого я видел, когда перегружали древесину, был Торнхилл, но тогда бы я в этом поклясться не мог. Когда я приблизился, это оказался Торнхилл, и я глаз с него не спускал, потому могу сказать, что тем самым человеком, который перегружал доски, был Торнхилл».

И даже мистер Нэпп не смог найти щели в этой каменной кладке из слов.

Наступил черед Йейтса давать показания, и Торнхилл видел, что ему это неприятно. Щурясь из-за света, отражавшегося в зеркале, Йейтс уставился в противоположную стену зала-колодца, его густые седые брови двигались вверх-вниз, руки неустанно отпихивали и перебирали перила, перед которыми он стоял, как будто он пытался оттолкнуть от себя все эти неприятности.

Мистер Нэпп, глядя куда-то в потолок и словно спрашивая у самого себя, произнес: «Значит, возможности разглядеть лицо не было — слишком для этого было темно?»

Йейтс принялся поглаживать перила, словно собаку. «Да, темно, — сказал он. — Я судил по голосу, по фигуре и росту».

Тут мистер Нэпп вдруг ожил и выпалил: «А как можно судить по фигуре и росту в такую темную

ночь?» Торнхилл увидел, что бедняга Йейтс скривился и, запинаясь, принялся оправдываться: «Да я и не смог бы, если б не был с ним хорошо знаком! — движения кустистых бровей подчеркивали его огорчение: — Я же не говорю, что всегда могу или не могу, но тут вот вроде узнал».

Мистер Лукас, стоявший у скамьи свидетелей, строго воззрился на Йейтса. Даже со своего места Торнхилл видел выступивший на лбу бедняги Йейтса пот. Мистер Нэпп упорствовал: «Ночь была безлунная, и как же вы могли узнать человека по фигуре и росту?» Как же получается, думал Торнхилл, что два простых слова — «фигура» и «рост» — могут означать жизнь или смерть?

Бедный Йейтс, глядя то на Лукаса, то на Торнхилла, запинаясь, пробормотал: «Прошу прощения, если я что не так сказал…» — а безжалостный мистер Нэпп продолжал наступление: «Значит, это было поспешное заявление, что вы узнали его по фигуре и росту?» И Йейтс сломался, теперь он уже сам не был уверен в собственных словах, и, не отводя взгляда от Лукаса, промямлил: «Но я почти поймал этого человека, я понял, что это он, когда он со мной заговорил. Я узнал его по голосу».

Тут он глянул на Торнхилла и сказал: «Наверное, я поспешил, когда говорил про фигуру и

рост», и умолк, будто окаменев, и лишь крепче стискивал под мышкой свою шапку. А безжалостный свет, отразившись от зеркала, заливал его несчастную физиономию.

• • •

Момент, когда Торнхиллу дозволили рассказать свою историю, наступил так неожиданно, что все слова, которые они с Сэл подготовили, испарились у него из головы. Он мог припомнить только самое начало: «Я привязал лихтер и собирался вернуться к нему потом», потом ведь были еще какие-то слова, но какие?

Он, сам не понимая почему, уставился на мистера Лукаса и пробормотал: «Мистер Лукас знает, что ни один лихтер на реке не может встать там на якорь», и уже когда эти слова вылетали у него изо рта, понимал, что к делу они отношения не имеют, и в отчаянии выкрикнул: «Я невиновен, как еще не рожденное дитя!» Однако эти неоднократно отрепетированные слова уже никакого значения не имели.

Во всяком случае, судья, там, на своем месте, его не слушал. Он шуршал бумагами и, наклонившись, внимал тому, что кто-то говорил ему на ухо. Лукас тоже не слушал, засунув руку в кар-

ман, он достал оттуда часы. Торнхилл увидел, как открылась серебряная крышка, как Лукас взглянул на циферблат, снова закрыл часы, почесал указательным пальцем ноздрю. Эти его слова, так убедительно звучавшие во дворе Ньюгейтской тюрьмы, канули в никуда.

Теперь судья забавлялся со своей черной шляпой, затем напялил ее на парик, так, что она лихо свисала набок, и принялся что-то говорить тихим писклявым голоском, Торнхилл его едва слышал. Пристав, толстый джентльмен в грязном белом жилете, заметил у противоположной стены знакомого и поприветствовал его, помахав рукой и что-то выкрикнув. Один из барристеров накручивал на палец концы воротничка, другой вытащил табакерку и предложил понюшку соседу.

Суд и не собирался выслушивать Уильяма Торнхилла, и в мгновение ока он был признан виновным и приговорен «к повешению за шею, пока не умрет».

Он услышал крик — то ли с галереи для публики, то ли этот крик вырвался у него самого, он не понял. Он хотел сказать, воззвать: «Ваша милость, простите, это какая-то ошибка», но тюремщик уже схватил его за плечо, сволок по лестнице и впихнул в дверь прохода, который вел в Ньюгейт.

Он успел повернуться и глянуть на галерею для публики, Сэл была где-то там, но он ее не видел. А потом он вновь оказался в камере, вместе с другими, но без своей истории, с него, как одежду, содрали его рассказ об оскорбленной невинности, и он остался без всего, кроме осознания того, что был у него миг надежды, и этот миг прошел, и впереди у него ничего, кроме смерти.

• • •

Сэл пришла навестить его в камеру смертников. Сам звук ее шагов по деревянным планкам пола сказал ему, что она сдаваться не намерена. За беспечной девчонкой, на которой он женился когда-то, скрывался совсем другой человек, на которого он теперь смотрел с изумлением, — не девочка, а женщина. Ее чувство юмора никуда не делось, его не истребили, оно просто стало другим — оно стало темнее и глубже, изменилось под влиянием того, что было в ней всегда, но поджидало своего часа, чтобы проявиться, — ее упрямого ума, нерушимого, как скала.

Она навела справки, сказала она. Порасспрашивала и выяснила, что должен делать приговоренный к смерти. «Прошения писать, Уилл, — сказала она. — Посылать прошения, под-

нимаясь все выше и выше, вот как это работает». В ней была какая-то ледяная веселость, даже резвость, хотя он заметил, что она избегает встречаться с ним взглядом, как будто боится увидеть в его глазах что-то, что сломает ее решимость. Отчаяние, узнал он здесь, столь же заразно, как лихорадка, и столь же смертельно. «Ты должен заставить этого колченогого Исусика написать капитану Уотсону, — заявила она. — У меня не получится, я и слов-то таких не знаю». В лицо она ему не глядела, но схватила его за руку и сжала так сильно, что он почувствовал все ее косточки: «Сделай это сегодня, Уилл, и ни минутой позже».

Он доверился ей и отправился к тому, о ком она говорила, — человеку с кривыми и иссохшими ногами, который ползал из камеры в камеру. Если у вас имелось что-то ценное, с чем вы готовы расстаться, тогда этот человек был готов написать для вас любое прошение.

Он отдал калеке свою толстую шерстяную шинель. Оторвать ее от себя было все равно, что оторвать собственную руку, потому что без этой шинели зиму на реке не пережить. Но ему ведь все равно больше не придется перегонять лихтеры, разве что этот человек сможет написать такое прошение, что его выпустят.

Уродец, закончив свое дело, прочел письмо вслух.

Оно было написано как бы самим Торнхиллом и адресовано капитану Уотсону, его постоянному клиенту с причала Челси, единственному знакомому с положением. В нем говорилось, как сильно Торнхилл сожалеет о содеянном, но это ведь первый его проступок, и он искренне молит Господа о прощении. В нем также перечислялись все, кто от Торнхилла зависел — слабоумный брат, сестры, у которых, кроме него, никого не было, беспомощная жена и ребенок, и еще один ребенок, растущий в ни в чем не повинном чреве жены.

Торнхилл держал бумагу и рассматривал черные завитки чиновничьего почерка калеки, так непохожего на аккуратные буковки, которые выводила Сэл. Эти письмена ничего ему не говорили. Для него они были не более чем отметины, которые мог бы оставить на столе жук после того, как пополз по лужице темного пива. Как же ужасно, что его жизнь зависит от таких хлипких закорюк.

Чудо из чудес — это письмо породило другое письмо. Капитан Уотсон написал его тому, кто занимал более высокое положение, — генералу

Локвуду, который мог поговорить с мистером Артуром Орром, который был знаком с сэром Эразмусом Мортоном, который был вторым секретарем лорда Хоксбери. Лорд Хоксбери был конечной инстанцией. Ему принадлежала власть даровать или не даровать помилование.

Капитан Уотсон был хорошим человеком и отправил копию своего письма Сэл. Она пыталась, но не смогла расшифровать причудливый почерк, поэтому они обратились к калеке, чтобы он прочел им письмо вслух. Он читал споро, кичась тем, как ловко у него это получается: «Настоящим осужденный Уильям Торнхилл кланяется Вам и смиренно просит Вашу светлость о милосердии и снисхождении и пощаде, дабы он и близкие его неустанно молились о Вас и о том, чтобы Вы всегда процветали подобно зеленому лавровому кусту подле вод, чтобы солнце радости вечно сияло над Вашею главою, чтобы Вы всегда преклоняли главу на подушку, ничем не тревожимую, и чтобы, когда Вы устанете от радостей земных и покров вечности согреет Ваш последний земной сон, ангел Господень препроводил Вас в рай».

И все такое — цветистых слов было так много, что Торнхилл совсем потерялся. Когда калека закончил чтение и уполз, они какое-то время

сидели в молчании. Сэл все гладила и гладила сложенный уголком край толстой бумаги. Торнхилл подумал, что она, наверное, чувствует в сердце тот же леденящий ужас, что и он. Такого не может быть, чтобы узел на толстой пеньковой веревке развязался от этих словес. Он испугался, что капитан Уотсон неправильно оценил происходящее. С чего это вдруг он пустился рассуждать о подушке, ничем не тревожимой, если всего-то и надо было, что написать, каким он был порядочным человеком и надежным мужем и отцом?

Они с Сэл кивнули друг другу и даже нашли в себе силы улыбнуться, однако он видел, что она уже считала его мертвецом. Когда она говорила, она смотрела как бы чуть в сторону, словно он стал прозрачным, призрачным.

Сэл нездоровилось, хотя она и отрицала это. Она похудела, побледнела. Лиззи нашла для них работу — подшивать саваны, целых две дюжины, и Сэл с Лиззи и Мэри все сделали как надо, но цена на нитки подскочила, а вот плата за работу, наоборот, упала. Один человек хотел, чтобы Уилли прочистил трубы — ему как раз был нужен мальчик такого роста, чтобы мог пролезть в самые узкие дымоходы, но Уилли пугался и плакал от страха. А теперь, сказала Сэл, у нее нет

никакой работы. Она уже обращалась к мистеру Притчарду, но тот сказал, что простыней для подшивки сейчас нет, как и носовых платков.

Они опять помолчали, а потом Сэл воскликнула: «Если им не нужны носовые платки, чтобы сморкаться, тогда они, что, в соплях ходят?» — и засмеялась. Смех показался вымученным, но он все равно помог им не рухнуть под навалившейся на них тяжестью. Он тоже заставил себя засмеяться и посмотреть ей в глаза. Она снова взяла его за руку, и на этот раз уже не отводила взгляда.

Ей придется идти на панель. И они оба это знали. Он глянул на нее глазами клиента и увидел, что ей придется себя приукрасить — нарумяниться, завить волосы, сделать наглую морду. И ради нее он улыбнулся совсем как живой.

Она не совершала никакого преступления, но была приговорена, как приговорен он.

• • •

Как-то утром тюремщик возник в дверях камеры и прорычал его имя. Ожидавший худшего Торнхилл крикнул: «Еще не пора! Они сказали, что в пятницу на следующей неделе!»

Тюремщик посмотрел на него, но отвечать не спешил. И наконец промолвил: «Смотри, не

обделайся от страха, Торнхилл. Значит, так, слушай», — и отступил в сторону, пропуская клерка, который еле слышно зачитал с плотного листа: «Поскольку Уильям Торнхилл предстал перед судом Олд-Бейли в октябре и был осужден…»

Клерк произносил все это скороговоркой, его обязанностью было зачитать, а уж следить за тем, кто и как его понял, он был не обязан. Скрипучий голос был едва слышен среди разнообразных шумов — чьих-то разговоров, харканья, кашля, шарканья деревянных подошв по каменным плитам пола. Торнхилл подался вперед и снова услышал описание своего преступления — каждый раз он внутренне содрогался при этих словах: «…предстал перед судом и был осужден за кражу бразильской древесины с баржи на судоходной реке Темзе и приговорен за то к смерти. Мы, рассмотрев представленное нам ходатайство в его пользу, милостиво простираем на него нашу доброту и милосердие».

Не веря в услышанному, Торнхилл замер и весь превратился в слух. «И даруем ему прощение за указанное преступление при условии, что он будет послан к восточным берегам Нового Южного Уэльса на весь срок его приговора, то есть на протяжении его жизни до естественной кончины».

Там говорилось еще что-то, но Торнхилл уже ничего не слышал. Руки и ноги у него похолодели, колени ослабли, и он все еще не верил. «Я буду жить?» — спросил он, переводя взгляд с клерка на тюремщика, и тот нетерпеливо воскликнул: «Да, приятель, но если ты предпочитаешь болтаться в петле, только намекни!» Клерк, вытащив другой лист, украшенный восковой печатью, сказал: «Тут еще есть, — и зачитал: — Я направлен лордом Хоксбери объявить, что дозволено…» Клерк остановился и кинул на Торнхилла быстрый взгляд, словно опасаясь, что ответный взгляд приговоренного обратит его в камень. «Как зовут вашу жену?» — спросил он, но Торнхилл не смог ответить, потому что все слова, все мысли, вообще все на свете покинуло его разум от сознания того, что он будет жить. Какое отношение ко всему этому имеет имя жены?

Тюремщик уже орал: «Твою жену, парень, как зовут твою чертову жену?!» Торнхилл ответил, чувствуя, что губы его совсем не слушаются: «Сэл, Сара Торнхилл». И клерк продолжил: «…что Саре Торнхилл, жене осужденного Уильяма Торнхилла, который будет препровожден на транспортный корабль “Александр” под командованием капитана Саклинга, дозволено

сопровождать ее мужа вместо миссис Хеншелл, коя отказалась принять таковую милость, вместе с дитем указанных Уильяма и Сары Торнхилл».

Тюремщик фыркнул: «То есть твоей жене предстоит приятное морское путешествие, Торнхилл! И да упасет Господь ее душу!»

Сидней

То было унылое место — этот самый Сидней. Старожилы называли его Лагерем, и в 1806 году он и был чем-то вроде временного пристанища.

За двадцать лет до того здесь была просто одна из сотен бухт: суша, словно растопыренная пятерня, вгрызалась в огромную массу воды, только пальцев на этой ручище было больше, чем пять, потому и бухт имелось великое множество. И в жаркий день января 1788 года, когда большие белые птицы всполошились и сорвались с деревьев на берегу, капитан Королевского военного флота вошел сюда на всех парусах и выбрал бухту, в которой имелся ручей со свежей водой и песчаный ноготь-пляж. Капитан сошел с корабля, приказал поднять на кривоватом шесте государственный флаг и объявил эти земли заморскими территориями короля Георга III, монарха Великобритании, защитника веры. Теперь это место звалось Сиднейской бухтой и служило одной лишь цели: принимать приговоренных его величества судом.

Когда в то сентябрьское утро «Александр» бросил якорь в Сиднейской бухте, Уильям Торнхилл не сразу разглядел все, что его окружало. Злодеев вывели на палубу, и после долгого пребывания в заточении льющийся с неба свет бил, как пощечина. Свет отражался от воды стрелами жесткими и яростными. Он закрылся ладонями, глядел сквозь пальцы, чувствовал, как по лицу текут слезы, и пытался их сморгнуть. На мгновение все увиделось ему четко: масса сверкающей воды, на которой покоился «Александр», складчатая земля, густо поросшая лесом, земля, похожая на вцепившуюся в воду хищную лапу. Несколько каменных зданий на берегу, казавшихся на этом солнце золотыми, с окнами, словно жидкое золото. Эти здания плыли и покачивались в световом потоке.

В уши ему били крики. Солнце — такого солнца он и представить себе не мог — прожигало тонкие одежки. Теперь, на суше, на него снова накатила морская болезнь, земля под ним раскачивалась, солнце, отражаясь от воды, лупило по черепу.

И какое ж это было облегчение — аккуратно, тихо опуститься без сил на доски причала.

Но вдруг в этой пытке светом возникла женщина, она выкрикивала его имя и пробиралась

к нему сквозь толпу. «Уилл! — кричала она. — Я здесь, Уилл!» Он повернулся посмотреть. Моя жена, подумал он. Это моя жена Сэл. Но она была как будто всего лишь портретом его жены: после стольких месяцев он не мог поверить, что это была она, во плоти и крови.

Он лишь успел заметить мальчика, прижимавшегося к ее бедру, и сверток — младенца — у нее на руках, как человек с густой черной бородой отпихнул ее палкой назад. «Жди своей очереди, шлюха!» — проорал он и отвесил ей пощечину. Ее поглотили другие лица, разверстые рты, черные на этом солнце. Сквозь шум он расслышал, как его зовут: «Торнхилл! Уильям Торнхилл!» — «Я Торнхилл!», — отозвался он и сам поразился, насколько сиплым и слабым был его голос. Человек с бородой схватил его за руку, и в безжалостном солнечном свете Торнхилл увидел, что в бороде вокруг рта полно хлебных крошек. Человек зачитал с листа: «Уильям Торнхилл передается в распоряжение миссис Торнхилл!» Человек так орал, что крошки летели из бороды.

Сэл вышла вперед. «Я миссис Торнхилл», — заявила она, перекрывая разноголосицу. И пусть Торнхилл был оглушен светом и шумом, он ясно расслышал ее голос: «Он не передается мне в рас-

поряжение, он мой муж». Человек саркастически усмехнулся: «Может, он тебе и муж, да только ты теперь его хозяйка, дорогуша. Раз передается в распоряжение, значит, он теперь принадлежит тебе. Ты вольна делать с ним все что захочешь, дорогуша».

Мальчуган, цеплявшийся за юбку Сэл, во все глаза со страхом смотрел на отца. Это был Уилли, теперь уже пятилетний, вытянувшийся, похудевший. Путешествие, длившееся девять месяцев, — это же четверть жизни для такого пацаненка. Торнхилл видел, что собственное дитя не узнает его в склонившемся к нему незнакомце.

Новый ребеночек родился, когда «Александр» в июле заходил в Кейптаун. Сэл повезло: схватки начались, когда они были в порту. Они позволили ему повидать ее, но только на минутку. «Мальчик, — прошептала она. — Ричард? Как мой Па?» Ее побелевшие губы не могли больше выдавить ни слова, но рука, сжимавшая его руку, сказала ему все. Его тут же погнали назад в мужское отделение, и хотя он порою слышал из-за перегородки детский плач, он не знал, его ли это ребенок подает голос.

Но сейчас у него не было нужды прислуши-

ваться: пронзительный крик ребенка болью отозвался в ушах.

«Уилл, — сказала она, улыбаясь, и взяла его за руку. — Уилл, это мы, помнишь нас?» И он увидел ее слегка искривленный зуб, вспомнил, что происходит с ее глазами, когда она улыбается. Он тоже попытался улыбнуться. «Сэл», — начал он, но захлебнулся словами, и из его груди вырвалось только что-то похожее на рыдание.

• • •

Правительство его величества выдало миссис Торнхилл, владелице принадлежащего ей осужденного Уильяма Торнхилла, недельный запас провианта, пару одеял и хижину на холме возле пристани. Вот и все, что его величество считало себя обязанным выделить. Идея состояла в том, чтобы прислужник Уильям Торнхилл выполнял всю работу, порученную ему его хозяином, в данном случае — женой. Он был рабом во всех отношениях, обязанным полностью подчиняться. То есть злодей оставался заключенным, а хозяин исполнял роль тюремщика. Если же хозяин и раб были членами одной семьи, тогда домохозяйство должно было содержать себя самостоятельно и не пользоваться казенными пакгаузами.

Милость его величества, столь многих спасшая от виселицы, стала возможной благодаря этой изобретательной и расчетливой схеме.

Так что с этого самого первого дня Торнхиллы были полностью предоставлены самим себе.

На крутом, бесплодном, каменистом холме, где стояла отведенная им хижина, людей было что муравьев в сладком пироге. Некоторые жили в хижинах, но большинство устроилось под прикрытием огромных обломков скал, торчащих по всему склону. Некоторые сооружали что-то вроде палаток из парусины, другие плели стенки из веток. Хижина Торнхиллов, со стенами из обмазанных глиной ветвей акации, по сравнению с другими была даже роскошной, хотя полом в ней служила сырая земля.

Все трое стояли у входа и смотрели внутрь. Никто не торопился войти. Маленький Уилли сосал палец, взгляд его остекленел, он старался не смотреть Торнхиллу в глаза. «Хотя бы не пещера», — произнесла Сэл высоким напряженным голосом. «Да уж, волноваться не о чем», — заставил он себя ответить. Мальчик поднял голову, взглянул на него, а потом зарылся лицом в материнские юбки. «Уютно тут», — добавил Торнхилл и подумал, что голос у него звучит гулко, как если

бы он говорил в пустую бочку.

Солнце опускалось за горный хребет, и вниз по холмам поползла сырость. Из пещеры чуть дальше по склону к Торнхиллам направлялись мужчина и женщина. У мужчины была огромная спутанная борода, при этом он был совершенно лыс, щеки женщины ввалились — ей явно не хватало зубов, юбка обтрепалась, а внизу, у щиколоток, и вовсе свисала лоскутами. У обоих были грязные лица, и оба от пьянства еле держались на ногах. Мужчина нес дымящуюся ветку, женщина тащила чайник. «Вот, — сказала женщина, — это мы вам принесли, милок, пользуйтесь».

Торнхилл подумал, что это шутка, потому что у чайника было деревянное дно. Он засмеялся, но женщина не засмеялась в ответ. «Вырой яму, — начала она и громко икнула. — Разведи огонь. Вокруг этой штуки». Икота была такая сильная, что она даже зажмурилась. «Отличная штука!» — крикнула она, подошла к Торнхиллу и положила руку ему на плечо. Она стояла так близко, что он чувствовал исходящий от нее запах рома и застарелой грязи. «Отличная, мать ее, штука!»

Мужчина был пьян до такой степени, что глаза вразнобой вращались у него в глазницах. Грубым голосом он заорал Торнхиллу, будто тот находил-

ся по меньшей мере в полумиле: «Берегись этих мелких дикарей, приятель! — и пьяно заржал. А потом посерьезнел и, слегка присев, уставился на Уилли: — Им нравятся такие вкусные мальцы, как твой». Попытался потрепать Уилли за круглую щечку, но мальчик расплакался, и женщина, все еще мучительно икая, потащила мужчину прочь.

Они нанизали на прут солонину и зажарили на костре, за неимением тарелок положили еду на куски коры. Кружек тоже не было, и они выпили чаю, который им дала женщина, прямо из носика. Хлеб крошился в руках, они подбирали крошки с земли, и песок скрипел у них на зубах.

Младенец, шумно сосавший грудь Сэл, был единственным Торнхиллом, сполна утолившим голод.

В сумерках они сидели на земле возле хижины и разглядывали край, куда их забросило. Отсюда, со склона, поселение было как на ладони. Оно было невелико. Несколько изрезанных колеями улиц по обе стороны речки спускались к берегу, дома соединялись дорожками, плутавшими между обломками скал и деревьями, дорожки были такими же запутанными, как ветви этих деревьев. Внизу, возле воды, располагалась пристань

и несколько больших зданий из камня и кирпича. Но выше по реке все строения были либо из коры, либо из палок и глины, при них — грязные дворики, окруженные живой изгородью. Свиньи рылись в бледной тине. Ребенок, почти голый, если не считать тряпки, намотанной на бедра, наблюдал, как стая собак гоняет курицу с цыплятами. Мужчина вскапывал землю возле забора.

Все выглядело каким-то неприкаянным — нарезанные квадратами куски земли, окруженные огромными никем не занятыми территориями, осколки Англии, вброшенные в это пространство.

И кругом на мили и мили простирался густой лес. Он был скорее серым, чем зеленым, горные хребты и долины кутались в него, как в одеяло, в складках одеяла текли реки.

Торнхилл никогда не видел ничего, кроме Лондона, весь мир представлялся ему таким же Лондоном, ну разве только с парочкой попугаев и пальм. Разве могут воздух, вода, земля, скалы быть устроены так по-чужеземному? Странное, невероятное место.

И все годы его собственной жизни этот залив был здесь, и всегда он так же вгрызался в землю. Он трудился, словно проклятый, склонив голову,

во тьме и грязи Лондона, а все это время дерево, которое сейчас шелестело толстыми листьями у него над головой, тихо дышало, тихо росло. Сменялись незнакомые ему сезоны солнца и жары, ветра и дождя. Это место существовало задолго до него. И будет продолжать шевелиться, дышать, быть самим собою и после того, как его не станет, все будет идти по кругу, эта земля будет наблюдать, ждать, жить своей собственной жизнью.

Прямо внизу Торнхилл разглядел «Александра». С болезненной тоской вспомнил привязанный к поперечине гамак — узел над головой был похож на стерегущий денно и нощно глаз.

Ночь за ночью он лежал там, думая о Сэл, пока воспоминание не начало тускнеть. Но сейчас это она сидела, прислонившись к нему. Это ее бедро прижималось к его бедру. И если бы не Уилли у него на руках, подтянувший коленки к подбородку и сделавшийся совсем маленьким, он мог бы повернуться и увидеть ее глаза, ее губы и, обняв, почувствовать ее тепло.

Где-то позади них запечалилась птица. «Ах, ах, ах», — стенала она. Но то была одна такая на всем свете печаль.

• • •

Уходить от огня в безрадостную хижину не хотелось. Торнхилл зашел первым, в руках он держал горящую палку, но она, не успев ничего осветить, погасла. Он закашлялся от дыма и отшвырнул палку прочь. Они на ощупь расстелили одеяло, положили на него малыша. Малыш издал глубокий удовлетворенный вздох, будто под ним была пуховая перинка, и тотчас уснул.

Уилли капризничал и никак не хотел ложиться рядом с маленьким, хотя смертельно устал, голосок у него дрожал от подступивших слез. Торнхилл надеялся, что им с Сэл удастся вернуться к костру и поговорить, стачать края девятимесячной прорехи в их жизни, но Уилли не отпускал Сэл, поэтому они все трое лежали рядком. Одеяла хватило только Сэл, и Торнхиллу пришлось устраиваться прямо на земле. Он ждал, когда затихнет Уилли.

Наконец Сэл повернулась к нему. «Он уснул, Уилл, — прошептала она. — Бедный чертенок!»

До этого момента они не прикасались друг к другу, только сидели бок о бок. Он оробел: Сэл проделала свое собственное путешествие, отделенное корабельной переборкой, и кто знает,

куда это путешествие ее привело?

Он подумал, что она, наверное, чувствует себя так же. Ее плечо касалось его плеча, ее нога прижималась к его ноге, но как-то неуверенно, будто случайно. Он чувствовал исходящее от нее тепло, тепло ее плоти, ее кожи. Ее рука легла ему на грудь, поползла к лицу, пытаясь наощупь вспомнить того мужа, которого она когда-то знала.

«Благодарю тебя, миссис Хеншелл, что отказалась от милости!» — воскликнула она шепотом и расхохоталась, и в этот миг снова стала принадлежать ему, снова стала его прежней Сэл, боевой девчонкой, смеявшейся над бедняжкой Сюзанной Вуд. Он положил руку ей на бедро и склонился над ней, вглядываясь в едва различимое в темноте лицо. Но он знал, что она улыбается.

«Право, миссис Торнхилл, — сказал он, — мне бы тоже следовало ее поблагодарить». Она переплела свои пальцы с его пальцами и крепко стиснула руку. Он услышал, что она плачет, но и улыбается, плачет и улыбается одновременно. «Уилл», — прошептала она, хотела еще что-то сказать, но их руки сказали за них куда больше, чем слова.

• • •

В то первое утро Торнхилл подумал, что явившийся из темноты черный человек ему просто привиделся. При ярком свете дня трудно было поверить, что они кричали друг другу: «Пошел вон!»

Куда проще было обратиться к знакомому, к осколку Англии, заброшенному в густые леса. Сидней был чужим городом, но Торнхиллам во всем снова и снова виделась Темза. Да и выжить здесь можно было только крепко держась за нить, соединявшую их с Домом. Власти рассчитывали, что со временем прибывшие на эту землю начнут ее обрабатывать и разводить скот, но пока поселение было замкнуто на себе и жители надеялись лишь на то, что привозили корабли. Между пристанью и стоявшими на рейде судами, которые доставляли муку и горох, гвозди и ленты, бренди и ром, совсем как на Темзе, сновали лодочники, перевозя все это туда-сюда.

Всю свою жизнь Торнхилл был при веслах, так какая разница, какую воду веслами загребать — Темзы или Сиднейской бухты.

Он работал на многих, но больше всего — на мистера Кинга, который построил один из камен-

ных складов, вплывших в поле зрения Торнхилла в самый первый день. Александр Кинг был опрятным господином, с маленькими ушками, плотно прижатыми к голове, и глубокой ямочкой на подбородке. Он был приветлив, ему нравилось приятно удивлять окружающих, и Торнхилл всегда послушно удивлялся. Его смех был тем более искренним, когда мистер Кинг подшучивал над собой.

Мистер Кинг участвовал во многих предприятиях, но одно из них, представлявшее особый интерес для Торнхилла, касалось неких бочонков, содержащих некую жидкость, имевшую особую ценность для обитателей колонии. Эту жидкость корабли доставляли для мистера Кинга из Мадраса, из Калькутты, из Ост-Индии. Мистер Кинг спускался на пристань по утрам, стоял там под жгучим солнцем и, с бумагами в руках, пунктуально подсчитывал бочонки, отвозимые к таможенникам: столько-то ямайского рома, столько-то французского бренди, столько-то цейлонского джина. Платил пошлину без звука, с улыбкой на лице, поскольку знал, что с другими бочонками, в список не внесенными, разберутся позже, ночью. Это было делом Торнхилла — тайно переправить их с корабля в небольшую бухту

за мысом, чуть в стороне от поселения, где до них не доберутся загребущие руки начальника таможни.

«Ты получишь свою долю, Торнхилл, — сказал мистер Кинг, улыбаясь спокойной улыбкой, улыбкой успешного человека. — И вот увидишь: она будет понадежней монеты, отчеканенной казначейством». Сомнений в том, что он получит свою долю, у Торнхилла не было. «Можете на меня положиться, мистер Кинг», — ответил он, и они пожали руки.

Мистер Кинг был счастливым человеком и не огорчался по поводу маленьких дырочек аккурат под ободами, а также по поводу буравчика у Торнхилла в кармане. Не огорчался он, потому что ничего о них не знал, по ночам он спокойно спал на перине, а Торнхилл трудился под покровом тьмы.

• • •

По утрам скованные друг с другом заключенные, лязгая цепями, брели на работу, вечерами возвращались в дощатые бараки, где гамаки висели так тесно, что они видели сны друг друга.

Если б не Сэл, Торнхилл тоже стал бы одним из кандальников. Или перешел бы в распоряжение

кого-то из вольных поселенцев, которые, в обмен на пищу и ежегодный комплект одежки, были бы вольны делать с ним все что угодно. Тем, кому повезло, доставался хозяин, склонный к доброте, такие хозяева кормили и одевали своих приговоренных вполне прилично, а в конце года позволяли им подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но большинство хозяев не могли устоять перед искушением иметь в своем распоряжении бесплатную рабочую силу. Такие хозяева старались сделать все, чтобы до окончания года их рабов могли обвинить в каком-то мелком нарушении, поэтому они никогда не обретали свободы, даже относительной.

Условно-досрочное освобождение было особенностью именно Нового Южного Уэльса. Здесь, в девяти месяцах пути от Англии с ее полями и овечьими стадами, необходимо было обрабатывать землю, обеспечивать поселенцев едой. Власти понимали, что эти края если когда-нибудь и станут себя содержать, то за счет свободного труда, а не подневольной пахоты заключенных. И отпуская людей условно-досрочно, им давали достаточно свободы, чтобы они могли выживать благодаря собственным усилиям, однако они все равно оставались узниками.

Спустя как минимум двенадцать месяцев после прибытия осужденный мог подать прошение об условно-досрочном освобождении, а получив его, мог передвигаться так же свободно, как любой законопослушный подданный. Он мог продавать свой труд кому пожелает, а мог взять кусок земли и работать исключительно на себя. Единственным ограничением был запрет покидать колонию. Тому, кого ждала ужасная смерть на виселице, такой запрет уже не казался страшной карой.

В предстоящие до подачи прошения двенадцать месяцев хозяйкой Торнхилла была Сэл. Это стало привычной для них темой для шуток. По ночам, лежа на покрытой парусиной куче местного папоротника, который старожилы называли бангволом, он говорил: «Мадам, позвольте называть вас миссис Торнхилл», и стискивал ее в объятиях так, как рисовалось ему в воображении во время долгого плавания и как он теперь не уставал делать наяву. «Да, миссис Торнхилл. Нет, миссис Торнхилл. Всегда к вашим услугам». Многое здесь приводило его в недоумение, но только не ее тело, которое он изучил лучше всего на свете. Сэл придвигалась ближе, и папоротник под ней тоже двигался словно живое и беспокойное

существо, поселившееся в их постели. «Что ж, Торнхилл, — шептала она. — Дай-ка подумать, какую услугу ты мог бы мне оказать».

• • •

Ром для обитателей этих мест был что овес для лошади. Ром был валютой, разменной монетой. К тому же ром дарил утешение, примирял с тем фактом, что обитатели колонии могли бы с таким же успехом поселиться на Луне. Здесь человек на каждом шагу натыкался на навесы из коры, покоившиеся на воткнутых в землю сучковатых палках, под навесами находились прилавки из отполированных досок, где ром можно было получить в любое время дня и ночи. На перевернутых бочках сидели мужчины, они спали, уронив головы на прилавок, но руки их крепко-накрепко сжимали опустевшие жестяные кружки, а другие мужчины, стоявшие за прилавками — сухощавые, с впалыми щеками, — молча взирали на раскинувшийся перед ними мир.

При помощи рома, о котором мистер Кинг знал, и рома, о котором он не ведал, Торнхиллы перебрались в другую хижину, ниже по речке. Эта хижина тоже была глинобитной, но побольше, чем первая, с удобствами в виде каменного очага

и трубы. Крыша из коры протекала, но они не уставали напоминать друг другу, до какой степени это жилье превосходило их комнату в доме Батлера, особенно по части вентиляции.

Это была идея Сэл — разделить помещение на две половины с помощью парусинового занавеса, закрепленного на стропилах, и установить в одной половине прилавок. Она оказалась разлюбезной и проворной хозяйкой и, разливая посетителям ром мистера Кинга, радовала их своей милой улыбкой. Уилли играл здесь же, на пыльной дороге, а малыш Дик тихонько сопел в своей колыбельке.

В конце каждой недели Сэл пересчитывала заработанное Торнхиллом на воде и ею — от продажи выпивки, и складывала деньги в коробку, которую прятала под постелью. После чего детей укладывали спать в их уголке, а Торнхилл набивал трубку, наливал им по глотку лучшего французского бренди из запасов мистера Кинга — такого же, каким наслаждался сам губернатор в своем громадном доме на холме, — и они устраивались на ложе из папоротника, чувствуя под спиной коробку с монетами.

Одной из приятностей этих тихих часов были разговоры о будущем. Тот, кто не боялся работы и

не тратил заработанное попусту, мог со временем сколотить состояние — примеров тому они видели множество. Взять хоть капитана Саклинга, который раньше командовал «Александром». В Лондоне Саклинг был всего лишь одним из закаленных морских капитанов, богатством не отличавшимся, а здесь у него появилась своя земля, и он расхаживал в жилете с пуговицами из серебра. Он раздобрел, морщины разгладились, его гладковыбритая физиономия сияла довольством.

И даже те, кого сюда ссылали, за несколько лет могли добиться многого — от условно-досрочного освобождения до полного прощения. Он встречал таких на пристани, они поглядывали так, будто все здесь принадлежало им — а ведь они были ничем не лучше него самого, но они получили свободу, заработали деньгу и теперь смело смотрели всем в глаза.

Торнхилл убеждал себя, что помаленьку они смогут накопить достаточно, чтобы вернуться в Лондон. Купят домик в Саутуарке, такой, как был в Суон-Лейн, но он будет принадлежать только им. А на реке у них будет своя баржа, крепенькая такая, она будет швартоваться на грузовом причале, а править ею будет хороший сильный

подмастерье. Дни они будут проводить возле камелька в теплой гостиной, сидя в мягких креслах, уголь будет таскать девчонка-служанка. «Вот клянусь тебе, Уилл, — шептала Сэл, прижимаясь к нему, — я прямо чувствую запах масла на поджаренных кексах, которые она нам подносит».

Две баржи — а почему бы и нет? И два подмастерья.

«У меня будет индийская шаль в огурцах, — шептала Сэл, — и я больше никогда не стану сама стирать белье».

Торнхилл представлял, как он сидит в «Якоре» с блюдом молодой селедки, кружкой лучшего горького пива, а на лице у него прямо написано, что он держит золотишко в надежном банке. Всякая мелкая сошка будет кланяться ему, когда он после ланча с трубкой в зубах будет спускаться к реке. «Здравствуйте, мистер Торнхилл! Прекрасный денек, мистер Торнхилл!!» Он знал, что из него получится хороший, совестливый богач, поскольку он слишком хорошо уж напрактиковался быть бедняком.

Капелька удачи, много тяжелой работы — и ничто не сможет их остановить.

• • •

Когда Торнхилл в Сиднейской бухте налегал на весла, он вполне мог вообразить, будто идет по Темзе, но Сэл ни на секунду не забывала о различиях между тем и этим местом. Каждый раз, когда здесь шел дождь, она поражалась тем, как не похож он на мелкую морось, которая окутывала все мягким туманом, — здесь сверкали молнии, грохотали громы, а струи воды лупили с небес с такой силой, что пробивали дырки в земле. «Боже мой, Уилл, — говорила она, — ты когда-нибудь такое видывал?» И во вспышках молний он видел ее полные удивления глаза, как будто она наблюдала за каким-то особо сложным цирковым номером.

Их хижина кишела невиданными созданиями — лысыми ящерицами с немигающими глазами, здоровенными черными мухами, муравьями, которые за ночь могли растащить кусок сахара, москитами, жалившими даже через одежду, жучками вроде клопов, которые зарывались под кожу и раздувались, напившись человеческой крови. От соседей Сэл узнала, как с ними бороться: чтобы муравьи не лезли, надо ножки стола ставить в миски с водой, а от мух помогали листья с рез-

ким запахом, подвешенные в дверном проеме. Чтобы у детей не заводились вши, она их коротко стригла. Ножниц у нее не было, и она срезала им пряди ножом. Уши Уилли торчали из кустиков жестких волос, а шейка Дика, лишенная детских кудряшек, казалась хрупкой, как прутик.

В особенности Сэл донимали деревья. Она вслух осведомлялась у них: неужто они не знают, что им следует быть зелеными, как настоящие деревья, а не серо-зелеными, бледными, отчего они кажутся полудохлыми? И по форме они были неправильными, не похожими ни на дуб, ни на вяз, а какими-то тощими и замученными, с пучками листьев на концах голых тонких веток, вместо тени они давали какой-то совсем не укрывавший от солнца и постоянно колеблющийся намек на тень. А вместо того, чтобы сбрасывать листья, они сбрасывали кору, и она грязными лохмотьями свисала с ветвей. Повсюду вокруг поселения, куда ни глянь, была эта серо-зеленая поросль, глаз хотел бы углядеть в ней какую-то упорядоченность, логику, и не находил. Это выматывало: вроде как все разное, но в то же время одинаковое.

Когда наступило жаркое время года — и надо же, на Рождество! — жара была такая, подобной

которой они никогда не ведали. В измученном небе солнце висело весь бесконечный день и заливало все безжалостными яркими лучами, а потом просто скатывалось за горы на западе. Сумерек, летних вечеров здесь просто не было — сразу наступала кромешная тьма.

Все, что имелось у них когда-то в Лондоне, было заложено, или продано, или украдено во время путешествия. Его старая кожаная шляпа, голубая шаль, которую Сэл подарил отец, — это тоже куда-то пропало. Но была одна вещица, которую она привезла с собой и которая была ей дороже всего остального из-за того, что она ей напоминала, — кусочек глиняной черепицы, который она нашла на песке у причала Маринованной Селедки в утро отъезда из Лондона. Этот кусочек черепицы был обточен водой, но по краю еще виднелся выступ, а еще там было отверстие, через которое она крепилась к рейке. Отверстие было не идеально круглым, внутри были заметны бороздки, оставленные прутом, на который нанизывали еще не обожженную глину.

«Придет время — уже скоро, — когда я отвезу ее назад к причалу Маринованной Селедки, туда, откуда она родом», — говорила Сэл, поглаживая большим пальцем черепицу, пробуя ее шелкови-

стость. Это было словно обещание, ведь Лондон был там, где всегда, на другом конце света, и когда-нибудь она тоже туда вернется.

Для всех винная лавка была не более чем лавкой Торнхиллов, но она дала ей имя «Маринованная Селедка» — просто ради удовольствия произносить эти слова.

Торнхилл заметил, что Сэл ходит только по нескольким ближним грязным и пыльным улицам. Он заверял ее, что даже супруга губернатора совершает прогулки по окрестностям, там, где лес не такой густой, сидит на скале, наблюдая за закатом, и что ей стоит пройтись с ним к маяку на Саут-Хед и полюбоваться тем, как разбиваются о гигантские утесы океанские волны. Пару раз она прошлась до губернаторского сада, опираясь на его руку как настоящая леди, но он знал, что она сделала это только ради него. Поднявшись в горку, она и не посмотрела в сторону леса, а повернулась и принялась рассматривать лежащее внизу поселение.

Больше всего ей нравилось спускаться в бухту. Он видел, как она сидела там на общественной пристани, свесив ноги. Уилли бегал по песку, Дик устроился у нее на коленях, а она смотрела на суда в гавани. Он, бывало, подходил к какому-ни-

будь кораблю, загружался, гнал баржу к таможне, а она все сидела там, и волосы под вечерним бризом лезли ей в лицо.

Для ставших на якорь кораблей это был всего лишь конец долгого пути, соединявшего это место с тем, которое они покинули. Сэл, глядя на «Орлика» или на «Юпитер», видела себя — как она поднимается на борт, навсегда повернувшись спиной к Сиднейской бухте, и достает из кармана кусочек черепицы, готовая вернуть ее на песок у причала Маринованной Селедки.

• • •

Местные темнокожие подразделялись на две категории. Видимые — те, кто жили в поселении. Один такой все время крутился возле хижины Торнхиллов. Кожа его была настолько черной, что, казалось, поглощала свет. Звали его Шелудивым Биллом, потому что все лицо у него было изрыто оспинами. Не раз по ночам Торнхилл, выйдя наружу по нужде, замечал его возле дверей — двигающийся сгусток тьмы, сама ночь, поджидающая у порога. По ночам в нем не было ничего от Шелудивого Билла, который днем выклянчивает корочку хлеба. Торнхилл вздрагивал от страха, а человек поворачивался и исчезал.

По утрам Шелудивый Билл частенько спал у задней стены, как будто эта стена ему принадлежала. Он валялся в каких-то странных угловатых позах, вытянув длинную тощую ногу, совершенно голый, если не считать ленты — когда-то розовой, — повязанной на черных, стоявших дыбом и словно завитых раскаленными щипцами волосах. Концы грязной истрепанной ленты свисали на ухо, в руке он сжимал драный шелковый веер, и он то сопел, то храпел, то хмурился во сне. Проснувшись, он долго и натужно кашлял — совсем как кашлял перед смертью отец Торнхилла.

И все-таки он производил сильное впечатление. При солнечном свете было видно, какое у него четко вылепленное лицо, но глаза его всегда прятались в тени низко надвинутых бровей. Складки у рта были словно высечены в камне. Мускулистые плечи и грудь покрывали шрамы.

Это был город шрамов. Как-то раз, еще на «Александре», Торнхилл был свидетелем того, как секли Дэниела Эллисона, забывшегося настолько, что он поднял руку на надсмотрщика. Всех осужденных мужчин вывели на палубу, дабы они присутствовали при экзекуции. И потом Торнхилл неделями наблюдал за тем, как раны набухали, как кожа постепенно стягивалась.

Эти шрамы на спине бедняги напоминали всем о боли, которую ему пришлось испытать, они были его пожизненной отметиной. Но шрамы на груди Шелудивого Билла говорили о другом. Пожалуй, смысл их состоял не в боли, а в самих по себе шрамах. В отличие от пересекающихся рубцов на спине Дэниела Эллисона, они были нанесены очень тщательно. Каждый шрам шел строго параллельно соседнему — язык кожи, похожий на буквы, которые рисовала ему Сэл, такие решительные на белом лице бумаги.

Шелудивый Билл возникал в дверном проеме, черный силуэт в солнечном свете, и звал: «Миссус, миссус…» Впервые увидев его, Сэл издала смущенный смешок и отвернулась: Шелудивый Билл был совершенно голый. Торнхилл видел, как она покраснела — сам-то он никогда не представал перед ней обнаженным, — и улыбнулся: кто бы мог подумать, что его смелая жена сконфузится при виде бесстыжего черного.

Но, как и все здешние странности, нагота Шелудивого Билла вскоре перестала быть чем-то необычным. Она привыкла к тому, что он ее окликал, и отламывала ему краюху хлеба.

Он хватал свой кусок и уходил, и она, бывало, говорила: «Ну слава богу, Шелудивый Билл, ка-

жется, скрылся». Она его не боялась — он был такой же напастью этих мест, как муравьи и мухи, от которых никак не избавиться. «Наверняка ушел помирать, — добавляла она. — Он же кровью харкает, наверняка уже помер где-нибудь под кустом».

Торнхилл видел, что она воспринимает это как своего рода обмен: она дает ему корочку хлеба — он исчезает. Но потом он снова откуда-то возникал и снова спал, притулившись у стены.

Шелудивый Билл принимал от нее хлеб, но с куда большей охотой он принимал глоток рома. Алкоголь оказывал на него необычное воздействие. Торнхилл ему даже завидовал — тому, с какой скоростью и силой ром ударял ему в голову. «Если б и другие так же быстро валились с ног, мы бы остались не у дел», — говорила Сэл. Белый человек, чтобы примириться с миром, должен был выгрести из карманов все до последнего гроша, а Шелудивому Биллу достаточно было и глоточка.

Но, как оказалось, Шелудивый Билл приносил их предприятию пользу: за ром он был готов плясать. Всем нравилось смотреть, как он встает, выпрямляет свои похожие на сухие палки руки и ноги, ступает на дорогу и, вздымая пыль, топает, подпрыгивает, что-то выкрикивает, мычит

сквозь зубы, тыча рваным веером в публику. Поглазеть на него собирались со всей округи — это ж надо, как перед ними выделывается это черное насекомое, существо, находящееся на еще более низкой ступени существования, чем они сами.

• • •

К другой категории местных относились те, представителя которых Торнхилл встретил в свою самую первую ночь на краю цивилизации. Они были невидимками для всех, кто, подобно Сэл, не выходили за пределы городка. Они жили в лесу или в бухточках за поселением и исчезали, стоило кому-то из вновь прибывших попытаться к ним приблизиться. Поселение разрасталось на глазах у Торнхилла, и он видел, как эти невидимки отступали с каждого нового участка расчищенной земли.

Но они все время были здесь, голые, как черви, они скрывались под скалами, под грудами коры. Их жилища были такими же эфемерными, как пристанища бабочек среди листвы. Они ловили рыбу, собирали устриц, иногда убивали пару опоссумов, а затем куда-то уходили. Торнхилл видел лишь их силуэты, когда они шли по гребню горы, замечал у реки — склонившись над водой,

они целились копьями в рыбу. Иногда улавливал их в проблесках солнечного света над водой — фигуры, сидевшие, задрав колени к плечам, на дне хрупких, как сухой лист, каноэ, порою об их присутствии говорил поднимавшийся откуда-то из потаенного лесного уголка голубой дым. Но стоило ему попытаться подгрести к ним, как каноэ успевали исчезнуть, а если он задерживал взгляд на столбиках дыма, таял и дым.

Днем, если не выходить из поселения и не присматриваться внимательно к округе, в этом сумбурном пейзаже никого видно и не было. Можно было даже подумать, что здесь вообще никого нет. Но ночью, если отплыть на лодке подальше от порта, были видны мерцавшие среди деревьев огоньки костров, порою ветер доносил погребальные звуки их пения, слышались ритмичные постукивания палок.

Но никаких знаков, говоривших о том, что черные считали, будто это место принадлежит им, не было. Ни заборов, уверявших: «Это мое». Ни домов, заявлявших: «Это мой дом». Ни возделанных полей, ни стад, утверждавших: «Мы вложили в эти места труды рук своих».

Но порою кого-то настигал удар копья. И по городу расползался слух: тот-то лежит сейчас в

больнице с застрявшим в нем наконечником копья, и доктор качает головой. А другой получил копьем в шею и истек кровью за минуту и лежит сейчас, бело-розовый, как кусок телятины.

Торнхилл никогда не рассказывал Сэл об этих делах с копьями, но она слышала рассказы соседей, и он не однажды заставал ее над мятыми страницами «Сидней Газетт»: она, шевеля губами, водит пальцем по строчкам. «Они поймали его как раз по дороге сюда, — сказала она, не глядя на него. — Прямо возле залива».

Но трястись из-за копий черных не имело никакого смысла. Это все равно что змеи или пауки — от них не убережешься. Он напомнил ей, что даже в Лондоне человека могут убить из-за содержимого карманов. Он пытался таким образом ее подбодрить, успокоить, но Сэл упорно отмалчивалась. И он стал нервничать, увидев расстеленную на столе «Газетт».

Что бы он там ни говорил Сэл, а на воде он чувствовал себя спокойнее. На земле же всегда можно было попасть под копье.

• • •

Трудясь в Сиднейской бухте на мистера Кинга, Торнхилл не раз встречал старых знакомцев по

Темзе, и одним из них был Томас Блэквуд. Фальшивое дно на Блэквудовой «Речной королеве» было предметом его гордости, пока кто-то на него не донес. Он был приговорен к смерти, а потом к жизни.

Блэквуд был мужчиной крупным, крупнее даже Торнхилла, с типичными для лодочника мощными щиколотками и запястьями. Он обладал первозданным достоинством, спрятанным где-то внутри, словно в туго завязанную и запечатанную сумку. Он был скрытен, молчалив, всегда смотрел куда-то в сторону, а не на собеседника. А когда говорил — это бывало нечасто, — то слегка заикался.

В городе, населенном мужчинами и женщинами с непростыми историями, считалось невежливым расспрашивать о прошлом, однако он однажды напрямую спросил у Торнхилла, что привело его в Новый Южный Уэльс. И внимательно слушал, когда тот рассказывал ему про бразильскую древесину. «Кто-то стукнул, — сделал вывод Блэквуд. — Лукас бы ни за что на свете не поперся на реку ночью». Потом, помолчав, добавил: «На меня тоже донес какой-то гад. Не иначе как за награду, — и засмеялся, но без всякого веселья. — Слово даю: тот червяк уже об этом

пожалел. Наверняка за все свои труды кормит сейчас рыбу где-нибудь возле Грейвсенда».

Блэквуд не производил впечатления человека, склонившегося перед судьбой. Напротив, он усердно работал себе во благо. Он уже заслужил прощение и теперь обзавелся собственной лодкой. Этот шлюп тоже звался «Королевой», но нужды в фальшивой палубе не имелось, потому что перевозкой товаров между Сиднеем и Грин-Хиллз можно было зарабатывать вполне прилично и вполне законно.

Грин-Хиллз когда-то был пустошью в пятидесяти милях выше по реке — лучшего места для выращивания злаков на этих песчаных почвах было не сыскать. От Сиднея туда имелась дорога, но она шла через лес, в котором скрывались всякие беглецы от правосудия и черные, только и поджидавшие повозки с товарами. Так что лучше всего было доставлять урожай на рынок по реке, идя под парусами до самого устья, а потом еще тридцать миль по морю вдоль берега, до самого Порт-Джексона[10].

Торнхилл заметил, что Блэквуд называет эту

---

[10] Примечания: 10

Порт-Джексон — трехрукавный залив в юго-восточной части побережья Австралии, включающий в себя Сиднейскую бухту, залив Мидл-Харбор и бухту Норт-Харбор.

реку по имени — как ему сначала показалось, Оксборо. Произнося это название, Блэквуд слегка улыбался, словно это была шутка. Но когда он повторил название реки, Торнхилл шутку понял: на самом деле Блэквуд назвал реку Хоксбери. Блэквуд тоже был обязан жизнью лорду Хоксбери, но не стал любить его за это хоть чуточку больше. «Отличная глубокая река, полноводная», — сказал он. Ему нравилось представлять, как лорд Хоксбери тонет в реке, носящей его имя — глаза выпучены, пузыри изо рта.

У реки имелся еще один приятный момент: благодаря ей лодочник мог обогатиться, и обогатиться скорее, чем какой-нибудь благородный господин. Все в колонии знали, что на Хоксбери можно сколотить состояние — либо обрабатывая ее нетронутые земли, либо перевозя зерно, которое вырастили те, кто уже устроил здесь фермы. Но не всем это было под силу. Чтобы выдержать тридцать миль плавания по океану, нужны были крепкая лодка и умение. А также вкус к приключениям: Хоксбери была так же далека от Сиднея, как Сидней от Лондона. Никакой карты не существовало, и человек был предоставлен самому себе. Но более всего, чтобы заработать денег на Хоксбери, нужно было иметь вкус к опасности,

потому что в этих местах было не просто много черных, а много воинственных черных. Говорили, что они сбивались в сотни и нападали на одинокие фермерские хижины. Рассказывали о пронзенных копьями жителях, о разграбленных жилищах, о сожженных посевах. «Газетт» использовала выражение, описывавшее все, что творили черные или что могли сотворить: «акты насилия и мародерства». И месяца не проходило без какого-нибудь нового акта насилия или мародерства.

Но Блэквуд ничего это не читал, а когда Торнхилл упомянул про акты насилия, промолчал. Казалось, Блэквуд заключил что-то вроде договора с рекой, но это был его личный договор, более ни на кого не распространявшийся.

Торнхилл видел, как «Королева» уходила из Порт-Джексона — Блэквуд у руля, прислуживавший ему осужденный выставляет паруса. Они вернулись месяц спустя, груженые пшеницей и тыквами. А где они побывали и что делали — о том ни слова.

• • •

К концу двенадцатого месяца Торнхилл подал прошение об условном освобождении. Проце-

дура была простая: хозяин свидетельствовал о хорошем поведении своего слуги, затем слуга представал перед конторкой в хижине суперинтенданта и смотрел, как клерк находил страницу с его именем в гроссбухе. «Торнхилл Уильям, транспорт “Александр”, — произнес клерк, карябая что-то пером в одной из колонок. — Освобожден условно-досрочно, четырнадцатое октября тысяча восемьсот седьмого года».

Само по себе свидетельство об условном освобождении было лишь бумажкой с дурно пропечатанными словами, но эта бумажка была дороже всяких денег. Сэл завернула ее в чистый лоскуток и спрятала в коробку с деньгами. «Можешь идти, Торнхилл, — заявила она. — Твоя хозяйка тебя отпускает, что ты все еще здесь торчишь?» И даже Уилли, наблюдавший за ними с порога, понял, что это шутка.

Вскорости после того как Сэл перестала кормить Дика грудью, она снова понесла. Новый Торнхилл, Джеймс, родился в марте 1808 года. Наверное, из-за влажной жары, высосавшей у Сэл все силы, Джеймс был болезненным ребенком, бледным, с темными кругами вокруг глазок, тощими ручками и ножками и вздутым животиком. Где-то в глубине души Торнхилл понимал,

что пацаненок — не жилец, и про себя не называл его по имени.

Джеймс — между собой они называли его Братец — совсем измотал Сэл. Полусонная, она укачивала его на руках, но как только ложилась, он снова начинал плакать и будил Уилли и Дика. Она вставала, снова качала Братца, просила попить Уилли, пела колыбельную, чтобы успокоить Дика, и по утрам, когда давала им чай с хлебом, глаза у нее были красные и опухшие. Торнхилл видел, что она готова ради детей на все. Он вспомнил собаку на Фрайинг-Пэн-Элли — она позволила щенкам высосать из нее все соки, пока однажды не легла и уже не смогла подняться.

• • •

С того момента, как Торнхиллы прибыли сюда вообще без ничего, прошло три года, и он гордился тем, что семья три раза в неделю ела мясо и что у них в буфете всегда имелась буханка хлеба. Работа на мистера Кинга обернулась благом.

Уилли и Дик росли крепышами, и если уж Братец собирался помереть, так вовсе не из-за того, что отец плохо его кормил. На Рождество 1808 года Торнхилл и Сэл порадовали друг друга бутылочкой мадеры из припасов мистера Кинга, в

результате чего ночью шептали на ухо друг другу такие слова, какие шепчут только новобрачные.

Незадолго до этого Торнхилл начал замечать, что мистер Кинг косо на него посматривает. Он взял нового клерка, более внимательного к спискам. Этот клерк никак не реагировал на намеки касательно выгод, поджидающих тех, кто умеет вовремя закрывать глаза.

Торнхилл слыхал о месте на юге, куда отправляли осужденных, совершивших преступления в самой колонии, там наказывали уже наказанных. Оно называлось Землей Ван-Димена[11], и от рассказов о том, что там творилось, кровь в жилах стыла.

Торнхилл подумал, что, наверное, пора искать другую работу. В свое время он не прислушался к внутреннему голосу, предупреждавшему о том, что может случиться на причале Трех Кранов. Но этот раз он решил его послушаться.

К его удивлению, Сэл с ним согласилась. «Пусть уж лучше у мальчиков будет отец, — сказала она, прижимая к плечу вечно ноющего Братца. — Спасибо вам, мистер Кинг, вы нам подсобили, но

---

[11] Примечания: 11

Землей Ван-Димена европейские поселенцы первоначально называли остров Тасмания, расположенный к югу от Австралии. В 1803 г. там было создано британское каторжное поселение.

пора и честь знать».

Вскоре Торнхилл увидел, как к причалу неуклюже подходит «Королева» — с одним только Блэквудом на борту. Они возвращались из Грин-Хиллз, и его прислужник, решив заранее отметить Рождество, так набрался рома, что свалился за борт. Течения на Хоксбери замысловатые, и он, не успев и крикнуть, ушел на дно. Блэквуд был не из тех, кто делает кому-либо одолжение, ему просто нужен человек, умеющий обращаться с лодкой и готовый рискнуть выбраться за пределы города.

Торнхилл не раздумывал. Может, работа на Блэквуда и не позволит ему купаться во французском бренди, зато убережет от Земли Ван-Димена.

И вот еще что. Он ощутил вдруг острую потребность самому увидеть это место, Хоксбери, о котором все говорили, но которое мало кто повидал.

• • •

Торнхилл несколько раз ходил на пакетботе «Роуз-Хилл» к западу от Порт-Джексона, а на лодке мистера Кинга обследовал множество бухточек. Но когда Блэквуд выставил румпель и

они вышли из Сиднейской бухты и «Королева» пошла к востоку, все, с чем Торнхилл успел познакомиться, осталось позади. Они прошли мимо острова Пинчгут — раньше там была тюрьма, мимо Садового острова — на нем они видели человека, обрабатывавшего ряды каких-то посадок. А потом — никаких признаков поселений, только берега да мрачный лес.

Когда они подплыли к мысу на входе в Сиднейскую бухту — именно здесь три года назад входил в бухту «Александр», — поднялся ветер, и Торнхилл увидел, что вода вокруг потемнела от зыби. «Хорошо задувает, — крикнул Блэквуд. — Годится тебе для первого раза». Торнхилл оглянулся: Блэквуд, держа румпель, направлял лодку и улыбался. Торнхилл еще никогда не видел, чтобы Блэквуд улыбался.

Торнхилл не был готов к тому, что случилось, когда они шли между глубоко вдающимися в океан мысами. Порывы ветра швыряли «Королеву». Ветер был такой сильный, что чуть не вырывал с корнем волосы, завывал в ушах. Стоял январь, разгар лета, и ветер мчался с южных ледников.

В сверкающем пространстве океана колыхались огромные волны — чтобы набрать такую массу, волнам пришлось преодолеть простран-

ство в половину земного шара. Волны росли медленно, неуклонно, все в клочьях белой пены, и самые гребни их щерились зубьями бурунов. Ветер выхватывал обрывки пены и гнал дальше и дальше.

Подхваченная этой величавой зыбью лодка то летела вперед, то стремительно падала. Нос вздымал струи, они взлетали медленно, лениво, взрывались в воздухе, опадали. Казалось, они играют, если б не обладали убийственной силой. А волна катила дальше к берегу, равнодушная, повернувшись к ним гладкой сверкающей спиной.

Он почувствовал на губах соль и понял, что ему страшно.

Так прошло полдня, а потом ветер сменился на северо-восточный, и они длинными зигзагами, то уходя от берега, то приближаясь к нему, пошли против ветра. При каждой смене галса лодка сильно кренилась, и Торнхилл каждый раз боялся, что она перевернется. Кромка берега все время оставалась к западу, то тут, то сям виднелся поднимавшийся к небу дымок, золотистые полоски пляжей между угрюмыми, уходящими в океан скалами.

Блэквуд махнул рукой: «Вон там», но Торнхилл увидел только очередной изгиб пляжа, за ко-

торым простирался бесконечный зеленый лес. Блэквуд пояснил: «Здесь река впадает в океан. Наша Хоксбери».

Блэквуд повернул румпель, слегка ослабил парус, и лодка свернула к открывшемуся в скалах проему. По левому борту показался тупоконечный мыс, очертаниями напоминающий головку молота. По правому борту из моря торчала скала, похожая на льва, подставившего могучую грудь волнам и ветрам.

«Королева» вошла в проход между скалой и мысом, и Торнхилл увидел, что Блэквуд напрягся как струна. Медлительные валы, мощные и размеренные, пока им хватало места в открытом океане, в этом узком проходе наносили злобные рубящие удары. Ветер безжалостно сек берег, вздымался вихрями, метался. «Королеву» носило, как листочек, она казалась абсурдно крошечной.

Блэквуд неотрывно всматривался в воду, казалось, он даже не моргал. Загорелый кулак крепко стискивает румпель, веки над немигающими глазами полуопущены, щеки влажные, словно от слез. Тело слегка наклонено вперед, мощные ноги моряка упираются в палубу.

Крепко сколоченная «Королева» взлетала и падала вместе с волнами, но Торнхилл слышал

о судах, которые в местных водах разбивались вдребезги, слышал разговоры о том, как волны выбивали планки из обшивки, и вода устремлялась внутрь. Страх сковал его по рукам и ногам, он мог только наблюдать за Блэквудом и надеяться. Он ухватился за планшир и молился бы, если б знал того Бога, который может услышать его мольбу.

А потом они миновали этот страшный проход. Волны по-прежнему бесновались под днищем, но берега по обе стороны лодки укротили ветер. Они оказались в совсем другой местности.

«Это место называется залив Брокен-Бей, река втекает вон там, — Блэквуд показывал на что-то впереди, но Торнхилл видел только беспорядочно кружившие потоки и поросшие густым лесом выступы. — Самая укромная река в мире, — с довольным видом произнес Блэквуд. — Если б я тебе не показал, ты бы никогда ее сам не нашел».

Вглядываясь в береговую линию, Торнхилл видел вздыбившуюся от ветра воду — Брокен-Бей казался очередной глухой стеной из скал и леса. Здесь можно было плавать днями напролет и все равно не найти вход в Хоксбери.

Блэквуд направил лодку прямо в огромную стену из скал, обрывавшуюся в воду, на этой

каменной стене каким-то чудом росли тощие деревья. В ней не было никакого просвета, и вдруг между скалами возник проход — это им подмигивала река. Приливная волна несла лодку, по обеим сторонам ее высились утесы, сплошь серые, кроме тех мест, где ветер обнажил породу цвета сливочного масла, утесы походили на каких-то живых существ, у которых под темной кожей скрывалась золотая плоть.

Скала казалась слоистой, будто сложенной из толстых досок. От нее отвалились огромные, размером с дом, куски, они валялись у подножия утеса. Иные из них, медленно стачивая, захлестывала вода. В местах разлома видны были перепутанные, словно змеи, корни. Глыбы опутывали лианы и мангровые деревья.

Такие пейзажи бывают только во сне — сверкающие утесы, глубокие пропасти, огромное непредсказуемое небо: все вроде как обычное, и все же совсем другое. Торнхилл смотрел во все глаза, пытаясь увидеть хоть что-то понятное.

Место это казалось самым пустынным во всем мире, слишком диким, чтобы здесь мог поселиться человек. И тут Блэквуд спросил: «Видишь устье?» И решительно указал на мыс слева по борту. Позади мангровых зарослей Торнхилл увидел

покрытые травой кочки, деревья и груду чего-то серовато-белого. «Устрицы, ракушки, — сказал Блэквуд и оглянулся на мыс. — Они высасывают то, что внутри, а раковины выбрасывают. И так испокон веков, — он засмеялся. — И рыба! Уж поверь, рыбу они ловят».

«И ничего не заготавливают впрок? — поинтересовался Торнхилл. — Ну, в смысле на будущее?» Блэквуд с удивлением на него глянул: «Вот именно, не заготавливают, — он прихлопнул севшего на руку москита и добавил: — Да и зачем? Река-то никуда не денется».

Торнхилл огляделся. Легкий ветерок шевелил листья, из-за чего тени все время плясали, менялись. «Но где же они?» — спросил он. Блэквуд помолчал и наконец ответил: «Да черт побери, везде, приятель» — и махнул рукой куда-то вперед. Торнхилл увидел подымавшийся из-за скал и деревьев дымок. Он обернулся и увидел позади еще один серый столбик дыма, то ли потому, что что-то жарили, то ли от сигнального костра. Блэквуду не потребовалось даже оборачиваться: «Они нас увидели, это точно. А теперь сообщают другим, по цепочке». Торнхилл вгляделся в хаос деревьев и скал, заметил какое-то движение — человек? Прикинувшаяся человеком ветка?

Блэквуд бросил на Торнхилла короткий оценивающий взгляд: «Запомни хорошенько: мы видим их, только когда они сами хотят, чтобы их увидели».

Река показала себя, увлекла за собой, извилистая, спокойно текущая между стенами из скал и густого кустарника. Едва «Королева» огибала один высокий выступ, как на другом берегу вырастал следующий, они цеплялись друг за друга, как зубья в шестеренке. И походили друг на друга: утес, сверкающая цвет мангровых, зелень воды. Даже линия горизонта не давала никаких подсказок: возвышенность за возвышенностью, одинаковые, расчерченные тенями проплывавших между землей и солнцем облаков.

Переменчивый ветер приносил сухой, сладкий, чистый аромат. Влекомая приливом лодка шла, словно ее тянули канатом, медленно, спокойно минуя поворот за поворотом. Из-за поворотов остававшуюся за спиной реку не было видно, берега смыкались позади, и не понять было, ни куда они плывут, ни откуда приплыли.

Они подошли к острову, к плывущему посреди воды лесу. От основного русла отходил длинный залив, спокойный, как зеркало. Лес подступал к самой воде. Полоска дыма висела в воздухе,

словно приклеенная. Блэквуд мотнул головой в ту сторону: «Барыга Салливан, приплыл со мной на “Менестреле”». Взгляд Блэквуда стал жестким, в голосе послышалась горечь, рот сжался. Он глянул на парус, как будто хотел его поправить, но ветер стих, и парус бессильно повис. «Пережигает ракушки на известь, — добавил он. — Плюс строит всякие гадости».

Торнхилл снова глянул в ту сторону и увидел, что в залив впадает ручей. В том месте, где ручей встречался с рекой, был ровный участок, нарушавший эту царствующую надо всем дикость. На участке виднелось пятно чего-то ярко-зеленого, но зеленого чуждого, инородного. Приглядевшись, он увидел кривую хижину, крошечную на фоне всего этого великанского ландшафта, растительность вокруг нее была уничтожена, словно с какого-то дикого животного содрали шкуру.

В дверях хижины показался человек и помахал им рукой. Он что-то прокричал Блэквуду, но его слова отразились эхом от скал, и Торнхилл ничего не расслышал. Блэквуд попытался направить «Королеву» в основное русло, но ее подтянуло ближе к заливу, и теперь Торнхилл разглядел и несколько кур, бестолково топтавшихся вокруг человека, и сохнущую на кусте рубаху. Человек

прыгнул в маленькую плоскодонку и принялся грести в их сторону. Он был уже в нескольких ярдах от них, когда крикнул: «Поймал ворюгу!» Его вопль был хорошо слышен в неподвижном воздухе. Он снова налег на весла, погружая их слишком глубоко. Он подплыл к ним, но Блэквуд не позаботился бросить ему линь, а только снова глянул на топ мачты, с которого по-прежнему бессильно свисал парус. «Узнал этого жалкого воришку! — орал человек. — Вот точно узнал!»

Физиономия у Барыги Салливана была обожжена солнцем, но как-то неровно, как неудачно зажаренный кусок мяса. Волосы, обрамлявшие куполообразный красный лоб, были пшеничного цвета, маленькие глазки, из-за того, что брови отсутствовали, казались голыми. Он ухватился за борт «Королевы» и радостно улыбался им щербатым ртом. На Торнхилла он глянул без всякого интереса. Ему был нужен Блэквуд.

Но Блэквуд старательно распрямлял складки на парусе. Барыга Салливан нагнулся, подобрал что-то со дна своей лодки и протянул им. «Глянь, что я сделал!» — объявил он. Поначалу Торнхилл подумал, что он показывает им пойманную рыбу, но, кажется, это была пара перчаток? А потом он увидел, что это отрубленные кисти рук. Ко-

жа была особенно черной по контрасту с белой костью.

«Больше этот ворюга у меня ничего не украдет!» — крикнул Барыга и издал противный высокий смешок. В этом его красном от загара лбе, в обнаженном лице было что-то поистине ужасное. «Да будь ты проклят, Барыга!» — прорычал, хватая весло, Блэквуд, и голос его заметался между скалами. Торнхилл услышал, как грозное эхо пронеслось над тихой водой. «Хватай второе весло, Торнхилл, да поживее!»

Дюжина взмахов — и лодке Барыги их было уже не догнать. Блэквуд бросил весло и глянул в подзорную трубу. Торнхилл решил было, что его кто-то ужалил — так резко и с таким злым рыком он оторвал трубу от глаза. Протянул ее Торнхиллу, который сначала увидел только серебристо-зеленые верхушки деревьев — они проплыли мимо его взгляда. Наконец он нашел линию, где суша встречалась с водой, и огляделся. Увидел хижину — несчастное сооружение из коры и палок, какую-то дымящуюся кучу рядом с ней. Посадку кукурузы, такую ярко-зеленую, что глазам стало больно. Рядом стояло серое высохшее дерево, с ветки которого свисал на веревке какой-то длинный мешок.

Сперва Торнхилл подумал, что это чучело, подвешенное, чтобы распугивать птиц, потом — что это какой-то зверь, которого собрались освежевать. Легкий бриз прибил лодку ближе к берегу, и его прошиб пот. Он чуть не выронил ставшую вдруг скользкой трубу. То, что висело на дереве, не было ни чучелом, ни кабаном. Это был труп чернокожего. Вокруг веревки, пропущенной у него под мышками, вздулась плоть, голова болталась. Лицо его уже не было лицом, различить можно было лишь желтый кончик початка кукурузы, воткнутого между двумя розовыми пористыми выпуклостями, которые раньше были губами.

Дуновение ветра отогнало лодку от утесов. Блэквуд держался за румпель, всем телом отворотясь от того, что увидел, и наблюдал за отражением ветра в воде. Наконец их парус поймал ветер, и «Королева» рванула вперед. Торнхилл набрал воздуха, чтобы что-то сказать, но потом передумал.

Заговорил Блэквуд — хриплым от нахлынувших чувств голосом. «В этом мире ничего нельзя брать просто так, — сказал он и сплюнул за борт, потом посмотрел на запад, туда, где в сиянии исчезала вода. — Надо по справедливости платить за то, что берешь. Что-то отдаешь, что-то

берешь».

Торнхилл смотрел на проплывавшие мимо мангровые заросли, на незатейливый изгиб горной возвышенности, четко видный на фоне солнца. Слышался только легкий плеск, издаваемый лодкой, ее скользившим по гладкой воде днищем. Стояли тихие, наполненные жемчужным блеском послеполуденные часы, ровный прилив нес «Королеву» вдаль.

Под конец длинной излучины, на всем протяжении которой по левому борту тянулась непрерывная гряда скал, Блэквуд показал куда-то вперед. «Вот там, неподалеку, я и живу, — он выдавливал из себя эти слова, будто и хотел сказать, и одновременно не хотел. — Там, где Первый Рукав». Торнхилл вгляделся и увидел другой посверкивающий среди тростника поток, уходящий в сторону от основного русла. Он молчал, ждал продолжения. «Этим летом уже два года, как получил помилование, — Блэквуд усмехнулся. — Лучшее помилование, какое только можно купить за деньги». Ухватившись за штаг, он продолжал смотреть вперед. Тишину нарушал лишь плеск воды под килем. «Выбрал себе сотню акров, — наконец произнес он. — В пяти милях вверх по рукаву, это место называ-

ют теперь лагуной Блэквуда, — он говорил это больше себе, чем Торнхиллу. — Пять миль, все по теченью вверх…»

Он произнес это так, словно прочитал строку из стихотворения.

Мысль об этом своем месте, казалось, позволила ему позабыть про Барыгу Салливана. Говоря, он словно смаковал слова, на разгладившемся лице появилась легкая улыбка, он радовался чему-то своему: «Ловлю рыбку, выращиваю немного кукурузы, гоню чуток самогона… Так, для себя».

В знакомом Торнхиллу мире человек мог владеть, ну там, какой-никакой мебелью, одеждой, даже лодкой. Уже это считалось богатством. Но никто из тех, кого Торнхилл знал лично, не мог купить ни клочочка земли. Даже мистер Миддлтон не владел участком под домом в Суон-Лейн.

И вот на тебе: Блэквуд, лодочник и осужденный, ничем особенным не отличающийся от него, Торнхилла, владеет землей! Да не просто владеет: назвал ее в честь себя самого!

«Как так?! — поразился Торнхилл. — Они, что, дали вам сотню акров только потому, что вы попросили?»

Блэквуд глянул на него. «Здесь, приятель, никто ни о чем не просит, — пояснил он. — Находишь

кусок земли, садишься на него задницей и крепко сидишь. Вот тебе и вся просьба, и все разрешения».

И Блэквуд, вглядываясь в серебристую воду, что-то замычал себе под нос. А потом заявил: «Чем скорее получишь свободу, тем, парень, лучше. Потому как здесь слишком много охотников напомнить, что на тебе клеймо, — и добавил, как бы про себя: — Если кто при наличии лодки держится подальше от спиртного, тот многого может добиться».

Первый Рукав отходил под углом вправо, а сразу после него река резко брала влево, русло ее, словно подвешенное на крюк, уходило назад, река почти повторяла себя, только в другую сторону. Суша здесь образовывала длинную косу, это было очень приятное место, покрытое травой, то тут, то там росли деревья, а трава была зеленой и мягкой, как в каком-нибудь парке у знатного джентльмена. Торнхилл поймал себя на том, что ищет взглядом большой, подмигивающий им окнами особняк, но увидел только наблюдавшего за ними кенгуру с прижатыми к груди передними лапами и направленными в их сторону ушами. «Королева» обогнула косу, и он увидел скругленный край с песчаным пляжем и выступ над ним.

Он чуть не рассмеялся вслух, обнаружив, что эта коса здорово смахивает на его же большой палец — тут тебе и ноготь, и костяшка, и все такое.

И внутри у него возникла какая-то сумятица — он возжелал. Никто и никогда не говорил ему о том, что человек может влюбиться в место на земле. Никто и никогда не говорил с ним о том, как искусителен пляшущий между деревьями свет, как зовет к себе тихое, чистое, спокойное пространство, как хочется ступить в это пространство.

И он позволил себе это представить: вот он стоит на пригорке и оглядывает принадлежащее ему место. Мыс Торнхилла. Он ощутил неутолимую жажду: он жаждет владеть этим местом! Сказать «Это — мое!» — так, как он не мог бы сказать «мое» ничему другому. До этой минуты он и не подозревал, что может хотеть чего-то так сильно.

Но видение мыса Торнхилла было настолько хрупким, что он не мог доверить его чему-то грубо-осязаемому, вроде слов. Об этом было непросто думать даже про себя. И он ничего не сказал, а только отвернулся, не выказав ни интереса, ни удивления. И уж точно никакого вожделения.

Но Блэквуд понял, что у него на уме. «Отличный кусок земли», — пробурчал он, и Торнхиллу

пришлось напрячься, чтобы расслышать. Блэквуд прямо глянул на него: «Я видел, как ты туда смотрел, — Блэквуд перевел взгляд на шевелившиеся под ветром кусты. — А вот насчет того, что позади было… Вот это плохо, точно плохо», — и он сплюнул назад, за корму, как будто навсегда хотел изгнать из себя привкус Барыги. И произнес твердо, со значением, чтобы до Торнхилла точно дошла его мысль: «Что-то отдаешь, что-то берешь, только так». Он постоял, глядя на воду, потом повернулся к Торнхиллу и спокойно произнес: «Иначе глазом не моргнешь, как подохнешь».

Это не было угрозой — простая констатация факта.

Торнхилл кивнул, глядя вперед, еще на один мыс, за который сворачивала сверкающая река. «Ничего против этого не имею», — согласился он и подавил искушение оглянуться на мыс, похожий на палец.

Блэквуд смотрел на него и словно читал его мысли. «Ну тогда ладно», — произнес он с сомнением в голосе. Слова эти повисли между ними как невысказанный вопрос.

После Первого Рукава и длинного мыса они почувствовали, что течение изменилось, и причалили на ночь к низкому острову. Развели на

песке огонь и улеглись. За их спинами молчал лес. Перед рассветом они поднялись, чтобы поймать прилив.

Теперь им встречалось больше треугольных участков ровной земли, вроде того, который застолбил Барыга Салливан, их образовывали сбегавшие между валунами ручьи. Луга и деревья здесь чаще подступали к самой воде, заменяя собой суровые скалы и камни. Характер реки изменился, стал мягче, добрее, человечнее. На подходе к Грин-Хиллз по обоим берегам раскинулись поделенные изгородями поля кукурузы и пшеницы, ровные ряды апельсиновых деревьев с блестящей темно-зеленой листвой. Лес за полями походил на отброшенное могучей рукой одеяло.

Весь этот день, следя за тем, как меняется река, Торнхилл думал о том куске земли. Он слышал, что говорили священники о Земле обетованной. Он полагал, что Земля обетованная, земля обещанная, — из ряда того, что предназначено исключительно для благородных. Ему-то ведь никто ничего и никогда не обещал.

Он знал, что вовсе не это священники имели в виду, но все равно фраза доставляла ему удовольствие. Мыс был чем-то обетованным — не Господом, но им самим и ему самому.

• • •

Вернувшись в Сидней, он рассказал Сэл о скалах и утесах нижнего течения реки, о фермерах, трудившихся на влажных берегах в верхах Хоксбери, где все тихо и спокойно. Все они рассчитывают только на Блэквуда, сказал он, без его лодки урожай просто сгниет на полях. На реке было еще два торговца-перевозчика, но Бартлетт был пьянчугой, а Эндрюс — вором и мошенником. И все фермеры ждут только Блэквуда. Он рассказал о мангровых зарослях, о том, как река тайно, тихо, зигзагами прокладывает свой путь вглубь суши. Рассказал ей о Первом Рукаве и даже нарисовал на земле план, чтобы объяснить, как он впадает в реку, и поставил крестик в том месте, где Блэквуд дал свое имя этой дикой земле.

Его палочка рисовала очертания реки, он объяснял, как русло, в том месте, где впадал Рукав, как бы складывалось и поворачивало назад, как именно здесь соленая прежде вода сменялась пресной и как, начиная от этого места, ландшафт становился более мирным. Рассказывая, он наблюдал, как кончик палочки вгрызался в землю, вычерчивая абрис далекой реки.

Но он ничего не сказал ей о том, что его палочка

также вычертила тот мыс. О том, как стоял в траве по грудь кенгуру, как следил за ним взглядом. И как в нем возник голод, которого он никогда раньше не испытывал.

То место было мечтой, которая, облеки ее в слова, могла растаять.

• • •

Рассказал он ей лишь несколько месяцев спустя, в тот июльский вечер 1809 года, когда Дику исполнилось три года. Дика поздравили медовым пирогом, а его мать и отец поздравили себя несколькими стаканчиками. И теперь они сидели у очага, слушая, как ветер стонет в верхушках деревьев, как задувает он в сделанную из коры трубу, швыряя им в лицо пригоршни белого пепла. Было приятно сознавать, что, хотя ветер и холодный и будет дуть всю ночь, он все же не принесет ни снега, ни льда, и никогда здесь не будет никакого мороза. В первую зиму они запаслись дровами, сложили их возле двери и потратились на одеяла. Теперь, три зимы спустя, они знали, что того, что в Сиднее зовется холодом, бояться не стоит.

Сэл, позевывая, смотрела на огонь. Братец, которому уже было больше года, по-прежнему не

давал ей спать, сначала поднывал, потом плакал в голос, пока она не вставала и не укачивала его. «Пора в кровать, — пробормотала она, однако пододвинула свою табуретку поближе к нему и вытянула ноги вдоль его ног. — Лучшее время дня, вот сейчас».

Момента более подходящего, чтобы попробовать на ней идею, вряд ли можно было сыскать. «Есть участок земли, — сказал он. — Выше по реке. Неподалеку от Рукава, — она не ответила и не повернулась к нему, но он почувствовал, как она напряглась, слушая. — Нам надо взять его, Сэл, пока никто другой не прихватил». Он сам услышал, что произнес эти последние слова хрипло, ужаснувшись самой мысли.

«Фермер Уилл? — вскричала она, ей стало смешно. — Да ты же не отличишь один конец репы от другого!»

«Отличный участок, — сказал он, подождав, пока она отсмеется. — Мы обосновались бы там, как Блэквуд, и все было бы хорошо». Он понял, что произнес это слишком энергично, и умолк.

Теперь и до нее дошло, что он вовсе не шутит. «Но у нас и сейчас все хорошо, — сказала она. — Надо понимать, куда не следует соваться».

Она была права — они оба знали тех, кто, при-

хватив землю, либо ленились на ней работать, либо спускали заработанное на девок и модные жилеты. Некоторые брали землю, на которой вообще ничего, кроме бурьяна, вырасти не могло, и теряли даже то немногое, что имели.

«Уилл, — она помедлила, не зная, как сказать. Пошуровала палкой в очаге, потом повернулась к нему: — Уилл, нам здорово повезло. Мы уже оба могли быть на том свете, и мальчиков никаких у нас не было бы». Она снова повернулась к очагу и протянула к теплу руки. На фоне огня стало видно, какие тонкие у нее пальцы.

«Послушай, Уилл, у нас все получается, — наконец сказала она. — Еще пару лет, и мы накопим на то, чтобы вернуться… Купим дом, купим лодку. Мягкие кресла, и все такое».

Ему хотелось объяснить ей, что, имея землю, они наберут на лодку и на дом быстрее и что дети им за это только спасибо скажут. Но придержал язык. Снаружи послышались шорох и треск. Наверняка это Шелудивый Билл устраивался на ночлег.

«Не стоит упускать такой шанс, Сэл, — сказал он, вопреки собственному намерению повысив голос. — Без дураков!»

Но он слишком уж надавил на нее. «Нет, — ска-

зала она. — Я на это не пойду, Уилл, ни за что».

Он понял, что их голоса разбудили детей и те сморят на них с матраса. Он оглянулся на бледный овал лица Уилли. В восемь лет, как самый старший, он лежал на том краю матраса, что ближе к огню. Бедолаге Дику пришлось довольствоваться местом у стены, где сильно дуло. Слабенький Братец только недавно покинул колыбель и еще не привык спать со старшими. Он издал несколько скрипучих звуков, означавших, что он еще не проснулся, чтобы раскричаться, но скоро проснется. Они все замолчали. Через минуту замолчал и Братец, и мальчики снова улеглись.

Он гордился тем, что у каждого из его мальчиков было свое одеяло. Никому из них не приходилось, подобно ему в детстве, ждать, пока кто-то из братьев уснет и можно будет перетянуть одеяло на себя.

Сэл вся сжалась и, не глядя на мужа, наклонилась к огню. Они никогда не спорили по каким-то серьезным вещам. Он жалел, что не может объяснить ей, какое чудо — эта земля, как прекрасен падающий на траву солнечный свет.

Но она не смогла бы представить себе это, просто не захотела бы. Он понимал, что ее мечты

были скромными и осторожными, в них она не видела ничего более грандиозного, чем оставленный ими Лондон. Может, потому, что не чувствовала, как на шее затягивается веревка. Испытав такое, человек меняется навсегда.

• • •

Он больше не заводил разговора об этом, но мысли о мирном, спокойном клочке земли были с ним постоянно, он грезил о нем во сне и наяву. Плавая по реке с Блэквудом, он видел его при всякой погоде. Под мрачными августовскими небесами он видел мыс Торнхилла сквозь пелену дождя, когда прибрежные кусты клонились под ветром. Наступило лето, и птицы на деревьях воспевали голубые с золотом утра. Он видел кенгуру и полосатых ящериц длиной с его руку, скользивших по стволам казуарин. Порой ему казалось, что откуда-то из-за деревьев в небо поднимается легкий дымок, но, присмотревшись, он понимал, что там ничего нет.

Во время отлива мыс окружал ил, но не такой жидкий и скользкий, как на Темзе, а темно-коричневый, плотный, он даже казался съедобным. За илом росли камыши выше человеческого роста, и густые, как прутья на метле, увенчанные

пышными плюмажами. В камышах сновали маленькие кругленькие коричневые птички, чем-то похожие на малиновок. Они звали его: «Ча-чинк-пи-пи-уип! Уип!»

Другие птицы, с ярким оперением, как у гвардейцев, вышагивали по илу на длинных суставчатых ногах. Он наблюдал, как одна птица — всего в паре ярдов от него — отломила когтями тростинку и, придерживая, счистила клювом верхнюю оболочку и принялась лакомиться белой сердцевиной, откусывая по маленькому кусочку, словно леди, поедающая спаржу.

Тростник укрывал мыс с одной стороны, а с другой его защищали мангровые заросли. За пологим склоном джентльменского парка земля резко поднималась вверх и превращалась в стену из скал, поросших чахлым лесом. Но расстояние между рекой и скалами было приличным. Сколько здесь было хорошей земли? Сотня акров? Две сотни?

Да сколько б ни было, все равно достаточно.

И каждый раз, подплывая к этому месту, он боялся увидеть то, что видел во сне: вскопанную полоску земли, на которой кто-то другой высадил кукурузу, хижину, которую поставил кто-то другой. Каждый раз он на мгновение испытывал

счастье, что этого не случилось, но страх сразу же возвращался.

Мысли об этом клочке земли затаились в глубине души и согревали душу.

• • •

Блэквуд вдруг стал куда более общительным, чем прежде, — таким Торнхилл его еще не видел. Он намеревался продать «Королеву» и переселиться на свою ферму, что «все по теченью вверх», и заниматься там чем душе будет угодно. «Хватает и дров, хватает воды, еды тоже хватает». Торнхилл удивился, а Блэквуд пожал плечами: «У меня там имеется все что нужно, и никаких проблем при этом».

Но перед отъездом в свою долину на Первом Рукаве он захотел убедиться, что Торнхилл получил помилование, и серьезно с ним поговорить.

Условно-досрочное освобождение было способом заставить осужденного работать, но полное помилование срабатывало даже лучше. Те, кто были уже свободны и имели у себя в услужении каторжников, были против этой процедуры, однако в те времена губернатор все равно раздавал помилования как двухпенсовики — направо и налево.

Что в определенной степени следовало понимать буквально. Блэквуд знал некое духовное лицо — преподобного Каупера, — который за несколько кварт ямайского рома был готов побожиться, что подавший прошение — персона во всех отношениях приличная. Блэквуд часто шутил, что приговор «пожизненно» обернулся для него пятью годами. И этот срок мог бы быть меньше, если б по дороге к преподобному чертов бочонок не свалился с тележки, не разбился бы и все содержимое не вылилось, так что ему пришлось раздобывать другой бочонок.

Блэквуд пояснил, что петицию лучше всего поручить написать типу по имени Найтингейл, спившемуся джентльмену, ловкому в составлении звучных фраз и обладавшему красивым почерком. Его всегда можно найти в одной из распивочных возле ручья, с пером и пустой чернильницей при нем. Нуждавшийся в просьбе о помиловании приносил собственную бумагу, склянку чернил и некоторое количество рома. Точное количество определялось ситуацией. Стрезва Найтингейл был ни на что не годен — рука у него тряслась, глазки едва открывались. Если же напоить его слишком сильно, то тогда ром выливался у него изо всех дыр, а перо выпадало

из пальцев. Следовало уловить короткий момент между первым стаканом и обещанием второго — тогда он был для дела в самой кондиции.

В конце листа, заполненного красивыми буквами с завитушками, написанными как красными, так и черными чернилами, с виньетками поверху и внизу, Найтингейл оставил место и указал на него трясущимся пальцем: «Будьте любезны, вот тут подпись: “Уильям Торнхилл”», и Торнхилл взял перо. Но вместо того, чтобы накарябать крест, он тщательно выписал буквы, которым научила его Сэл. Он так нажимал, что перо плевалось кляксами, и он совсем позабыл, как писать маленькие буквы, так что вместо подписи у него получилось что-то похожее на извивающегося на крючке червяка. Но «У» и «Т» вышли четко. Уильям Торнхилл.

• • •

Через четыре года после приезда, в декабре 1810-го, Торнхилл вместе с дюжиной таких же исполненных надежды каторжников погрузился на борт пакетбота «Роуз-Хилл» и поплыл через порт к реке, которую называли Парраматта. Там, в ее устье, находился сам Роуз-хилл — Розовый холм, а на нем — резиденция губернатора. Это

была квадратная каменная коробища, возвышавшаяся над развалюхами каторжников, словно удобно устроившийся в кресле благородный джентльмен. Просителей провели в кабинет с большими окнами, стенами, увешанными портретами господ при бакенбардах, и полками, уставленными поблескивавшими позолотой книжными корешками. Его превосходительство стоял в потоке лившегося из высокого окна света, мундир слепил пурпуром и золотыми шнурами, шляпа с кокардой затеняла лицо, ноги покоились на квадратном алом коврике.

В другом конце зала, сжимая в руках шапки, толпились осужденные. Губернатор говорил с таким сильным шотландским акцентом, что Торнхилл различал только отдельные слова и, чтобы убить время, разглядывал ближайший к нему портрет. На портрете был изображен какой-то человек, сидевший боком с книгою в руках подле маленького столика, фон был темный. Торнхилл подумал: а как бы он сам смотрелся вот у такого столика с книгою в руках, и чтобы вокруг все было богатого, насыщенного коричневого цвета? Казался бы он таким же значительным, как этот джентльмен, или надо все-таки таким родиться?

Когда назвали его имя — «Уильям Торнхилл,

транспортный корабль “Александр”, пожизненное», — он послушно выступил вперед. Пожал протянутую его превосходительством руку в белой перчатке и услышал, как сам же повторяет: «Полное помилование».

Считая с того момента в Олд-Бейли, когда судья, подхватив на лету соскользнувшую с парика шляпу, огласил приговор, «жизнь до естественной кончины» обернулась четырьмя годами, пятью месяцами и шестью днями.

По возвращении в «Маринованную Селедку» они с Сэл подняли кружки. Было совершенно справедливо отметить дарованное губернатором помилование личным губернаторским бренди. Торнхилл почувствовал, как бренди распускает у него в груди свои теплые пальцы, увидел, как порозовели щеки Сэл. «Уж поверь, его превосходительство может гордиться собой, — заявила она и сделала еще глоток. — И дай Бог ему долгой жизни, чтобы он мог радоваться, что освободил моего мужа».

Под ярким солнцем лицо ее покрылось загаром, в ней появилась твердость, рожденная необходимостью шуткой усмирять пьяниц, одновременно приглядывая за детьми, что было непросто: Уилли и Дик носились по всему поселению, а Братец,

крича, чтоб его подождали, ковылял за ними на своих тощих ножках.

Она наклонилась к нему через стол, и он увидел, что загар не тронул сбегавшие из уголков глаз морщинки. Из-за этих морщинок — потому что ей постоянно приходилось щуриться на солнце — казалось, что она все время улыбается, и он захотел взять ее прямо сейчас, стоя у стены, услышать, как она дышит ему в ухо. Она, должно быть, прочитала это его желание у него в глазах, потому что придвинула лицо еще ближе и попыталась напоить его рот в рот. Он почувствовал, как струйки бренди стекают у него по подбородку.

• • •

Поскольку Блэквуд вышел из дела, Торнхиллу пришлось искать новый источник заработка. Он подумывал обзавестись собственной небольшой лодкой. Дома, на Темзе, был один такой с маленькой лодкой, работал сам на себя, что-нибудь в таком роде можно было бы устроить и здесь и в одиночку обслуживать корабли в Сиднейской бухте. Конечно, с маленькой лодкой не развернешься, но если лодка будет собственной, то можно зарабатывать, не подворовывая. Ничего

такого особенного, нормальный постоянный заработок, надежный, без риска попасть на Землю Ван-Димена.

А со временем он снова поговорит с Сэл. Понятно, он напугал ее, вот так сходу брякнув о том участке, не продумав, каким образом все это можно осуществить. Надо действовать постепенно, вот и все.

Они с Сэл достали из-под папоротниковой лежанки коробку и при свете масляной лампы посчитали деньги. Тридцать пять фунтов. У них еще никогда не водилось столько денег. Если ему удастся найти подержанные весла, то хватит и на лодку от Уолша.

Сэл взвесила монеты на ладони, пересыпала их с руки на руку. Поднесла одну к лампе, покрутила, полюбовавшись на блеск, оставленный тысячами рук, в которых она побывала.

«Уилл…» — сказала она, и он посмотрел на нее. Голос у нее был какой-то необычный. Сейчас, при свете лампы, он разглядел, что один зрачок в ее карих глазах чуть меньше другого. «Этот Блэквуд, — сказала она. — Я прочла в “Газетт”, что он продает “Королеву”». Он чуть было не спросил, какое это имеет отношение к лодкам Уолша, но сдержался. «Просит сто шестьдесят, но готов

снизить цену, — она говорила так, будто вслух размышляла. — Нам стоит ее выкупить. Тогда мы сможем заработать, как он, и быстро».

Взгляд Торнхилла обратился к груде монет на столе, но она его опередила: «Остальное займем, — произнесла она, понизив голос. — У мистера Кинга».

Сначала он даже не поверил своим ушам, но, взглянув на нее, увидел, что она улыбается. «Через пару лет торговых перевозок мы вернем большую часть долга, — сказала она. У него челюсть от удивления отвисла, а она, думая, что ему нужно подтверждение, быстро добавила: — Я подсчитала, Уилл, все должно получиться, — она наклонилась к нему через стол, убеждая, уговаривая: — И тогда мы сможем вернуться Домой».

Он чуть не расхохотался. Все это время он лелеял тайную мечту, а, оказывается, она тоже жила мечтой. У ее мечты был совсем другой финал, но чудо в том, что они оба мечтали.

Она, не зная, о чем он подумал, продолжала гнуть свою линию, глядя на него сверкающими глазами: «Пары лет хватит, Уилл, и мы вернемся Домой. Только представь это, Уилл!»

Он кивнул, как будто тоже думал о Доме, и когда она перегнулась через стол и, положив ладони

ему на лицо, поцеловала его, он поцеловал ее в ответ так страстно, что она удивилась. «Да, — сказал он. — Завтра пойду к мистеру Кингу». Но думал он совсем не о том, как скоро они смогут вернуться. Он подсчитывал, как скоро он сможет заняться торговлей на Хоксбери, потому что тогда было бы абсолютно логично и поселиться на реке — короче, когда именно он сможет встать на ту землю и почувствовать, что это его собственная земля.

• • •

Помимо того, что хранилось в коробке, им нужно было еще сто пятнадцать фунтов. Огромная сумма, такая большая, что казалась нереальной — не настоящие деньги, а только звуки, вылетающие изо рта. Там, Дома, он никогда бы на такое не пошел. Да и мысли бы такой не возникло. Но здесь — да, долг не давал бы ему спать по ночам, но при этом мог превратить его в человека имущего. Мистер Кинг согласился дать взаймы, и они с Торнхиллом пожали руки, как будто Торнхилл стал ему ровней.

Он хорошо знал «Королеву»: открытый одномачтовый шлюп девятнадцати футов длиной, от носа до кормы полупалуба, достаточно места в

трюме. Она была довольно неуклюжим корытом, тупоносая, широкая, валкая, годная лишь на короткие маршруты, при попутном ветре теряла устойчивость. Но была крепкой и отлично держала удар.

Торнхилл, чтобы успокоиться, вынужден был выпить стаканчик. Но все равно, когда подписывал бумаги, рука у него тряслась.

• • •

Сэл спустилась полюбоваться лодкой. Она снова ждала ребенка и, усевшись на бухту каната, вынуждена была раздвинуть ноги — так ей было легче уложить живот. «“Королева” — странное имя, — сказала она. — Помнишь, у Па была лодка? Он назвал ее “Надежда”? — она улыбнулась Торнхиллу, прищурилась, глядя в безоблачное небо: — Вот и мы должны хранить надежду, и молиться — она улыбнулась воспоминаниям, и ее лицо засияло как прежде: — На лодке была красная полоса, Па особенно гордился этой полосой».

Когда она в следующий раз спустилась в бухту, на руках у нее уже был младенец. Торнхилл вместе с Уилли замазали старое название и на его месте нарисовали новое, старательно скопировав буквы с клочка бумаги, который дал Найтингейл.

Красная полоса, проходившая под планширом, смотрелась превосходно. Теперь он понимал, почему мистер Миддлтон так на ней настаивал. Для полного совершенства они нарисовали такую же полосу и вокруг плоскодонки, которую Блэквуд отдал как часть сделки.

«Надежда» была словно создана для отца и сына. Уилли было почти одиннадцать, вполне уже рукастый, здорово похожий на отца, с такой же упрятанной под шапку буйной шевелюрой. А еще он был парнем мужественным. Как-то раз ему веслом придавило палец, он побелел, но ни разу не пикнул. Торнхилл увидел, как напряглась нижняя челюсть, когда он пытался сдержать крик, — мальчишка аж весь раздулся.

Торнхилл знал, какая это боль, и знал, сколько сил требуется, чтобы смолчать.

Уилли ходил с отцом к мистеру Кингу на подписание соглашения. Он уже был достаточно большим, чтобы понимать, чего стоит обещание выплатить сто пятнадцать фунтов. Ему нравилась «Надежда», нравился соленый ветер в лицо. Он никогда не отлынивал от работы, и, укладывая груз или вычерпывая воду, отец с сыном узнавали друг друга.

Весь 1811 год Торнхилл, Уилли и «Надежда»

работали: они побывали везде, где требовалось лодочное обслуживание, но чаще всего перевозили товары вверх и вниз по Хоксбери. В Грин-Хиллз, где располагались разнокалиберные фермы, они загружались кукурузой, пшеницей, репой, дынями. В Сиднее трюм пустел, и его загружали тем, что требовалось фермерам, — веревками и гвоздями, шинным железом и мотыгами. Трюм «Надежды» не пустовал никогда, и при каждом переходе к рукам Уильяма Торнхилла прилипала какая-никакая денежка.

У других лодки были и больше, и лучше, но никто в колонии не мог тягаться с Уильямом Торнхиллом и «Надеждой». Он плавал при любой погоде, когда с Уилли, когда в одиночку, что ночью, что днем — все едино. Пока другие спали, он в темноте загружал лодку, греб против течения, и когда другие только выставляли паруса, уже возвращался обратно. На обратном пути из Грин-Хиллз в Сидней другие лодки отсиживались в заливе Брокен-Бей в ожидании, когда волнение успокоится и они смогут без риска идти вдоль берега к Порт-Джексону. Но не Торнхилл. Он пускался в плавание и тогда, когда волны были высотою с мачту «Надежды».

Две причины двигали им. Одна — клочок бу-

маги, на которой было написано его обещание вернуть Александру Кингу сто пятнадцать фунтов плюс проценты. Эта бумаженция затаилась в недрах письменного стола мистера Кинга, словно змея, всегда готовая напасть и нанести смертельный укус.

А другая — мысль о будущем, ничем не похожем на прошлое. В Лондоне он насмотрелся на руки бывалых лодочников, которые в сорок лет выглядели стариками. Костяшки на руках мистера Миддлтона раздулись, пальцы скрючило так, что они стали похожи на клювы орланов, он не мог этими пальцами, например, набрать из пригоршни монет сумму в полкроны. Торнхилл не мог забыть состарившихся и обнищавших лодочников в доме призрения в Саутуарке, как они, шаркая ногами, брели за жалкой миской жидкого супа.

У него и так уже в холодную погоду по утрам болели руки. Ему казалось, что костяшки уже начинают расти, а пальцы — кривиться. Его тело — то, над чем у него всегда была власть, то, что всегда ему подчинялось, — было крепким, но в конце концов и оно ослабеет. Человеческая жизнь похожа на жестокую гонку — прежде чем тело тебя подведет, ты должен успеть сделать

так, чтобы ты сам и твоя семья поднялись над отметкой максимального уровня воды, оградить их и себя от приливов и встречного ветра.

Он лежал по ночам возле Сэл, рядом посапывали четверо мальчишек. Уилли засыпал сразу, только упав на матрас, спал он крепко, как и трудился. Рядом с ним крутился и шуршал Дик. Ребенку, родившемуся в море между двумя мирами, шел пятый год. Это было серьезное существо с мечтательной физиономией — Торнхилл не находил между ним и собой никакого сходства. Дик мог часами играть в камешки, что-то там бормоча про себя. Братец спал между Уилли и Диком, ему уже было почти три, но он по-прежнему просыпался среди ночи, и посапывание братьев, похоже, его успокаивало. Он был уже вовсе не младенец, но прозвище «Братец» прилипло к нему намертво.

А младенец — они назвали его Джонни — был крепышом, и как только начал сам садиться, принялся возиться со всем, что как-то двигается. Для него весь мир был чем-то вроде маховика, вращающегося вокруг своей оси то в одну сторону, то в другую.

Торнхилл никогда не видел Сэл счастливее, даже во времена ее веселой юности. Он взирал на

нее с изумлением. Он тоже любил сыновей, но понимал, что Сэл испытывает к ним нечто помимо обычной материнской любви. Они наполняли ее жизнью, но сам он никогда не испытывал таких ощущений.

Он держал их судьбы в своих руках и сознавал, что это его плечи и его упиравшиеся в переклади-ны лодки ноги служат им защитой. Если мышцы его подведут, им всем придется очень тяжело.

• • •

Спустя чуть больше года, в начале 1812-го, он смог вернуть Кингу четвертую часть долга. И понимал, что если в скором времени не совершит решительного шага, будет слишком поздно.

Проплывая на «Надежде» то вверх, то вниз по Хоксбери, он прорабатывал детали своего плана — фантастического, но для него такого же реального, как румпель в руках. Если они займут этот участок, он все равно будет продолжать плавать и перевозить товары, но одновременно сможет растить кукурузу и разводить свиней для солонины. Через несколько лет — а здесь все происходит быстро — Торнхиллы смогут все продать и вернуться в Лондон, к той самой легкой жизни, которую он так ясно видел внутренним взором.

Похоже, Блэквуд не обманывал, когда говорил, что получить здесь землю легко. Существовали, конечно, определенные правила: хорошо было бы получить подписанные губернатором бумаги. Но истина, которую между строк нашептывали эти правила, истина, отрицавшая всякие бумаги, была иной, а именно: губернатору было плевать. Король Георг был хозяином всего Нового Южного Уэльса, точных размеров которого никто не знал, но какой прок королю Георгу от этой земли, все еще дикой, по которой бродят только черные? Чем больше цивилизованного народа прихватит этой дикой земли, тем больше ее можно будет прихватить потом. И вообще: сотни акров дикой земли казались справедливой платой за риск, который эти люди были готовы взять на себя, и за труд, который они были готовы вложить.

Все, что требовалось, — найти пока ничейный кусок. Посеять зерно, построить хижину, назвать место своим именем — Смита там или Фланагана — и не обращать внимания на тех, кто будет утверждать обратное.

Все это время он держал мысли о мысе, похожем на большой палец, при себе, это была его согревающая душу тайна. С того самого ночного разговора с Сэл он никому об этом не рассказывал

— как будто оберегал ту землю от сглаза. Он не мог забыть мир и покой, скрытые тростниками и мангровыми зарослями, эту мягкую возвышенность, такую же сладкую, как тело женщины.

• • •

Сэл снова была беременна, уже два месяца как. Что-то они зачастили, эти детишки, следующий намечался сразу после того, как она отнимала от груди предыдущего. В Лондоне хватало всяких бабок, которые могли помочь в таких ситуациях. Здесь же имелась только одна, на Черч-стрит, но и ее обиталище, и она сама были такими мерзкими, что он не позволил бы Сэл и близко к ней подойти.

Каждый ребенок был еще одним звеном в цепи, приковывавшей его к Сиднею. С проявлением очередного малыша было все труднее сняться с места и начать новую жизнь. Но он обязан сделать этот шаг. Он хоть всю жизнь готов ждать подходящего момента.

Наступление нового 1813 года они отмечали праздничным ужином, состоявшим из жилистого петуха, которым вместо монет расплатился с Сэл один из постоянных посетителей, и бутылочки лучшего рома из их запасов. Сэл, когда ждала

ребенка, обычно становилась по ночам смелее, и, вспотев от ночной жары и выпитого рома, они с Торнхиллом по-настоящему отметили праздник.

Уснуть после этого они не могли. С улицы раздавались вопли тех, кто приветствовал наступление нового года, и казалось, что сейчас жарче, чем даже днем.

Торнхилл чувствовал, что Сэл не спит, хотя ее рука неподвижно и вяло лежала в его руке. Как будто она знала, что он хочет что-то ей сообщить. Но он все никак не мог отыскать правильные слова, и какое-то время оба притворялись спящими.

«Сэл, — произнес он наконец севшим голосом, и повторил: — Сэл…»

В ее голосе не было и намека на сон: «Да, Уилл?»

«Та земля, помнишь, о которой я тебе говорил? Если мы ее не возьмем, то все упустим».

«Земля! — она шумно вздохнула. — И все это время, пока ты ходил с мечтательным видом, я думала, что ты грезишь о какой-то горячей красотке!»

Они посмеялись над самой идеей горячей красотки, но смех затих, а невысказанная мысль о земле, которая могла бы стать их землей, осталась. Она встала, подошла к очагу, в котором еще

тлели несколько угольков, раздула огонь, зажгла лучину и запалила лампу. Поставила лампу на пол, снова забралась в постель, улеглась на бок и, опершись на локоть, внимательно посмотрела ему в лицо.

На ночь она, как обычно, заплела косы, и он поразился, заметив вдруг, что среди каштановых прядей проявились седые. Как же коротка жизнь человека, подумал он. И как длинна смерть.

«Ты давно об этом думал», — наконец сказала она.

Он снова представил себе мыс Торнхилла, то, как вода обегает его оконечность, когда прилив сменяется отливом, увидел, как колышутся под легким ветерком верхушки деревьев. Воспоминание это успокоило его, и он сам удивился, каким вдруг мягким стал его голос: «Пять лет, Сэл, нам потребуется пять лет. А после этого на первом же корабле отправимся Домой».

Говоря это, он положил руку на сердце — он не клялся так с самого детства. «Сердцем клянусь, не сойти мне с этого места, — он заставил себя улыбнуться. — Пять лет, Господь мне свидетель». И продолжал, хотя она прекрасно знала эту историю, которую они рассказывали друг другу не раз: «Помнишь? Тот маленький домик, что

нас поджидает. Наш собственный. За который полностью уплачено». Она молчала, но он чувствовал, что она представляет себе этот домик. «Мягкое кресло у очага, служанка, которая подносит уголь». Он и сам все больше увлекался собственным рассказом. «Мы будем есть только белый хлеб, а колокола Сент-Мэри-ле-Боу будут говорить нам, который час»[12].

Он услышал, как она, вздохнув, тихо произнесла «да», и он не понял, было это вздохом разочарования или желания, но, наверное, упоминание о Сент-Мэри-ле-Боу сыграло свою роль. «Подумай об этом, Сэл, — сказал он. — О нашем месте». И удивился, услышав в собственном голосе нежность.

Она различила ее тоже. Он почувствовал ее пробудившуюся заинтересованность: «Ты ведь уже все решил и придумал, разве нет?» Она снова повернулась к нему и вгляделась в его лицо. «Да, — ответила она самой себе. — Ты уже решил, и для тебя это важно».

«Пять лет, считая с этого дня, Уилл, но двинемся не раньше, чем родится ребенок, — твердым го-

---

[12] Примечания: 12

Одна из самых известных церквей Лондона, находится в Сити. Построена в 1671–1680 гг. Считается, что человек, родившийся в пределах слышимости колоколов Сент-Мэри-ле-Боу, — истинный кокни.

лосом произнесла она, глядя ему в глаза. — Пять лет, — повторила она, требуя твердого обещания. — Это много, но все равно не пожизненно». А потом усмехнулась: «Кстати, Уилл, запомни, репа растет не на деревьях».

Между рекой и лесом

«Надежду», отплывавшую к мысу Торнхилла, провожала лишь грязно-белая собака с вывернутой лапой. Она стояла на краю причала и, когда Торнхилл сбросил булинь со швартовой тумбы, один раз хрипло гавкнула.

Стоял сентябрь 1813 года. Зима еще не кончилась. Сквозь облака пробивался молочный солнечный свет, по воде пробегал холодный ветерок. Однако скоро с океана подуют теплые ветры, солнце прочно утвердится в небесах, и тому, кто хочет бросить в землю зерно, следует торопиться.

Пока они через Порт-Джексон шли к открытому океану, Сэл сидела, повернувшись лицом к корме, и неотрывно смотрела на остающиеся позади строения, скопление кубиков, бледных в рассветной дымке. «Надежда» легко скользила по воде, паруса лениво хлопали.

Из города до них долетело печальное петушиное «ку-ка-ре-ку». Когда между лодкой и поселением вырос первый мыс, петушиный

крик заглушил хохот снующих в ветвях кукабарр — их издевательский смех летел над водой к сидевшему в лодке семейству. Но и тогда Сэл не развернулась, а продолжала смотреть назад, прижимая к груди новорожденную девочку. Они назвали ее Мэри, в честь матери Сэл. Она была крохотной и вела себя так тихо, будто полагала, что все еще пребывает в материнском чреве. Она спала на руках у Сэл, нежные веки в голубых прожилочках трепетали, а ее мать все смотрела назад, на поросший лесом мыс, вся в ожидании последнего знакомого звука, последнего проблеска.

Торнхилл видел, как она оглядела хижину, перед тем как выйти из нее и опустить сшитый из коры полог. Шелудивый Билл отирался возле трубы и наблюдал за ними из-под густых бровей. «Теперь, Билл, это все твое», — сказала она. «Вот уж по нему я точно тосковать не буду», — она попыталась засмеяться, но смех застрял в горле. Дети уловили напряжение и беспокойство в голосе матери. «Па, а там, куда мы едем, есть черные?» — спросил Дик. «Нет, сынок, я там ни разу ни одного не видел», — Торнхилл напомнил себе, что, строго говоря, он и правда ни одного не видел. Сэл смолчала, однако в ее молчании

он расслышал понимание того, что присутствие черных не обязательно должно быть заметным.

Как только они обогнули мыс Норт-Хед и «Надежду» встретила океанская зыбь, Торнхилл всем весом налег на румпель: паруса наполнились, лодка рванулась вперед. Каждый раз, когда ветер и вода подхватывали эту крошечную скорлупку — «Надежду», он ощущал что-то вроде благоговейного ужаса.

Такая маленькая лодка в таком огромном море.

«Надежда» прокладывала путь на север вдоль берега, где желтые полукружья пляжей чередовались с мысами. Теперь он знал — выучился у Блэквуда — их названия: Мэнли, Фрешуотер, серый Уэйл-Пойнт и синеющий вдали похожий на молот мыс в том месте, где Хоксбери встречалась с океаном.

Сэл была неважнецким мореходом, ее начало тошнить уже в смирных водах Порт-Джексона, и теперь она забилась под полупалубу, как можно дальше от холодного ветра, и, прижимая к груди Мэри, неотрывно смотрела на лужицу грязной воды, плещущую под ногами. Он время от времени поглядывал на нее. Небо было мрачным, в снастях ревел ветер, а ее лицо явно позеленело.

Торнхилл знал, что она борется с тошнотой и только и думает, как пережить этот переход и то, что ждало их впереди. Он вспомнил девушку на скрипучей кровати в Мермейд-Роу, которая рот в рот кормила его дольками мандарина. Тогда он любил в ней все, что так отличало ее от него. Теперь, когда он смотрел на нее, склонившуюся над ребенком, когда он видел ее аккуратно залатанный чепец, он любил ее не меньше, а может и больше — за ту стальную силу, что в ней скрывалась.

Он смотрел вперед, туда, где ветер когтил воду. Прежде чем повернуть к югу, «Надежда» должна была пройти вдоль берега до самого устья реки, а там уж за дело возьмется прилив. Он покатит вверх по Хоксбери, захватив Торнхиллов с собой. Во второй половине дня они уже будут на месте.

У входа в реку «Надежда» попала в поперечную зыбь, волна грозила поглотить ее совсем, он услышал, как кто-то сзади закричал от страха. Но тут похожий на молот мыс преградил путь ветру, и они вошли в спокойные воды.

«Надежда» шла вверх по реке от отрога к отрогу, каждый мыс отступал в последнюю секунду — казалось, ветер должен был вынести их прямо на сушу. После океанского рокота здесь было

очень тихо, они даже слышали, как шуршит под днищем вода.

Небо расчистилось, хотя ветерок был еще прохладный. Они плыли прямо туда, где клонилось к закату солнце, река перед ними отливала серебром. Уилли стоял на носу и наблюдал, как ветерок будоражит воду и как река ему подмигивает. Дик перегнулся через планшир, сунул в воду руку и как зачарованный смотрел, как река вьется вокруг его пальцев. Сэл наконец подняла голову и посмотрела на утесы, поросшие густым, словно мох, лесом, на реку, в которой отражались-множились и утесы, и лес.

Глядя на все ее глазами, Торнхилл понял, как сильно он изменился. Теперь он был совсем не тем человеком, который, впервые попав сюда с Блэквудом, потерял дар речи, столкнувшись с гигантскими отрогами, с живой мощью реки. Теперь эта земля стала его землей обетованной, чистой страницей, на которой будет написана новая история его жизни. Но он понимал, что жене она кажется суровой и неприветливой, испытанием, которое придется выдержать.

Он постарался облечь свои мысли в слова: «Ты привыкнешь, милая. Сама удивишься, как тебе понравится». Он всего лишь пытался ее

приободрить, но, как только произнес эти слова вслух, понял, что именно это и хотел сказать. Сэл сделала над собой усилие, глянула на него с бледной улыбкой: «Ну ты и горазд болтать, Уилл Торнхилл!»

«Я сделаю это место таким уютным, что ты подумаешь, будто оказалась Дома, на Суон-Лейн!» — вскричал он, и Уилли захихикал. Но Сэл это смешным вовсе не показалось. С кормы, где он сейчас стоял, Торнхилл видел лишь ее затылок в залатанном чепце и крепко сжатые колени.

Дик посмотрел на лес: «Па, дикари нас съедят?» — и перепуганный Братец расплакался: «Ма, не дай им меня съесть!» Но Торнхилл не намеревался потакать глупостям: «Значит, так, парни! Вы такие маленькие и тощие поганцы, что никто на вас и не позарится».

Но все равно он то и дело поглядывал на нос, где бережно завернутое в парусину, подальше от воды и любопытных глаз, лежало ружье.

Торнхилл купил его у мистера Мэллори, того, что жил возле Каупасчерз. В тот день Торнхилл впервые взял в руки оружие. Оно все было в жирной смазке — не терпящий шуток механизм, тяжелый и бескомпромиссный.

Мэллори повел его в загон для скота, чтобы

показать, как эта штука работает. Зарядить, вставить запал — такая морока, что он чуть было не передумал. От первого выстрела до того, как будешь готов сделать второй, проходит целых две минуты — даже у самого Мэллори. Что ж до Торнхилла, то у него подготовка к выстрелу, поскольку он загнал пыж слишком глубоко и просыпал порох, заняла целую вечность.

Он вскинул ружье на плечо, нажал на спуск, почувствовал, как кремень ударился о сталь и высек искру. Порох взорвался, опалив ему лицо, а приклад ударил в плечо так сильно, что он чуть не упал.

Мэллори улыбнулся с видом превосходства и принялся рассказывать длинную историю, как он стрелял фазанов в Боттомли-он-Марш. Это была еще одна история о том, что ведомо только господам — что ружье может нанести стреляющему такой же урон, как и тому, в кого стреляют.

Торнхилл не считал себя способным послать шарик из раскаленного металла в тело другого человека. Но одной из привилегий получивших помилование было разрешение иметь ружье. Он заработал эту привилегию, хочет он того или нет.

«Так, на всякий случай», — сказал он, забирая у

Мэллори ружье. Сейчас он не понимал, почему тогда старался говорить эдаким небрежным тоном.

Все примолкли — каждый по-своему представлял, что ждет его впереди. И наконец, уже ближе к вечеру, когда между утесами залегли длинные лиловые тени, он увидел высокий, лобастый, как китовая голова, гребень горы, а под ним реку, огибающую землю, которая скоро станет его землей. Мыс Торнхилла.

Он окликнул ее: «Смотри, Сэл, вон там, впереди!»

Когда они уже почти подплыли, он почувствовал, что течение изменилось: начался отлив. Киль по-прежнему вспенивал реку, ветер, отражаясь от утесов, по-прежнему надувал паруса, но вода, державшая лодку, поворотилась против них. Противоборствующие силы ветра и воды сражались за «Надежду», и она замерла на месте, а затем баланс сил изменился, и отлив начал неудержимо выталкивать их обратно.

Мыс Торнхилла был так близко, что он видел, как шевелятся под ветром листья мангровых деревьев, видел птицу на ветке.

Нет, он должен перебороть возникшее вдруг ощущение, будто это место издевается над ним.

Конечно, они могли встать на якорь и пере-

сидеть отлив, провести ночь на борту, как они с Уилли не раз и делали. Но Торнхилл ждал так долго, так долго мечтал! «Бери весло, Уилли, готовься, парень!» — крикнул он, и мальчик прокричал в ответ: «Па, давай подождем прилива!»

Он, конечно, был прав, но Торнхилла колотило от нетерпения. Его сжигало желание ступить, наконец, на землю обетованную. Он ринулся на нос, схватил распашное весло, навалился на него всем своим весом — сила его рук против силы реки. Лодка медленно, лениво стронулась с места. Он крикнул: «Бога ради, Уилли, съешь тебя акулы, хватай кормовое весло!» — и сам понял, что из глотки его раздалось только невнятное сипение.

Но Уилли что-то там прочел по его лицу или услышал, во всяком случае, он налегал на весло, пока нос лодки не уткнулся в мангровые заросли и она, вздрогнув, не замерла. Обратное, отливное течение было хорошо заметно, но через мгновение киль лодки зарылся в ил. Они прибыли.

Торнхилл прыгнул за борт, ил крепко ухватил его за ноги. Он попытался сделать шаг, но ноги затянуло еще глубже. С огромным усилием он вытащил одну ногу и стал высматривать, как бы поставить ее между мангровых корней. С чавкающим звуком вытянул вторую ногу и двинулся к

берегу. Пробираясь через кусты, наклонил голову и прикрыл глаза, чтобы не пораниться, и вот он уже вырвался на сушу. Здесь, за казуаринами, была лужайка, вся в нежной зеленой траве и желтых маргаритках.

Его собственная лужайка. Его лужайка, потому что он поставил на нее свою ногу.

Ничего похожего на тропинку через лужайку не было. Однако в каких-то местах трава была примята, и эта примятость шла через лужайку с маргаритками, поднималась на склон, вилась между кочками и пестрыми, торчащими из земли валунами.

Он шел по этой земле почти невесомыми шагами, ноги сами находили путь. Он был так взволнован, что почти не дышал.

Мое… Это все мое.

Ноги вынесли его на склон, туда, где между скалами сверкал ручеек, туда, где росли молодые деревца. Он вышел на поляну — деревья расступились, чтобы дать простор для игры света, для тени, для листьев и воздуха. Кругом все замерло, будто все живые существа бросили свои занятия, чтобы на него посмотреть. Когда у него из-под ног с клекотом вылетел голубь и уселся на ветку, склонив голову и кося на него глазом, у него по

коже пробежали мурашки — он вдруг испугался. Деревья стояли вокруг молчаливой толпой, ветки их замерли в полужесте, бледная кора свисала длинными лентами, обнажая ярко-розовую кожу стволов.

Он сорвал шапку, почувствовав непреодолимое желание ощутить головой дуновение воздуха. Это его собственный воздух! И вот то дерево с серыми клочьями коры — его собственное дерево! Поросшая травой кочка, каждая освещенная солнцем травинка на ней — это его кочка и его трава! Даже москиты, поющие над ухом, принадлежат ему, и большая черная птица на дереве, которая таращится на него, не мигая.

Ветра как такового не было, но листья шелестели под легкими дуновениями, тень от расположенного к западу горного гребня понемногу спускалась к поляне, хотя деревья все еще купались в густом солнечном свете.

Он был единственным человеком на земле — он, Уильям Торнхилл, Адам в раю, жадно пил воздух своего собственного только что созданного мира.

Черная птица наблюдала за ним с ветки. Он посмотрел ей в глаза. «Кааар, — сказала птица, помолчала, словно ожидая ответа, и повтори-

ла: — Кааар». Теперь он разглядел ее кривой клюв с крюком на конце, таким удобно рвать плоть. Он вскинул руки, и она взмахнула крыльями, но не стронулась с ветки. Он подобрал камень и швырнул в птицу. Она смотрела, как летит камень, в последний миг взмыла с ветки и, низко пролетев над его головой, скрылась в той стороне, где река.

В центре поляны он четыре раза провел по земле каблуком. Здесь никогда не было ничего подобного этим прямым, выстроившимся квадратом линиям, и они изменили все. Здесь человек нанес свою отметину на лик земли.

Поразительно, как мало надо, чтобы часть земли стала принадлежать только тебе.

• • •

Натянуть кусок парусины, чтобы устроить временное пристанище, оказалось совсем не просто. Они с Уилли и Диком, до дрожи напрягавшим тонкие ручонки, боролись с тяжелой тканью. Загнать колья в каменистую почву никак не получалось, и они вынуждены были обкладывать каждый кол камнями, чтобы хоть как-то их удержать. Наконец им удалось поставить кривобокую и жалко сморщившуюся палатку.

К тому времени, как они закончили с палаткой, солнце уже скрылось за гребнем горы. На поляну легла тень, окутав их холодком, однако утес над рекой еще купался в последних лучах, сияя ярко-оранжевым в тех местах, где порода выходила наружу.

Сэл все еще оставалась на «Надежде», она забилась под полупалубу с двумя младшими и младенцем. Краски постепенно возвращались на ее лицо, но она все равно выглядела как человек, выздоравливающий после тяжелой болезни. Похоже, она не торопилась обследовать свой новый дом. Сидя в лодке, она словно еще оставалась там, откуда прибыла.

Торнхилл понимал, что, хотя это путешествие, из Сиднея до мыса Торнхилла, заняло всего день, а путь от Лондона до Сиднея — почти целый год, расстояние, которое они сегодня преодолели, было намного большим. С этого безлюдного берега, где слышался лишь шорох листьев и птичий крик, Сидней казался метрополией, лишь размерами уступавшей Лондону.

Пришел Уилли, уселся рядом с ней. «Мы поставили палатку, Ма, хорошую, — сказал он. — И костер развели, ты согреешься». Рот Сэл дрогнул в улыбке, и она, сделав над собой усилие, встала.

Уилли показалось, что ее стоит еще поуговаривать: «Мы поставили воду в котелке, чай сделать, и лепешки в золе доходят». Братец, услыхав о чае и лепешках, сглотнул слюну и посмотрел на мать. Маленький Джонни бросил обрывок веревки, которым играл, и протянул ручки, чтобы его взяли. «Лепешку, Ма», — закричал он.

Сэл выпрямилась, обернула шаль вокруг себя и младенца. Торнхилл видел, что она уже решилась, но не могла ничего произнести. Братец, чтобы подтолкнуть ее, заверещал громче: «Ма, я есть хочу!» Дик подал ей руку, чтобы помочь пробраться среди сваленных в лодке тюков и перейти по проложенному через прибрежный ил мосточку на сушу.

Палатка, наскоро сложенный из камней очаг, мирная поляна среди деревьев — все это казалось таким приветливым. Но увидев все это ее глазами, Торнхилл понял, каким хрупким выглядел этот новый дом. По сравнению с ним хижина под вывеской «Маринованная Селедка» казалась такой же основательной, как собор Святого Павла.

И только теперь до него дошло, что́ за предприятие он затеял. Жизнь у Сэл здесь будет очень тяжелой. Она будет неделями оставаться совсем одна, пока он будет плавать вверх и вниз по реке

на «Надежде», компанию ей составят только дети. А если кого из них укусит змея? Здесь же нет ни врача, ни священника, который мог бы прочесть молитву над телом. Ослепленный страстью к этому куску земли, он проскакивал через подобные мысли и не думал о том, как заживет здесь, где единственным признаком человеческого существования будет огонь в очаге и его Сэл.

«Ну, разве плохо мы устроились?» — объявил он бодрым голосом, но ответом ему было скептическое молчание да жалобный крик птицы.

Дети смотрели на отца, их личики осунулись от усталости. Сэл огляделась, ища взглядом хоть что-то привычное, знакомое. Он видел, что все это казалось ей чем-то недоработанным — густая трава, искривленные деревья, свист ветра в казуаринах. Для нее это место было всего лишь материалом, из которого состоит мир, но не мир сам по себе. Здесь не было ни одного камня, обработанного человеческими руками, ни одного дерева, посаженного человеком.

Когда он плавал с Блэквудом, они часто, пережидая прилив или отлив, разбивали лагерь на берегу, и он знал, что человек вполне может выжить в таком месте. Но Сэл никогда не заходила дальше сада губернатора.

«Значит, Уилли, вот оно и есть, это место», — сказала она. На самом деле это был никакой не вопрос. Откинула выбившиеся из-под чепца волосы.

Маленький Джонни, обычно мельтешивший повсюду на своих еще толстеньких ножках, стоял, прижавшись к матери и спрятав лицо в складках ее юбки. Братец заныл. В пять лет ему уже не пристало быть таким плаксой, и порою Торнхиллу хотелось закатить ему хорошенькую оплеуху.

На мгновение он подумал, что все это лишено смысла. Ну разве может такой маленький осколок человеческого — эта бледная женщина, эти дети, которые едва могут ходить и разговаривать, — хоть что-то изменить, как-то повлиять на необъятность этого места?

Он глянул вниз, на реку, изрытую ямочками, потому что течение снова поменялось. И что-то в ее нежном свете, в сиянии выстроившихся вдоль нее утесов заставило его забыть и холодный лес, и трудности, и отчаяние, которое Сэл тщетно пыталась скрыть. Небосвод сиял — огромный, бездонный. Никакой взгляд не мог его испить. Серп луны вырисовывался так четко, будто его вырезали из бумаги и приклеили на небо — такую же луну он тысячи раз видел в вечернем небе

над Темзой. И они оба были теми же людьми, которые прошли через смерть и вышли на другой стороне.

Он сделал глубокий вдох. «Это же ничем не отличается от Темзы, милая, — сказал он. — От такой, какой она была когда-то». Он хотел, чтобы она услышала в его словах то, что он намеревался высказать: «Совсем как старая добрая Темза до того, как на нее пришли римляне». Она стояла, понурившись, посадив на бедро младенца, храбро сжав свой прекрасный рот и, как он подумал, с трудом сдерживая слезы.

Он понимал, что ему надо молча напоить ее чаем, накормить лепешкой, уложить в устроенную в палатке постель. Утром, при солнечном свете, все будет выглядеть куда приветливей. Но он никак не мог остановиться, и его голос стелился по поляне: «Вот там внизу, возле лодки, — разве не в этом месте находилась бы церковь Христа, и разве ты не видишь, что вот там — Хай-стрит Саутуарка?»

Да, это была фантазия, но в его глазах она обретала реальность, и дети начали поворачиваться, чтобы увидеть и церковь Христа, и Хай-стрит. Он показал на утесы на другой стороне реки. В одном месте в почти сплошной стене образовался

разрыв, он белел, словно след от овсянки на груди старика. «А помнишь, какой крутой подъем к Святой Марии на Холме? Если идти мимо Зала водников? Разве вон то место не похоже?» Он сам слышал умоляющие, успокаивающие нотки в своем голосе.

«Этот подъем все еще там, — голос Сэл дрогнул, то ли от смеха, то ли от слез. — Все еще там, где и всегда был». Она села на бревнышко, которое он подтянул к огню. Покачала головой, словно удивляясь самой себе: «Беда в том, что нас там нет».

Это могло бы прозвучать упреком, но она все равно не упрекала его.

«Пять лет быстро пролетят», — это было слабым извинением, но он не мог предложить ей ничего другого, и она, помедлив мгновение, его приняла. «Да, Уилл, — произнесла она, как будто это она должна была его успокоить. — Разве ж это срок? Ну, и где твой хваленый чай?»

• • •

Тень превратила золото утесов в свинец. Темнота подступала, и лишь верхушки деревьев удерживали последние проблески света.

Сидевшие у огня Торнхиллы слушали ночь, ощущали, как она наливается весом за их спина-

ми. Темнота за пределами костра была наполнена тайными шумами, шуршанием, внезапным хрустом, настойчивым посвистыванием. Порывы холодного воздуха — словно сквозняк из окна — колыхали деревья. На реке квакали лягушки.

По мере того как сгущалась ночь, они придвигались к огню все ближе, подкармливая его, как только он начинал затухать, костер снова вспыхивал и заливал поляну пляшущим светом. Уилли и Дик все подкладывали и подкладывали ветки, пока огонь не озарил стволы деревьев. Братец подбрасывал в костер ярко вспыхивавшие соломинки.

Им было тепло, по крайней мере, с одной стороны, огонь сделал из них центр теплого мирка. Но также сделал их беспомощными, беззащитными. Тьма за пределами пламени была кромешной, словно слепота.

Деревья, возвышавшиеся над ними, стали огромными, казалось, они скребут корнями землю и подползают все ближе. Их косматые силуэты нависли над освещенной костром поляной.

Торнхилл положил ружье рядом с собой. В угасающем свете дня он, украдкой от Сэл, зарядил его. Проверил кремень, положил рожок с порохом в карман куртки.

Он раньше думал, что наличие ружья даст ему ощущение безопасности. Почему же сейчас у него этого ощущения не было?

Лепешка, которую, торопясь испечь, сунули в слишком сильный огонь, подгорела, но все равно ее аромат, если сковырнуть почерневшую корочку, успокаивал. Звуки, которые они издавали, поедая свой ужин, громко раздавались в ночи. Торнхилл слышал, как чай путешествует по пищеводу, как хлюпнул желудок, когда чай встретился в нем с лепешкой.

Он глянул наверх, на звезды, до которых не доставал свет костра. Поискал Южный Крест, на который привык ориентироваться, но тот, как часто бывало, играл с ним в прятки.

«Наверное, они за нами наблюдают, — сказал Уилли. — Ну, вроде как ждут». В голосе его послышалась паника. «Закрой рот, Уилли, нам не о чем беспокоиться», — оборвал его Торнхилл.

В палатке, под одеялом, он крепко прижал Сэл к себе. Перед этим он нагрел в огне камень, завернул в свою куртку и положил Сэл в ноги, но она все равно дрожала. И дышала быстро-быстро, как загнанный зверек. Он еще крепче прижал ее к себе, чувствуя, как холод пробирается к нему за спину, и лежал так, пока дыхание ее не выровня-

лось и она не заснула.

Ночью поднялся сильный ветер. Он слышал, как свистит он на гребне горы, хотя в долине было тихо. Звук был как у большой волны, налетающей на берег, на скалы, он рос, а потом опадал. Долину накрывал океан листьев и ветра.

Растянуться, заснуть на своей земле, чувствовать свою землю всем телом — он спешил куда-то всю свою жизнь и вот домчался до того места, где можно остановиться. Он ощущал запах забирающегося под полог палатки влажного воздуха. Он чувствовал спиной все неровности земли, на которой лежал. «Моя собственная земля, — повторял он себе. — Мое место. Место Торнхилла».

Но ветер в листве росших на горе деревьев толковал совсем об ином.

• • •

Палатка — это, конечно, хорошо и правильно, но подтверждением претензии на землю был прямоугольник расчищенной и вскопанной земли, на которой произрастает то, чего здесь никогда не росло. У него имелась кукуруза для посева, мотыга, топор, лопата. Оставалось только выбрать полоску земли и открыть ее навстречу небу.

Возле реки была длинная полоса ровной земли,

без деревьев, уже на полпути к тому, чтобы стать полем. Все, что требовалось, — очистить ее от маргариток и вскопать на глубину, достаточную, чтобы она приняла мешок семян.

Как только рассвело, Торнхилл и Уилли отправились к этому месту, Дики тащился следом с мотыгой на плече. Они остановились посреди участка, посмотрели налево, направо: начинать можно было с любого места, просто замахнуться мотыгой, и пусть она вгрызется в почву.

Но Уилли, прикрыв глаза козырьком ладони, смотрел куда-то вдаль. «Глянь, Па, там уже кто-то копал», — сказал он. И это было правдой: здесь имелась полоска разворошенной земли, капли утренней росы по ее краям сверкали на солнце. Он, прищурившись, разглядывал, что было посажено в эту почву, но в ярком утреннем свете разглядеть что-либо было непросто. Там валялось несколько выкопанных маргариток, их толстые корни были оборваны. Он легко выковырнул каблуком еще один, нетронутый, кустик.

Он так мечтал об этом месте, он без оглядки позволил себе его полюбить. И все это время, что он мечтал, сражаясь с ветром, приливами и усталостью, все это время, как оказалось, было поздно. Кто-то другой ступил на эту землю, раско-

вырял ее мотыгой. Как и любую другую надежду, эту у него тоже отобрали.

Он глубоко вздохнул, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Поднял голову к небу, стараясь их прогнать. Он видел, как перед глазами пляшут частицы воздуха.

От полоски растревоженной земли к нему поднимался запах сырости. Черная птица с холодными желтыми глазами повернулась к нему спиной и улетела.

Он снова глянул на потревоженную землю. Она была разрыта не квадратом, не так, как сделал бы вооруженный мотыгой человек. Тот, кто намеревался посеять зерно, не стал бы оставлять вырванные маргаритки — они же снова могут прорасти, а собрал бы их и отбросил в сторону.

Он сам удивился тому, как спокойно прозвучал его голос: «Это работа диких кабанов. Или кротов, кого-то такого». Сказал как бы между делом, как человек, ни в малейшей степени не обеспокоенный разворошенной землей.

Уилли знал, когда отцу лучше не перечить. «А, кроты, значит», — сказал он, но Торнхилл слышал в его голоске недоверие.

Дик, воткнувший было мотыгу в кусты, окликнул их, ветер заглушил его голос. Он подошел,

волоча за собой мотыгу, и уставился на потревоженную землю.

«А здесь копали», — произнес он наконец. Уилли, подойдя к нему сзади, поспешил ответить: «Нет, Дик, Па говорит, что это кроты». Но Дик не расслышал предупреждения в голосе брата и продолжал: «Это дикари. Сажали что-то вроде картошки».

Торнхилл смотрел на землю, которая, высыхая на солнце, становилась серой. Дик, может, и был бы прав, да все знают, что черные ничего не сажают. Они бродят повсюду и едят что подворачивается под руки. Они могут что-то вырыть или сорвать с куста, мимо которого идут, но, подобно детям, не сажают в землю сегодня то, что можно съесть назавтра.

Поэтому они и зовутся дикарями.

Торнхилл наклонился и взял стебель с клубеньками на корнях. «Помолчи, Дик, — сказал он. — Эти никчемушные черные никогда ничего не сажают». Отбросил растение, оно отлетело и, увлекаемое весом корней, шлепнулось на землю.

• • •

Здешняя земля была совсем не похожа на жир-

ную почву Бермондси[13], которая после дождя так и липла к ногам. Эта же была тощей, песчаной и рассыпалась в руках. Кустики маргариток выдирались легко, их корни-клубеньки поблескивали под слоем грязи, и они складывали их сбоку от вскопанного квадрата.

И все равно от этой работы ломило спину. Торнхилл мог налегать на весла, но уже через десять минут ползанья на коленях и взмахов мотыгой он весь вспотел. Солнце поднималось все выше, и хотя еще было утро, жара стояла как в полдень в Англии. Мухи вились вокруг его носа, норовили попасть в глаза. Ему казалось, что еще немного — и шкура у него треснет, потому что он сварится в собственном соку.

Уилли продолжал лихорадочно копать, мечтая поскорее закончить, чтобы вернуться на «Надежду» и засесть там, заплетая концы или законопачивая течи. Дик тоже помогал, но толку от него не было никакого: он по полчаса мечтательно ковырялся на одном и том же месте, улыбаясь чему-то своему.

Они закончили то, что начали то ли кроты, то ли кабаны, и уже после обеда у них был готов

---

[13] Примечания: 13
В VIII–XIX вв. в Бермондси было много парков и садов.

аккуратный квадрат вскопанной земли, готовый под посев, — по площади он был не больше палатки, но это ведь только для начала! Его задачей было не столько собрать урожай, сколько заявить о себе. Все равно что водрузить флаг.

Он послал мальчиков к палатке за семенами и сел полюбоваться результатами трудов. Рядом в траве пикала какая-то букашка — «пик-пик-пик», гудели насекомые. Птица вела рассказ, поднимаясь с ноты на ноту, другая птица скрипела, словно дверь, которую то открывают, то закрывают.

На этой дикой земле, где горы и долины укутывал, словно мятым одеялом, нетронутый лес, не было ничего, что человек мог бы признать человеческим, кроме этого маленького квадрата вскопанной ими земли. Он слышал, как в ушах у него шумела кровь, слышал собственное дыхание.

А потом он увидел, что за ним наблюдают двое черных. И дело было не в том, что они вдруг откуда-то появились — они просто решили стать видимыми. Они чувствовали себя вполне уверенно. Первый, опираясь на копье, стоял на одной ноге, согнув другую, в позе, повторявшей изломанные линии веток. Второй сидел на корточках, неподвижный, как камень.

Торнхилл вскочил. Тот, который стоял, словно ждал этого — он шагнул вперед, седовласый, с тощими жилистыми ногами, впалой грудью старика и круглым животом. Его мужские органы были бесстыдно оголены, и хотя на поясе висел шнурок с нанизанными на него какими-то палочками, он явно не был предназначен скрывать то, что обычно скрывают из скромности. Второй встал — этот был молод, в самом расцвете сил, ростом не ниже самого Торнхилла. Меховая повязка удерживала над высоким лбом копну волос. Грудь и плечи обоих мужчин были украшены рядами светлых шрамов, они мерцали на темной коже.

Они не потрясали, не угрожали копьями — держали их как бы между прочим. Торнхилл не мог понять, что выражают их лица. Глаза их прятались под тяжелыми бровями, большие рты не улыбались. Они безо всякого страха стояли прямо перед ним. И ситуацией владели они.

Торнхилл вытер ладони о штаны. Почувствовал утолщение в том месте, где были швы. Это успокаивало. Он снова вытер ладони, потом сунул руки в карманы. Теперь, когда он убрал руки и никто не мог их видеть, он почувствовал себя менее беззащитным. Где-то там, на краю сознания,

мелькнул образ — он сам забивается в карман, теплый, темный и безопасный, сворачивается там клубочком.

Где-то в казуарине словно в изумлении заверещала птица, по листьям пробежал легкий ветерок. Он понял, что ничего не остается, как только идти к этим людям, уговаривая их успокаивающим голосом, как бродячих собак. «Хороший, хороший парень, не тряси копьем, — говорил он, обращаясь к молодому. — Я бы напоил тебя чаем, только у нас и чая-то нет».

Но старик прервал его, как будто его слова значили не более чем шорох ветра в деревьях. И заговорил сам. Он говорил долго, но негромко, слова были гладкими, как его кожа, у них не было четких краев. Говоря, он мягкими, текучими жестами указывал на реку, на горы, проводил ладонью, будто разглаживал покрывало на постели. Торнхилл вспомнил, как мистер Миддлтон объяснял, как ведут себя течения на Темзе.

Но эти слова, обтекая его, все равно не имели для него смысла, и начали его раздражать. Он почувствовал себя идиотом. Чтобы справиться с этим чувством, он принялся перекрывать слова старика своими словами, теперь более громкими: «Старина, — начал он. Ему понравилось, как это

прозвучало — “старина”. Он никого и никогда не называл “стариной”, как это делали всякие джентльмены. — Прости, но я ничего не понял!» Так, вроде как в шутку, говорили благородные господа, когда не хотели платить за то, чтобы он греб быстрее.

Он замолчал, а мужчины смотрели на него, ожидая продолжения. Он облизнул губы, заставил себя продолжать: «Дружище, я тебя не понимаю, ни одного словечка». Тут его посетила мысль, от которой он чуть не расхохотался. «С таким же успехом ты мог бы просто лаять», — заявил он. И почувствовал, как щеки растягиваются в улыбке.

Старик шутку не оценил. Он наморщился, длинная верхняя губа искривилась, отчего у него на лице появилось брезгливое выражение. Он заговорил вновь, и его речь загасила веселье в Торнхилле, как вода гасит пламя. Он сделал ладонью несколько рубящих движений и показал на вскопанный участок и груду увядающих маргариток. Теперь его голос уже не был похож на ручей. Скорее он напоминал рокот катившихся с горы камней.

Торнхилл указал на утес, на поблескивающую меж деревьями реку: «Вот это теперь моя земля.

А все остальное — ваше». Он нарисовал в воздухе квадрат, показал, где начинаются и кончаются его сто акров.

Что там говорить: его участок был ничтожной крохой среди огромного Нового Южного Уэльса.

Но эта речь не произвела на старика никакого впечатления. Он даже не посмотрел, куда показывал Торнхилл — он и так знал, что там находится.

Послышался топот и крики — Уилли и Дик мчались с горки с мешком семян. Увидев черных, они сразу посерьезнели. В проеме палатки показалась Сэл с младенцем на руках. Торнхилл увидел, как на лице ее проступает ужас. Она сграбастала Братца, который собрался куда-то бежать, и развернула его так резко, что его тощая ручонка почти выскочила из сустава. Отпустила она его только для того, чтобы перехватить Джонни, намеревавшегося последовать за братом.

Черные вроде как чего-то ждали. Торнхилл не знал, что можно им предложить. Мотыга, топорик, лопата — все это было слишком ценным. Он пожалел, что не захватил из Сиднея ничего уместного в такой ситуации. Бусы, например. Он слыхал, что черным дают бусы. Или зеркала.

И чего ему стоило прихватить пригоршню бу-

син и пару зеркалец?

А Сэл крикнула ему от палатки: «Дай им немного солонины! На, Уилл, вот мясо», — она уже шла к ним, держа в одной руке младенца, а в другой кусок солонины. Именно так она обращалась с Шелудивым Биллом. Что-то подсказывало ему, что эти двое сильно отличаются от Шелудивого Билла, но, по крайней мере, свинину — не самую свежую, но еще вполне съедобную — вполне можно было им дать. Если повезет, они возьмут ее и уйдут. «Ну-ка, Уилли, быстрей, тащи сюда мясо», — сказал он. И сам услышал в своем голосе страх.

Подношение в виде куска солонины и подгорелой корки лепешки означало шаг вперед — по крайней мере, черные его приняли. И стояли, держа пожертвование в руках. Похоже, они не поняли, что солонина — это еда. Торнхилл продемонстрировал им, что делать с мясом, лично откусив кусочек, в горле у него так пересохло, что он с трудом его проглотил. Однако демонстрация не заставила их ничего съесть.

Через какое-то время молодой положил свой кусок на землю. Понюхал пальцы, сморщил нос, вытер руку о траву. Что правда, то правда: солонина уже вся посерела, а в каких-то местах даже

позеленела. Они и сами, когда ели, старались не дышать, чтобы не чувствовать запаха.

Похоже, черные ждали совсем не этого.

Торнхилл вспомнил, что у него в кармане есть пара монет — пенс и серебряный шестипенсовик, это, конечно, не бусы, но может сработать. Он уже запустил руку в карман, как Уилли крикнул: «Ах ты, ворюга, а ну-ка верни!» Потому что старик взял лопату. Уилли схватил его за локоть и попытался со всем юношеским пылом отобрать лопату. Старик вырвался, но лопату не отпустил.

Он принялся сердито кричать, повторяя одно и то же слово, и Уилли кричал в ответ прямо в лицо, обрамленное седой бородой: «Отдай, отдай сейчас же!» Два потока слов сталкивались, как река и море, бурлили и поднимали муть.

Утро закручивалось в тугую спираль паники. Людей было слишком много, а языков, с помощью которых они могли бы понять друг друга, слишком мало. Он услышал, как сам кричит: «Нет!» Он кричал «нет» самому этому моменту, когда все рушилось, ускользало из рук. «Оставь его, Уилли!» — крикнул он и бросился к старику. У него не было никакого плана, и он сам с удивлением обнаружил, что схватил старика за плечо. Плечо было теплым и мускулистым. Он шлепнул

по плечу, один раз, и оказалось, что шлепать легко и просто. Он шлепал, показывал на лопату и кричал: «Нет! Нет! Нет!»

Шлепки звучали как медленные ироничные аплодисменты.

Казалось, сам воздух на берегу изменился. На лицо старика набежала тень. Его рука выхватила из-за шнурка на поясе изогнутую деревянную дубинку. Молодой сделал шаг вперед, воздел копье и замер, стоя на цыпочках. Лицо его было мрачным. Из-за деревьев до Торнхилла донеслись звуки, как будто кто-то колотит палкой о палку, и он понял, что такие звуки издают копья, когда их поднимают готовые к броску невидимые руки. Он услыхал, как вскрикнула Сэл, тоже различившая эти звуки, как взвыл Джонни, прежде чем мать успела закрыть ему рукой рот.

Это был страшный миг. Но потом старик издал возглас, выражавший отвращение, развернулся и пошел прочь, бросив лопату. Он сделал всего шаг и растворился в лесу, в пляске теней и света. Лес закрылся за ним, словно занавес.

А молодой остался. Рука, сжимавшая копье, все еще была напряжена, все еще готова к броску. Он подошел так близко, что Торнхилл почувствовал его звериный запах и разглядел, из чего состоял

наконечник копья — склеенные чем-то вместе острые камни и, что Торнхилл отметил с каким-то отстраненным удивлением, осколочки стекла. Молодой сначала толкнул Торнхилла в грудь, а потом трижды сильно шлепнул по плечу. Это было зеркальным отражением того, что Торнхилл только что проделал со стариком.

Молодой говорил громко и сердито и взмахивал той рукой, которой хлопал Торнхилла по плечу. На любом языке, где бы то ни было, этот жест означал только одно: «Пошел вон». Этот жест понимали даже собаки.

Они смотрели друг на друга, в лице черного была сила и злость. И вдруг он развернулся и вслед за стариком исчез в лесу. И ни ветка не хрустнула, ни лист не прошелестел, тронутый ногой. Вот он был здесь, с яростью на лице и копьем в руке, и вот остался только лес, и птица, заливающаяся трелью, будто ничего и не произошло.

Личико Братца показалось из-за юбки Сэл. «Почему они нас не закололи, Па, они же могли?» Джонни открыл было рот, чтобы зареветь, но Сэл так резко взъерошила ему волосенки, что его голова качнулась у нее под рукой. «Они и не собирались нас закалывать! — вскричала она, и Торнхилл услышал в ее голосе радость и об-

легчение. — Мы дали им припасы, и потому они оставили нас в покое, разве не так, Уилл?»

Он не понимал, до какой степени она сама верит тому, что сказала, или это говорилось только для того, чтобы успокоить детей, однако был рад с нею согласиться: «У нас все будет хорошо. Они сунулись только потому, что захотели лопату, вот и все». Он схватил лопату и глубоко вонзил ее в землю: «Сунулись — и ушли».

Он говорил твердо и уверенно, но тишина поглотила его слова.

• • •

На следующее утро Торнхилл снова проснулся на заре и выполз из палатки: за ночь она просела еще больше. На траве лежала обильная роса. Каждый листик на каждом дереве светился. Над рекой стелился туман, но на палатку падали пробивавшиеся сквозь листву солнечные лучи, и все вокруг нее было окрашено в нежно-зеленый цвет. В небе над рекой, раскинув крылья и вытянув длинный клюв, невозмутимо парил пеликан.

За ночь вокруг палатки вырос целый лес молодых деревцев. У него свело живот, когда он понял, что это такое — копья, воткнутые с такой силой, что наконечники глубоко ушли в землю.

Он начал быстро выдергивать их из земли. В руках они выглядели так реально, деловито, он не собирался представлять, как они летят по воздуху. Он от них избавится, как если бы их и не было. Он уже вытаскивал последнее копье, как от палатки раздался голос Уилли: «В следующий раз это будем мы, да, Па?»

Он глянул на утес на той стороне реки, на покрывавший гребень горы мрачный лес. «Если бы они захотели причинить нам зло, мы бы здесь сейчас с тобой не стояли, — сказал он спокойно и выдернул последнее копье. — Это вообще ничего не значит». И он бросил копья в огонь — обыкновенная груда хвороста. Но в том месте, куда могло бы угодить копье, он чувствовал холод.

Уилли не ответил. Торнхилл подумал о Сэл, о том, как она выскочила из палатки с солониной для черных, о ее уверенности в том, что так надо. «Не стоит пугать мать тем, что могло бы случиться, да не случится никогда», — предупредил он. Мальчик глянул на него с удивлением, и Торнхилл сам поразился тому, что сказал. Когда Сэл услышала перестук копий в лесу, на ее лице промелькнул страх, и он не желал больше видеть у нее такое выражение. «Она у нас такая добрая и нежная, — сказал он тоном “мы же с

тобой мужчины!”. — Не стоит волновать ее по пустякам, договорились?» Уилли кивнул и затер пяткой одну из проделанных копьем дыр, так что теперь она выглядела как остальная земля. «Да, Па, договорились, — согласился он. — Она нипочем не догадается».

Они заметили дымок, поднимавшийся откуда-то с Первого Рукава, но оба отвернулись. Копья весело горели в костре. «Сегодня нам надо посеять зерно, сынок», — сказал Торнхилл. Уилли кивнул, стараясь не смотреть отцу в глаза.

• • •

Торнхилл не очень-то доверял высохшим зернам кукурузы, которые закупил в Сиднее. Трудно было представить, что такие безжизненные, похожие на камешки кусочки могут превратиться в початки, в которые может вонзить зубы человек. Уилли озвучил его сомнения: «Нас надули, Па, эти штуки никогда не прорастут».

Уилли, хоть и был уже почти взрослым, пока еще не овладел искусством взрослых когда надо держать рот на замке.

Торнхилл наклонился и большим пальцем вдавил зерно в землю. «А мне без разницы, прорастет оно, или нет, — беззаботно объявил он. — Глав-

ное, чтобы все поняли, что Уильям Торнхилл захватил это место первым».

• • •

Сэл устроила то, что она назвала «двором», — кусок земли, который очистила от травы и подметала до тех пор, пока он не стал совершенно гладким. Там она соорудила что-то похожее на дом: очаг, обложенный камнями, куда она на угли ставила чайник и котелок, поставила бочку, которую наполняли водой из ручья, на пару камней водрузила отпиленный от бревна кусок дерева, выполнявший обязанности стола. Она готовила, мыла, мела, восседая на обрубке бревна, чинила детскую одежду или лущила початки, как любая домохозяйка.

За пределы двора она отлучалась только по нужде, и то ненадолго. Торнхилл видел, как она спешила обратно, взгляд ее скользил по лесу, скалам, утесам, небу, пока не останавливался на столе, или на палатке, или на ком-то из детей. На это она могла смотреть, все прочее оставалось для нее невидимым. Он наблюдал за ней, за тем, как она старательно отворачивалась от деревьев, шелестевших на ветру.

Подобно узнику, она завела себе особое место —

гладкий кусок коры на растущем возле палатки дереве, — на котором она отмечала прошедшие дни. Каждый вечер она подходила к дереву с ножом и, не торопясь, проводила аккуратную линию. В первый же воскресный вечер она перечеркнула шесть уже существовавших линий. Похоже, ей нравилось, как лезвие режет бледную кору.

Он слышал, как она сказала Уилли: «Пять лет — это двести шестьдесят недель. И первая уже почти закончилась». Дни шли за днями, Торнхилл надеялся, что она позабудет сделать очередную отметину. Порою день уже кончался, и он полагал, что она наконец-то забыла, но потом он видел, что она хватает старый нож с отломанным кончиком и направляется к дереву.

Если она на обратном пути ловила его взгляд, то ничего не говорила, зато улыбалась. Он улыбался в ответ, и тоже ничего не говорил. Раньше у них никогда не было секретов друг от друга, они делились всеми своими мыслями. Он полагал, что молчание входит в цену, которую им придется платить за то, что они получат в результате, и что это — временно.

А не говорили они о том, что она чувствует себя узницей, отмерявшей дни, проведенные на

утоптанном пятачке земли, но молчит, потому что не хочет, чтобы он считал себя тюремщиком. Молчанием она защищала его от себя самой.

И если она сама не хотела говорить об этом, то что мог сказать он? Разве мог он сказать: «Прости, если то, чего я хочу больше всего на свете, стало для тебя тюрьмой»? Сказав это, он должен был бы сказать и другое: «Так что давай лучше вернемся в Сидней».

За улыбкой Торнхилла прятался страх провала — что будет, если зерно не прорастет, если «Надежда» потерпит крушение? Он привез их сюда, но мог ли он организовать их существование?

Но через две недели после того, как он понапихал в землю сухие сморщенные семена, из каждого пробились ярко-зеленые трубочки-росточки, достаточно сильные, чтобы пронзить слой почвы. Время он выбрал удачное: с каждым днем становилось все теплее, во влажной жаре листья, казалось, росли на глазах. Он посылал мальчиков поливать посадки — речная вода была слишком соленой, так что воду для полива тоже брали из ручья. Он надеялся, что, когда посадки подрастут, их уже не надо будет поливать. Пойдут дожди, обещал он мальчикам, весной всегда много дождей. Но пока что каждый вечер

они бегали с ведром вверх-вниз.

Он уговорил Сэл спуститься и посмотреть на ростки, но видел, что нежные зеленые трубочки не тронули ее так, как взволновали его. Он наблюдал, как она спешит наверх, к палатке, стараясь не смотреть на подступавшие ко двору деревья.

Она боялась, что малыши забредут в лес и потеряются, и за неимением забора привязывала Братца и Джонни длинными веревками к дереву-календарю. И не ела ничего, кроме того, что они привезли с собой: солонину, муку, из которой пекла лепешки, сушеный горох. Как-то раз он предложил ей попробовать зелень, что росла у реки, — по вкусу она напоминала петрушку. Но она отказалась. «Подожду, пока вырастет кукуруза, — сказала она, улыбаясь. — Мне хватает и того, что у нас есть». Он обрадовался ее улыбке, но понимал, что она говорит о чем-то большем, чем ожидание урожая, — о том, что готова ждать пять лет, пока не кончится ее срок.

Во сне она видела покинутые ими места, и, свернувшись клубочком рядом с ним, оттягивая минуты, когда надо будет начинать новый день, она пересказывала ему свои длинные путаные сны: «Я была в проулке за нашим домом, — начинала она, или: — Я шла мимо “Викери”, ну

тем, что за углом от нашего старого дома…» И он слышал, каким нежным становился ее голос.

Теперь, когда проросли первые семена, надо было расчистить участок побольше и посадить больше семян, уже не как знак владения, а чтобы вырастить настоящий урожай. Как только они это сделают, Торнхилл сможет заняться сооружением чего-то более надежного, чем палатка. В противном случае Сэл больше не сможет изображать веселость и оживление.

Никто из них не напоминал о черных. И они тоже не показывались. Порой ему казалось, что если не произносить этого слова — черные, то можно считать, что их вообще не существует.

Но все они чувствовали, что за ними наблюдают. Время от времени кто-то из них замирал, подкладывая хворост в костер или жуя лепешку, и вглядывался в гущу деревьев. Было здесь что-то такое: чем больше вглядываешься, тем обманчивее тени. Снова и снова Торнхиллу казалось, что он кого-то заметил. Он уже приподнимался, глядя в ту сторону, но то, что он принял за чью-то фигуру, превращалось в переплетение угловатых ветвей.

• • •

Та сотня акров, которую Торнхилл решил сделать собственной, начиналась с плодородной земли у реки и заканчивалась у подножия горы. Мягкий склон вдруг превращался в крутой подъем, усыпанный обломками огромных камней и поросший могучими деревьями, доставшими до самого неба.

Первые несколько недель были заняты тяжелыми работами — он копал землю, корчевал кусты, вырубал молодые деревья. Неусыпными заботами мальчиков посадки быстро шли в рост. Торнхилл подумал, что фермерство оказалось довольно немудрящим занятием. Это же надо — еда растет сама, стоит только чуть-чуть приложить руки! Ему даже стало смешно, и он наклонился пощупать листья кукурузы, гладкие и прохладные наощупь.

И как только они с Уилли вскопали и засеяли кукурузой новый участок, а он заготовил из молодых деревцев двадцать столбиков, которых, как он подсчитал, хватит на то, чтобы начать строить хижину, он позволил себе отправиться на гору. Он давно предвкушал эту прогулку: под ним простирается мыс Торнхилла, дикая

природа, уже проштемпелеванная квадратами посадок. Когда он глянет вниз и подумает: «Все, что я вижу, — мое», он по-новому почувствует, что владеет чем-то.

Но путь наверх то и дело преграждали огромные валуны и нависавшие над головой серые скалы. Рядом с ними любой почувствует себя ничтожным муравьем, упорно карабкающимся вверх и вниз, пока что-то или кто-то его не поглотит. Он и почувствовал себя слишком маленьким, однако заставлял себя двигаться дальше, цепляясь за скалы, хватаясь за ветки и кустики жесткой травы. Он слышал только собственное хриплое дыхание. Рука была мокрой от крови — он поранился о траву, пытаясь подтянуться на слишком крутом участке. Трава была острой, она разрезала руку, словно только что наточенный нож.

В конце концов он уселся на ровную каменную платформу, которая огибала гору, словно ступенька. Небо над ним раскрыло свои голубые страницы, исписанные облаками. В послеполуденном солнце сияли оранжевые утесы. Под ним четко вырисовывался большой палец-мыс, река огибала его справа и слева. Он видел Сэл, уменьшенную расстоянием, она согнулась над корытом, установленным на импровизированном

столе, он видел Уилли, который стоял, опершись на мотыгу, вместо того чтобы вскапывать под посадку еще один ряд.

«А я тебя вижу, Уилли, — произнес он вслух. — Господи, парень, я тебя отсюда вижу».

Как ни странно, эха не было. Он откашлялся, прочищая горло.

Огромный медового цвета муравей выбрался из трещины в лежавшем у его ног камне и побежал зигзагами, словно пытаясь зашить эту трещину. Длинные угловатые муравьиные ноги легко несли круглое тельце. Именно из-за муравья он и заметил глубокую свежую царапину на скале. Сначала он решил, что эту отметину оставил дождь или ветер, но потом увидел, что линия соединяется с другой линией, а та — со следующей, бежит дальше. Даже когда он увидел, что эти линии, соединяясь, становятся похожи на изображение рыбы, он все равно изумился тому, как природа смогла сымитировать рисунок. И только когда он разглядел плавник на рыбьей спине, острыми пиками и формой похожий на плавник леща, он понял, что это — дело рук человека.

Он прошел по всей длине рыбы, четыре или пять ярдов. Линии были не просто царапинами — их высекли в серой шкуре скалы, они были

шириной и глубиной не меньше дюйма и выглядели совершенно свежими, вполне возможно, рисунок рыбы высекли прямо сегодня утром. Из-за выпуклости в скале казалось, будто рыба плывет против течения, ее длинная пасть вот-вот откроется, станут видны острые зубы.

А там, где у рыбы был хвост, имелись другие линии, переплетавшиеся в треугольники или прямоугольники, они были ни на что не похожи — пока он не зашел с другой стороны. И тогда он увидел, что это рисунок «Надежды». Тот же изгиб носа, мачта, парус, надутый добрым ветром. Даже линия румпеля, наклонившегося над кормой. Не было только Уильяма Торнхилла, румпель державшего, прислушивавшегося к кряхтенью канатов и глазеющего на лес, пока идет вверх по реке.

Он услыхал собственный вскрик, вопль негодования. Подобный же вскрик он слышал когда-то от джентльмена на Фиш-стрит-Хилл, когда Уильям Уорнер вытащил у него из кармана часы.

Наблюдавший за ним лес поглотил этот вскрик, как будто ничего и не было. Он пытался ногой затереть линии, но они уже стали частью скалы.

Он огляделся. Никто на него не смотрел, кроме вечных деревьев и воздуха под ними, где свет

играл с тенями.

И тут только до него дошло, что это место могло казаться пустынным, но не для того, кто врезал рыбу, румпель и парус «Надежды» в скалу. Это место было ничуть не более пустынным, чем любая лондонская гостиная, из которой хозяин дома только что перешел в спальню. Его в данную минуту не видно, но он все равно здесь.

Далеко внизу Сэл выпрямилась и отошла к веревке, на которой сушила белье. Саму веревку он видеть не мог, видел только пеленки, принимавшиеся плясать на ветру, по мере того как Сэл их развешивала. А потом, после того как Сэл зашла в палатку, ветер стих, и они спокойно повисли.

Он мог бы рассказать ей о рыбе, даже привести сюда, чтобы она увидела собственными глазами. Но пока что он не станет этого делать. Она достаточно спокойно чувствовала себя в своем маленьком круге утоптанной земли, так стоит ли показывать ей другой мир?

Он начала понимать, что недоговоренности между двумя людьми возникают тогда, когда один из них ступает на тропу, по которой проще идти вперед, чем вернуться назад.

• • •

На четвертую неделю их пребывания на берегу Хоксбери, когда хижина еще была не достроена, к ним заявился первый посетитель. В один прекрасный день к ним пришел Барыга Салливан с подарками для дома — несколькими поздними апельсинами из его рощи, пакетом зеленого порошка от крыс и бочонком извести. В отличие от Торнхилла он соображал, какую ценность для женщины представляют отбеливатель и средство против грызунов.

Он приплыл с приливом и поднялся от реки с бочонком на плече, следом за ним трусила его собака. Теперь, не в лодке, стало видно, до чего он низкорослый, с телом мальчика и узким лицом взрослого мужчины. На свой манер он выглядел даже щегольски, приоделся к визиту в лучшее — в синюю куртку с позолоченными пуговицами, такую тесную под мышками, что он походил на солдата на параде, и в грязную красную рубаху, застегнутую на все пуговицы.

При обычных обстоятельствах Сэл вряд ли проявила бы благосклонность к Барыге. Но сейчас она встретила его как старинного друга. «Сними свою дурацкую куртку, Барыга, — сказала она,

заметив, что Барыга обливается потом. — Какие церемонии между друзьями».

Она вручила малышку Дику и засуетилась вокруг Барыги — усадила его на лучшее место на бревне, которое пока что было их основным предметом обстановки, поставила на огонь воду, чтобы сделать чаю, замесила пышки из драгоценной пшеничной муки.

Барыга вольготно расположился на бревне и благосклонно принимал заботу. Да, он выпил бы чайку, и да, конечно же, как и всякий разумный человек, он любит пышки, и уж точно не против глоточка рома время от времени. Он полюбовался на малышку, показал Дику фокус с большим пальцем — как он то исчезает, то появляется. Торнхилл тоже присел, вежливости ради, но ему все равно надо будет скоро идти обтесывать очередное деревце.

Барыге — это было видно сразу — явно не хватало общества. Болтал он без умолку. Рассказал свою историю, как его прихватили на Майл-Энд-Роуд с коробкой, которая выпала из повозки. Он, невинный как младенец, собирался вернуть ее хозяину «Но кто ж поверит бедному человеку, да, Торнхилл? — и подмигнул Сэл. — Ах, миссис Торнхилл, слово даю, у вас отличнейшие пышки!»

Торнхилл наблюдал за ним с кислой физиономией, полагая, что пышки восхваляются только ради того, чтобы ему снова передали блюдо, но потом понял, что таким образом Барыга выражает свою благодарность за то, что его взяли в компанию. «Я всегда любил поболтать с людьми», — заявил он и улыбнулся неожиданно приятной улыбкой, отчего его узкая морщинистая физиономия расправилась, словно цветок. Это была улыбка простодушного мальчишки, на котором жизнь оставила свои отметины.

Псина у Барыги была большая, пятнистая, по кличке Мисси. Барыга ее явно обожал. Собака сидела у его ног, пока он все говорил и говорил, а он скармливал ей маленькие кусочки, отрывая от своей пышки, почесывал за ушами. «Лучшая собака на свете, — сказал он. — Не дает спятить в этом богом забытом месте». Собака щурилась от удовольствия.

Сэл рассказывала Барыге обо всем — о Суон-Лейн и доме Батлера, о том, какой Дик оказался разумный и смирно сидел у нее в животе до самого Кейптауна, почему свой кабачок в Сиднее она назвала «Маринованной Селедкой». Она показала ему зарубки на дереве, под которым он сидел, и сделала при нем сегодняшнюю зарубку,

хотя день еще только клонился к вечеру.

Торнхилл впервые увидел, как ей недостает людей. Это же словно маленькая смерть — не иметь возможности превратить в приключение всякие факты жизни и рассказать об этих приключениях другим. Торнхилл удивился боли, которую он почувствовал, когда услышал, как потеплел ее голос, как засветилось лицо — с того момента, как они перебрались на реку, ее лицо еще ни разу не было таким оживленным.

Она никогда не жаловалась на одиночество. А он и не думал спрашивать. Это было частью той зоны молчания, что пролегла между ними.

Через какое-то время Дику надоело сидеть с малышкой, Сэл взяла ее, а Дик помчался играть с братьями в бабки. Теперь, когда дети не могли его услышать, Барыга перешел на другую тему — на черных. Казалось, не существовало ни одной страшной истории про черных, которую он с удовольствием не пересказал бы.

Они заживо оскальпировали двух человек на Саут-Крик, они украли младенца из колыбельки, перерезали ему горлышко и выпили всю кровь. Торнхилл представил себе эту картину: черные рты, приникшие к белой плоти. Когда он надавил на Барыгу, тот признался, что сам ничего такого

не видел, но эту историю ему рассказал один человек, который видел, так вот он божился, что все это правда. А возле Каупасчерз они поймали белую женщину, разрезали ее, достали из живота плод и съели. Сам он этого тоже не видел, но клялся, положив руку на красную фланелевую рубашку, что об этом писали в «Газетт», значит, это истинная правда.

В стремлении доставить удовольствие публике Барыга не заметил, как погрустнела Сэл. Она сидела на бревне и прижимала Мэри к себе так сильно, что это обычно спокойное дитя даже расплакалось. Торнхилл понял, что с этим пора кончать, и, взглянув в глаза Барыге, когда тот принялся плести очередную историю, голосом, даже более суровым, чем намеревался, сказал: «Хватит, Барыга! — и добавил, стараясь смягчить интонацию: — Ты и так уже напугал до смерти!»

Барыга заткнулся, а потом принялся уверять Сэл: «Ой, не беспокойтесь, миссис Торнхилл, пока у мистера Торнхилла под рукой ружье, бояться вам нечего!» Это было совсем не то, что Торнхилл хотел бы услышать в качестве утешения для Сэл, и потому ничего не ответил, а только отвел взгляд в сторону, однако Барыга намека не понял. «У меня три ружья, — похвастался он. — Я все время

держу их наготове и буду стрелять, если кто-то из черных хоть поблизости покажется».

Торнхилл уже с удовольствием придушил бы Барыгу. «Хватит», — повторил он, но Барыга, опьяненный возможностью поговорить, снова обратился к Сэл: «Плетка, вот что! Плетка тоже годится, чтобы гонять черных дикарей! — для убедительности он кивнул ей и осклабился: — И еще собака. Вот моя Мисси, я ее специально натаскал на охоту на черных».

Хозяева молчали. Торнхилл заткнул пробкой бутылку с ромом, но Барыга выпил, что у него там было, и снова подставил кружку. «Слушай, Барыга, вода скоро повернет в другую сторону, — сказал Торнхилл. — Смотри упустишь отлив». Наконец, громко и неоднократно прощаясь, Барыга забрался в лодку и скрылся в подступающих сумерках.

Они оба молчали. Барыга заполнил все пространство шумом и, уехав, оставил позади себя зеркальное отражение шума — тишину, эхом отозвавшуюся на его страшные рассказы.

Когда дети уснули, с шуршанием прижимаясь друг к другу на своих матрасах из сухой травы, муж и жена тоже легли. Это время дня Торнхилл любил больше всего. Весь безмерный

мир сжимался до пламени маленького фитилька. Тени окутывали парусину их палатки, их пожитки, грудой лежавшие на земле, само их существование переставало быть таким убогим. Сэл снова превращалась в молодую девушку, ее прекрасный рот искренне улыбался. Он резал привезенный Барыгой апельсин и скармливал ей долька за долькой. Ему приятно было наблюдать, как она ела, лежа на боку и опершись на локоть, ему нравился запах апельсина, горячий и густой, запах солнца.

Но когда апельсин был съеден, она вдруг помрачнела и, глядя на огонек лампы, сказала, выдавив из себя смешок: «Этот Барыга… Вот уж сплетник — так сплетник!» И глянув на него, спросила: «Это все вранье, да?»

Он слышал в ее голосе и надежду, и сомнение. И постарался придать своему больше убедительности: «Все это вранье, никогда ни о чем таком не слыхал, уж поверь мне, милая». Он никак не мог забыть о руках, которыми похвалялся Барыга, и о болтавшемся на дереве черном мешке, который когда-то был человеком.

Она отвернулась от лампы, глядя в тот угол палатки, который как-то раз подгорел. Профиль ее вырисовывался сейчас четко, как на монете. Она

снова заговорила, но так тихо, что он едва расслышал: «А когда он заговорил про плетку… — и она потерла губу, словно пытаясь стереть слова, которые ей вспомнились. — Мне совсем не понравилось выражение у него на лице, — она прямо посмотрела на Торнхилла и сказала: — Ты, конечно, можешь считать меня глупой женщиной, Уилл, но пообещай, что такого ты никогда делать не будешь».

Он вспомнил то утро, когда повесили Колларбоуна, тот бесконечный ужас. Но когда Сэл спросила его, как все прошло, он ответил: «Быстро и легко». Какой был смысл рвать ей сердце правдой?

Сейчас, в уютном свете лампы, когда ночь оставалась за стенами палатки, а живот приятно согревало спиртное от Блэквуда, ему легко было дать обещание. «Да никогда, — сказал он. — Никогда, и точка». И она расслабилась и сразу же заснула, прижавшись к нему. Она была такой легкой, прямо как ребенок, а он лежал и смотрел на тени.

• • •

В том, чтобы соорудить хижину из коры, казалось, не было ничего хитрого, пока не начинаешь ее строить. На каждой стадии Торнхилл стал-

кивался со сложностями, которые никак не мог предвидеть. Почва оказалась слишком каменистой, чтобы вбить в нее вертикальные колья, но при этом в ней было слишком много песка, чтобы их удержать. Молодые деревца, из которых он вытесывал колья, в лесу выглядели совершенно прямыми, но на поверку оказались кривоватыми, кора крошилась, когда он обрывал ее с деревьев.

Рубя, зачищая, строя, он становился новым Уильямом Торнхиллом — человеком, который своим трудом смог обуздать дикую природу и вырвать у нее жилище для своей семьи. Круг расчищенной и утоптанной земли рос с каждым днем. Они заполнили пространство своими звуками — звуком топоров, рубящих деревья, треском огня, когда они жгли обрубленные ветки, глухими ударами мотыги, вгрызающейся в землю. У них ушло несколько дней на то, чтобы подготовить под посадку большой участок, а потом они обнаружили, что кто-то прогрыз дыру в мешке с семенами и сожрал бóльшую их часть, так что с посадкой придется подождать, пока Торнхилл не сплавает в Сидней.

К тому времени когда Сэл зачеркнула пятую неделю, во дворе стояла хижина. В ней пока не было ничего из удобств, которые он собирался

устроить — ни занавесок из коры на кожаных петлях, которые можно откидывать, чтобы впустить свет, ни очага, ни трубы. Все это могло подождать.

Но хижина — вот она, стоит на утоптанной земле, такая новенькая на фоне леса, ну а если чуть кривоватая, так это как посмотреть.

По крайней мере, никому и в голову теперь не придет, что это место пустует.

Внутри хижины и атмосфера была другой. Снаружи неумолчное птичье пение, шумы, шорохи, треск вились вокруг человеческой жизни, как вода вокруг камешка. Но войдя в хижину, человек снова становился чем-то отдельным от этого места, перемещаясь в атмосфере, созданной им самим.

И лес тоже изменился. Снаружи взгляд смущало слишком много подробностей, каждый лист, каждая травинка отличались друг от друга и все же были одинаковыми. Но в обрамлении дверного или оконного проема лес становился чем-то, что можно разглядывать по частям и чему можно давать имена. Ветки. Листья. Трава.

По ночам, при дымном свете лампы, когда в руке была кружка рома, а во рту — набитая трубка, хижина становилась очень приветливой. Он был

готов ею гордиться.

Однако при свете дня, и он это признавал, выглядела она не очень. Кора курчавилась, словно это была не хижина, а шкура какого-то большого медлительного животного, и изнутри она тоже смотрелась еще не выделанной шкурой. Куски коры уже покоробились, сжались, щели образовались такие, что сквозь них вполне можно было просунуть руку. Различие между внешним и внутренним было не настолько явным, как он надеялся. Однажды утром Уилли и Дик встали со своих набитых соломой матрасов, и за ними заскользила длинная черная змея, словно считала себя еще одним мальчиком, ожидающим куска поджаренного хлеба и кружки чая. Всей семьей они, окаменев, смотрели, как длинное тускло-черное тело неспешно проползло по земляному полу, обвилось вокруг тарелки, а потом выползло через дыру в стене.

Сэл очнулась первой. «Там есть глина, — сказала она. — Вокруг места, откуда мы носим воду. Уилли и Дик, отправляйтесь туда после завтрака, и мы замажем все щели». Она говорила это так спокойно и уверенно, будто изгнание из дома змей было делом совершенно рядовым.

Она не переставала его изумлять.

«Мы замажем только внизу, чтоб змеи не пробрались, — добавила она. — Змеи же не могут прыгать, да, Уилл?» Это была хорошая шутка. «А теперь дверь, — она повернулась к дверному проему, где занавес из коры так скрутился, что под ним вполне могла бы проползти и Мэри. — Мы внизу надбавим еще кусок. Ну вроде как пришьем. К тому же это не навсегда, — небрежно произнесла она, как будто во всем этом было что-то забавное. — Это временно, пока не уедем».

От этих слов в нем что-то дрогнуло. Когда они говорили об этом, лежа в постели в «Маринованной Селедке», пять лет казались огромным сроком. Но сейчас, когда на дереве появлялось все больше зарубок, пять лет уже не выглядели слишком щедрым обещанием.

• • •

Торнхилл, видя, как Сэл страдает от одиночества, радовался даже компании Барыги Салливана. Он позволил Барыге рассказывать всем об их гостеприимстве, и в первое же воскресенье после того, как они перебрались в хижину, к ним заявилась целая толпа соседей. Поразительно: они появились из ниоткуда, словно жуки из куска дерева, как только прошел слух о том, что

спиртное здесь наливают щедро. Что до него, так он спокойно мог бы пережить и без них, но ради Сэл был готов их принимать.

Первым прибыл Барыга в своей тесной синей куртке — для него, похоже, было вопросом чести приходить и уходить в ней, хотя Сэл, завидев его, тут же предложила куртку снять, и Барыгу не пришлось упрашивать. По мере появления других соседей Барыга их представлял, и его облупленная физиономия раскраснелась от удовольствия.

Вот Биртлз, крупный мужчина с огромными ушами, густой порослью на физиономии, но лысой головой. На затылке лысина была вся в крупных морщинах и походила на бульдожью морду. Биртлз — это была фамилия, а Барыга представил его по кличке — Головастый. И чтобы беседа завязалась, рассказал историю прозвища. Оказывается, когда Биртлз был еще мальчишкой, некий священник из Степни за что-то там назвал его головастым, и Биртлз обиделся — он такого слова не знал, и ему показалось, что священник над ним издевается, пока тот не объяснил, что это не насмешка, а похвала. Вот слово к нему и прилипло.

Однако жизнь показала, что Головастый не так уж разумен и прозорлив. Его застукали на краже

четырех мешков сажи, собранной на Милл-стрит в Степни и приговорили к трем годам в кандалах на Земле Ван-Димена. Шрамы от железных браслетов у него на щиколотках были еще хорошо заметны. Сейчас он обосновался на Диллон-Крик, на куске плодородной земли за горой, где выращивал пшеницу и держал парочку свиней. Чтобы доставить урожай к лодке, которая отвозит зерно на рынок, ему приходилось в одиночку перетаскивать мешки на закорках через гору, и в результате он согнулся, словно клерк, вынужденный часами корпеть над бумагами, а на шее сзади — там, где мешок постоянно натирал, — у него образовалась здоровенная шишка. Когда-то у него была и жена, и детишки, но они умерли, не выдержав палящего солнца. Он пользовался необычной роскошью иметь близкого соседа, некоего Джорджа Твиста, но Твист накануне напился до беспамятства, и растолкать его ради визита к новым соседям не удалось.

Как послушать, так черные только и знали, что грабить Головастого Биртлза. Они украли у него топор, стащили прямо из хижины жестяное блюдо, а также рубашку, которую он повесил сушиться на куст. А еще они унесли двух его каплунов — тех, что остались после того, как

остальных загрызли дикие собаки.

Сэл, улыбнувшись, искоса глянула на Торнхилла, и он вспомнил курицу, которую они стащили у Ингрэма.

Но в краже драгоценных мешков с пшеницей — результате тяжких трудов, которые Головастый подготовил, чтобы перетащить через гору к лодке, — не было ничего забавного. Черные — обыкновенные воры, твердил он, всегда готовые воспользоваться чужими трудами. И если уж он заметит, что кто-то из них ошивается поблизости, то непременно преподаст хороший урок.

При этих словах — «преподаст урок» — Головастый подмигнул Барыге. А потом откинулся назад и умолк, скребя бороду. Этот скрежет показался в наступившей тишине особенно громким.

Торнхилл представил себе, какой именно урок может преподать Головастый. Он уже было открыл рот, чтобы заговорить на какую-нибудь другую тему, но Барыга его опередил. «Они как мухи, что слетаются на кровь. Убей одного, так на похороны десяток слетится», — произнес он почти мечтательно.

Эти слова заставили Сэл, которая возилась у огня, готовя очередную порцию пышек, остановиться. С палкой в руке она повернулась и

глянула на мужа. Барыга перехватил ее взгляд. «Ну, я не об том, что их надо убивать, это просто так, — заявил он фальшивым голосом и, когда Сэл отвернулась, подмигнул Торнхиллу. — Я в том смысле, что их надо гнать». И хрипло засмеялся.

Потом приплыл Уэбб, тощий человечек с густыми и жесткими, словно собачья шерсть, волосами. Они были пострижены неровно и явно ножом, Сэл так стригла мальчишек. Уэбб отказался от места на бревне и устроился на земле.

Торнхилл надеялся, что разговор примет другое направление, но, похоже, они могли говорить только о черных. Уэбб — они называли его Пауком[14] — устроился на Хафмун-Бенд. Участок его с трех сторон был окружен скалами и лесом, и черным очень даже просто было подбираться к нему с горы. Они и заявились, когда миссис Уэбб приболела и осталась одна в доме. Им, видите ли, понадобилась ее юбка, они никак не могли справиться с застежкой, так просто взяли нож и срезали, а она осталась в одной нижней юбке. А еще забрали еду, которую она приготовила — суп из цыпленка, прямо с горшком, — и скрылись задолго до того, как вернулся Паук.

---

[14] Примечания: 14
Фамилия Webb образована от *англ.* web — паутина.

Паук вообще был невезучим. Его забрали прямо на рынке Смитфилд, когда какой-то тип углядел на его куртке те самые серебряные пуговицы, которые неделю назад пропали из дома его хозяина. А теперь — помимо набегов черных — он был тем самым поселенцем, которого первым заливает в половодье, и личинки тоже сжирают его посевы первыми. Один сын у него умер от укуса змеи, а другой — от судорог.

У Торнхилла мелькнула мысль, что на месте Паука он никогда не назвал бы свою ферму «Несокрушимой».

Голова у Паука была маленькая, тем чуднее звучал его низкий голос. «Они вредители, — пробасил он. — Ничем не лучше крыс». Торнхилл подумал, что голос у него как у человека, который воскрес из мертвых после повешения. Впрочем, все они были такими.

Паук, как и Барыга, любил разглагольствовать. «Они перережут нас всех, как диких зверей, — объявил он. — А потом съедят лучшие куски». Барыгу развеселила эта мысль, и он воскликнул: «А у тебя, Паук, какие кусочки самые вкусные? Ты же тощий как палка!» Все засмеялись, но как-то сдержанно, видно, каждый представил, какая именно часть его тела больше годится в пищу.

Участок Лавдея был как раз через реку от Уэбба, так что они приплыли вместе. Торнхилл Лавдея знал, потому что не раз возил в Сидней выращенные Лавдеем тыквы и дыни. Длинный, нескладный, Лавдей знал о фермерстве не больше, чем житель Луны, но здесь, на речных берегах, все росло само по себе.

Он сел на бревно, закинув ногу на ногу, словно в собственной гостиной. Слишком худой с лица, оттого что питался в основном своими тыквами и дынями, Лавдей тем не менее чем-то походил на джентльмена, особенно вкрадчивым голосом. Среди этих людей, у которых слов за душой было не больше, чем монет в кармане, Лавдей казался чужаком. К тому же он был единственным, у кого на ногах были ботинки — правда, на несколько размеров больше. Барыга называл его Святошей.

Лавдею тоже было что рассказать о черных, и он даже встал, чтобы сполна ощутить удовольствие от всеобщего внимания. Как-то раз, когда он облегчался в кустах, местный ударил его копьем. Для пущей убедительности Лавдей даже расстегнул и приспустил штаны, чтобы продемонстрировать шрам на бедре. И с тех пор, заявил он, он ни разу не облегчался, держит все при себе до возвращения в Англию, где человек

может откликнуться на зов природы, не рискуя получить копьем в задницу.

Рассмеялся даже мрачный Уэбб. Лавдей огляделся, его костлявое лицо вспыхнуло от удовольствия, и он подмигнул Сэл. Торнхилл видел, что он держится подальше от нее, не желая подавить ее своим ростом, — джентльменская деликатность. Ему было приятно, что она тоже смеялась. Сам Лавдей смеялся дольше всех, давая тем самым Сэл понять, что это только история, призванная повеселить новых соседей, а не реальный факт.

Это была компания мужчин, женщин было только две. Миссис Уэбб не смогла приехать, потому что у одного из детей была лихорадка, но миссис Херринг, вдова, сама приплыла на лодке от Кэт-Ай-Крик. Как оказалось, в этой части реки миссис Херринг была признанным лекарем. Она умела принимать роды, зашивать раны, нанесенные топором, а также спасла самого маленького Уэбба от коклюша. Она не была красавицей: высокий квадратный лоб, глаза навыкате и кривая улыбка, потому что в углу рта у нее вечно торчала старая белая трубка.

Миссис Херринг была женщиной проницательной и опытной. Эта ее кривоватая улыбочка свидетельствовала о том, что мыслей у нее много,

только вот она предпочитает держать их при себе.

Сэл, приветствуя вдову Херринг, обняла ее как давно потерянную сестру. Она никак не могла поверить, что миссис Херринг живет совсем одна, и компанию ей составляют лишь несколько кур. «Миссис Херринг, неужели вам там не одиноко? — спросила Сэл. — Ведь никого же рядом!» Миссис Херринг вынула трубку и принялась ворошить табак в чашечке. «Лучше уж быть в обществе самой себя, чем большинства из тех, кого я знаю, — сказала она, глянув на Барыгу. — А что до черных, то я просто даю им то, что они попросят, — она секунду поколебалась. — Иногда они что-то берут без спроса, но я не обращаю на это внимания». Торнхилл видел, что Барыга скривился, будто лимон укусил. Миссис Херринг снова сунула трубку в рот и добавила: «Мне всего хватает. У меня есть старая служанка, и ее содержать не дорого».

Сэл улыбнулась, укачивая на руках ребенка, и смотрела на миссис Херринг, ожидая, что еще она может сказать. Видно было, что она хочет спросить о чем-то, но в этот момент мужчины зашевелились, Барыга откашлялся и поднялся, чтобы сплюнуть в кусты. Повернувшись,

он заметил что-то на реке. «Том Блэквуд плывет», — сказал он, и Торнхилл заметил, как они с Головастым обменялись взглядами и как Барыга поджал губы.

«Лучше привяжи пса, Барыга, — сказал Головастый и пояснил Торнхиллу: — Мисси терпеть его не может, как если бы он был одним из этих черных гадов. Забавно, правда?»

За все эти пять недель Торнхилл ни разу не видел Блэквуда, хотя и знал, что он по-прежнему ходит по реке на плоскодонке, которую купил вместо «Королевы», доставляя спиртное в «Корону» и «Синего Кабана» в Грин-Хиллз. Спиртное у Блэквуда было особенное, оно обжигало, когда пьешь, а наутро белый свет резал глаза и болела голова. Но зато его было много, да и цена хорошая. На такой выпивке можно было сделать целое состояние, но Блэквуда это, похоже, мало волновало.

Когда, уже ближе к вечеру, Блэквуд появился у Торнхиллов с бочонком выпивки на плече и подарком для дома, поляна, казалось, стала меньше размером. В нем чувствовалась властность, которая заставила умолкнуть даже хвастливого Головастого — тот мрачно смотрел на Блэквуда да скреб бороду.

Торнхилл знал Блэквуда лучше всех остальных, но и он не мог догадаться, о чем тот думает. Он никогда не бывал в лагуне Блэквуда. Он не раз подумывал о том, чтобы нанести ему визит, но что-то в Блэквуде его останавливало. Торнхилл предполагал, что это из-за самогонного аппарата. Что, в общем-то, глупо, потому что все знали, что он у Блэквуда имеется. Однако Блэквуд оберегал свою частную жизнь, а Торнхилл не собирался в нее вторгаться.

Блэквуд отказался от предложения сесть на бревно и устроился в сторонке. Он сидел, повернувшись чеканным профилем — крупный нос, плотно сжатые губы. Барыга начал было: «У них нет никакого права…» Но Блэквуд прервал его, обратясь к Торнхиллу: «Эти маргаритки, вон там…» И все уставились на него, а он поднял с земли кусок шнура, из которого делали обметку, и стал крутить его в руке. «Они называются ямсовыми маргаритками, — он мотнул головой в ту сторону. — Их почти не осталось».

И это действительно было так. От маргариток было легко избавиться, потому что, когда их выдергивали, они не прорастали обратно, как другие сорняки.

«Они дали мне несколько штук, когда я только

приехал, — сказал Блэквуд, и ни у кого не возникло сомнений в том, кто такие “они”. — А я взамен дал им отличную кефаль, — и помотал головой, вспоминая. — У них на концах такие бульбушки, как обезьяньи яйца», — он засмеялся так громко, что разбудил малышку.

Торнхилл видел, что Блэквуд вспоминает вкус этих бульбушек. «Отличная еда, если разобраться», — сказала миссис Херринг и запыхтела трубкой, не обращая внимания на угрюмые взгляды, которыми обменялись Барыга и Головастый. «Сладкие, — согласился Блэквуд. — Особенно когда немного подержать на углях». Но Блэквуд приехал вовсе не для того, чтобы поговорить о вкусе ямса. «Видишь, ямс рос там, где ты посадил кукурузу, — сказал он. — Ты его выкопал, а это значит, что они теперь будут голодать». Сказав это, он повернулся и посмотрел на другой берег, туда, где солнце уже начинало садиться.

Головастый сердито вскричал: «Они же никогда ничего не делают! Только выкапывают эту штуку — и все!» Он в сердцах так стукнул своей кружкой о землю, что содержимое выплеснулось наружу.

Блэквуд, не отрывая взгляда от утеса, продолжал, словно не слыша Головастого: «Здесь была встреча недавно, губернатор приплыл на “Дель-

фине", стал на якорь вон там, — и он дернул подбородком, показывая направление. — Там был один черный, он немного говорил по-английски, — Блэквуд все продолжал наматывать и разматывать кусок веревки и говорил, как будто к веревке и обращаясь. — Короче говоря, губернатор пообещал, что белые больше не будут валить лес к низу от Второго Рукава».

«Ты лжешь, Том Блэквуд!» — завопил Головастый, но Блэквуд спокойно завязал на шнурке узел, потом зубами его развязал. «В общем, они ударили по рукам, — сообщил он. — Вот так». Было понятно, что ему все равно — верит ему Головастый или нет. «Я там был, стоял на палубе, расплетал концы, вот как сейчас, — он глянул на Торнхилла и подмигнул. — Никто ведь лодочника-то не замечает, разве не так, Уилл Торнхилл?»

Барыга аж раздулся от возмущения. «Да они просто ворюги, больше никто, — закричал он. — Только и знают, что обворовывать честного человека!»

Блэквуд посмотрел на него с удивлением, как на щенка, который пытается укусить его за пятку: «Честный человек? Ну конечно, ты-то, Барыга Салливан, никогда ничего не крал. Это точно».

Не расхохотался только Барыга. Торнхилл ви-

дел, как тот сжал зубы, стараясь обуздать гнев. Миссис Херринг даже вынула трубку изо рта, чтобы посмеяться от души.

Но Блэквуд, оказывается, еще на закончил, он повернул к Торнхиллу свое крупное лицо и, подождав пока смех стихнет, сказал: «Ты, конечно, можешь поступать по-своему, но только помни: когда берешь что-нибудь, надо что-нибудь и отдать». Блэквуд встал и направился к реке, как если бы завершил то, ради чего приходил. Сэл вдогонку с ним попрощалась, а он, не оборачиваясь, помахал ей рукой.

Как поменялось настроение с приходом Блэквуда, так поменялось оно и с его уходом. Никаких больше историй ни у кого вроде как не осталось. Те, кто жили вверх по реке, вспомнили, что пора собираться, пока прилив, и потянулись к своим лодкам. Остался только Барыга, который жил ниже по течению и которому надо было подождать, когда начнется отлив. Он с угрюмым видом смотрел на реку, и Торнхиллы оставили его в покое.

«Что-то отдаешь, что-то берешь». Что это — предупреждение или угроза? Но Блэквуд был не из тех, кого можно попросить объясниться. А Торнхилла не интересовали советы, которые мог бы дать Барыга Салливан.

• • •

Мысль о ста пятидесяти фунтах плюс проценты не давала ему спать по ночам. Он занял их на «Надежду», которая должна была стать средством эти деньги заработать, но «Надежда» простаивала без дела вот уже пять недель, пока ее владелец был то фермером, то строителем. Наступил октябрь, съестные припасы, которые они привезли с собой из Сиднея, были на исходе, да и посевов, которые должны были принести им урожай, они тоже еще не сделали.

Перед тем как покинуть Сидней, он обратился за разрешением взять в услужение осужденных, на том основании, что будет снабжать Сидней продуктами. А почему бы и нет? Чтобы заработать, надо мыслить масштабно. Опытный Найтингейл, который за пару кварт лучшего рома написал за него заявление, посоветовал просить четырех работников — тогда трех ему отрядят уж наверняка.

И вот теперь Эндрюс с острова Маллет сообщил, что Торнхиллу выделили двух осужденных с только что прибывшего транспорта. Торнхилл поверить не мог, что все оказалось так просто.

«Надо было просить десять, — сказала Сэл,

удивленная не меньше него. — Тогда б мы получили пятерых».

Теперь оставалось только сплавать в Сидней и забрать их.

• • •

Ему предстояло отсутствовать неделю, а при встречном ветре — и все две. И за старшего мужчину все это время должен будет оставаться двенадцатилетний Уилли. Как только Торнхилл вернется с работниками, они с Уилли смогут снова ходить по реке на «Надежде». Но сначала надо было оставить семью без всякой защиты.

Они каждый день видели дымок от костров черных — то на возвышавшейся за хижиной горе, то откуда-то ниже по реке, то там, где Первый Рукав. Они были повсюду и всегда. Но за эти пять недель Торнхиллы видели их только раз — в первый же день. Торнхилл убедил себя, что если бы они решили сделать им что-то дурное, то уже сделали бы.

Он должен был рискнуть и молить о попутном ветре для «Надежды», чтобы как можно скорее сплавать в Сидней и обратно.

Сэл храбрилась — она, как и он, понимала, что выбор у них невелик. И когда «Надежду» понес

отлив, она с детьми стояла на холме и, подняв пухленькую ручку Джонни, махала ею, изображая бодрое прощание.

Он махал им в ответ, но, когда «Надежда» заскользила по реке, он думал только о том, каким беззащитным был мыс Торнхилла. С реки хижину на кусочке вытоптанной земли было едва видно. А кругом стоял могучий лес, темневший даже под самым ярким солнцем, путаница света и теней, камней и листьев.

Когда провожающие скрылись за первым поворотом, он смог повернуться и посмотреть вперед. Его прошиб пот при мысли о том, каким непрочным было их здешнее существование. И пока «Надежда» на всех скоростях неслась к океану, он вспоминал хрупкую фигурку Сэл, храбро махавшую ему на прощание.

• • •

Транспортное судно «Скарборо» темнело на блестевшей под солнцем воде возле Губернаторской пристани. До Торнхилла донеслись крики и лязганье цепей: осужденных согнали на палубу. Он вспомнил, что почувствовал сам, когда, словно личинка из прогнившего дерева, выполз из темного и вонючего трюма на свет. Что ж, есть

вещи, которые никогда не забываются.

Но это воспоминание принадлежало другой жизни, не имевшей ничего общего с этим свежим весенним утром, отражавшимися от воды солнечными лучами и дувшим в лицо соленым ветром. В той, другой жизни эта пляска света и бесконечный лес, в котором поет ветер, казались лишь порождением фантазии. А в этой жизни он, Уильям Торнхилл, — почти владелец шлюпа «Надежда», и ему принадлежит сотня акров земли.

Но имелся и неприятный сюрприз — на пристани, в жилете с серебряными пуговицами, стоял капитан Саклинг, бывший командир каторжного транспорта «Александр». Торнхилл слышал, что ему дали землю, как давали другим господам — простым распоряжением, а не потому, что они пролили на ней хоть капельку своего пота. Но состояния здесь делались и терялись мгновенно, и Саклинг — слишком гордый, чтобы самому обрабатывать землю, и слишком уважающий горячительные напитки — свое потерял. Теперь он был всего лишь мелким чиновником в каторжном департаменте.

Его щеки были испещрены лопнувшими сосудами, тусклые стариковские глаза слезились. Распухший красный нос казался отдельным орга-

низмом, поселившимся у него на лице. Рукава у мундира потертые, на рубашке нет воротничка.

В руках у него была папка с именами — та же папка, или такая же, как та, в которую навечно было вписано имя Торнхилла. Он скользнул безразличным взглядом по Торнхиллу, будто тот был чем-то вроде швартовой тумбы, и отмахнулся от мух большим и грязным носовым платком.

Но потом их взгляды встретились, и Торнхилл понял, что Саклинг еще вполне в своем уме и узнал его. Он выпрямился и посмотрел Саклингу прямо в глаза, напомнив себе о помиловании, документе, который хранился в жестяной коробке.

Громким голосом, привыкшим отдавать приказы, не считаясь с тем, кто и что может услышать, Саклинг осведомился: «Разве ты не Торнхилл, с транспорта “Александр”?» — и с важным видом снова взмахнул своим платком.

Торнхилл не ответил, а посмотрел в сторону, и тут же возненавидел себя за то, что отвел взгляд. Саклинг злорадно улыбнулся и объявил довольным голосом: «Никогда не забываю лица злодеев. Ну да, Уильям Торнхилл, транспорт “Александр”».

Торнхилл заставил себя стоять неподвижно, наблюдая, как муха села Саклингу на щеку, туда,

где еще поблескивали следы мыльной пены, а потом попыталась влезть ему в ноздрю. Саклинг чихнул и передернулся от отвращения. «А ну отойди!» — крикнул он и, что-то недовольно ворча, принялся хлопать по мундиру ладонями. Мухи поднялись и снова уселись ему на волосы, на лоб, на этот искусительный нос. «А ну назад! Пошел!» — снова крикнул он и махнул на Торнхилла руками, словно тот был собакой. «Стань подальше! На тебя мухи летят!»

И сразу же купающийся в солнечном свете Порт-Джексон снова стал тюрьмой, да и сам солнечный свет поблек, а раскинувшийся вокруг порта городок превратился в полную миазмов камеру, в которой можно задохнуться. Он может купить себе помилование, он может получить землю, он может набить свою коробку деньгами. Но он никогда не сможет купить того, что есть у Саклинга. Каким бы жалким Саклинг ни стал, до какого бы состояния ни допился, он всегда сможет высоко держать голову, потому что он никогда не сидел в тюрьме.

Саклинг смотрел на Торнхилла в упор, вынуждая его сказать хоть что-то, но Торнхилл заставил себя молча замереть, как делал это в другой жизни, на «Александре». Он считал, что человек,

знавший этот трюк — как покидать собственное тело, — все равно что мертвец. Старое умение вернулось, нашло Уильяма Торнхилла, осужденного, прятавшегося в теле Уильяма Торнхилла, землевладельца.

Он отступил назад и вдруг вспомнил процедуру посвящения в ученичество в Гильдии водников, когда он так вжался в камин, что у него чуть штаны на заднице не загорелись. Он тогда думал, что это, наверное, часть цены, которую мальчишке приходится платить за вступление в мир взрослых. Но, похоже, став взрослым, человек все равно продолжает платить.

• • •

Закованных в кандалы, неуклюжих осужденных тычками прогнали по трапу на причал, и они стояли, сгорбившись под яростным солнцем. Их всех недавно постригли, и бледные шеи были похожи на проростки картофеля, на лысых головах виднелись кровавые отметины от ножниц. Испугавшись такого огромного пространства, они сгрудились в тесную толпу.

Торнхилл заранее предвкушал этот момент. Он представлял себе, как выйдет вперед, как укажет на тех, кого выбрал. Но теперь он топтался где-то

сзади, потому что не мог выдержать презрительного взгляда Саклинга.

Представитель губернатора уже отобрал тех, кто имел какую-то ценность — плотников и строителей, пильщиков и фермеров. Наступил черед поселенцев-джентльменов с их пронзительными голосами и в камзолах, сидевших на них так, будто они в них родились, — они отбирали себе тех, кто посильнее, и тех, на чьих лицах не лежало явной печати порока. Только потом свой выбор могли сделать получившие свободу бывшие каторжники. И тут вдруг из ниоткуда снова возник Саклинг. «Давай, Торнхилл, выбирай, — и, сделав широкий жест, словно приказчик в магазине, мерзко улыбнулся. — Чувствуй себя совершенно свободным», — и голосом подчеркнул слово «свободным».

Торнхилл выбрал двух лучших из худших. Первый, назвавший себя Недом и не сообщивший фамилии, был тощим слабаком с длинной, похожей на лошадиное копыто, челюстью, влажными красными губами и глубоко сидящими глазами. Он чем-то напомнил Торнхиллу беднягу Роба — явно не самый большой умник, но зато полный энтузиазма. Другой был мальчиком на побегушках у какого-то торговца в Ковент-Гардене, однако

по возрасту уже далеко не мальчик. Под ярким солнцем он казался особенно изможденным.

Это была довольно жалкая парочка. Зато его собственная.

Тот, который работал у уличного торговца, сощурившись от яркого света, пристально его разглядывал. «Ты Уилл Торнхилл, да? — спросил он и подошел поближе. Торнхилл почувствовал корабельную вонь. — Уилл! Я Дэн Олдфилд, помнишь такого?»

Торнхилл присмотрелся: черные усы на молочно-бледном худом лице, робкая улыбка, зубы через один — парень казался совершенно изголодавшимся. Теперь он вспомнил Дэна Олдфилда. Вспомнил тело его отца, лежавшее на Селедочном причале, тело, полное речной воды. Вспомнил, как они вместе голодали и как вместе мерзли, и как однажды, чтобы хоть на мгновение ощутить тепло, пописали себе на ноги.

«Старые денечки да старые места шлют тебе свой привет, Уилл, — завопил Дэн. — Уоппинг уже не тот без нашего Уилла Торнхилла!» Но поскольку Торнхилл никак не откликнулся, улыбка застыла у Дэна на устах.

Торнхилл заговорил мягко, спокойно, как человек, которому ничего не надо доказывать. «Забудь

свои старые манеры, Дэн, — сказал он, и увидел, что улыбка Дэна совсем погасла. Он подумал о Саклинге, как он улыбается, не разжимая губ, и сам попробовал так же улыбнуться. — Теперь я мистер Торнхилл, Дэн. Тебе лучше это запомнить».

Дэн посмотрел в сторону, на скалы, окружавшие Порт-Джексон, на густой буш, на сверкавшую серебром воду. «Да, мистер Торнхилл», — сказал он лишенным выражения голосом. Торнхилл наблюдал, как он пялится на воду, пронизанную солнечными пальцами до самых зеленых глубин, заметил, как он стиснул зубы. Дэн прикрыл глаза от солнца сначала одной рукой, потом другой, склонил голову. В солнечном свете стало заметно, какие редкие у него волосы.

Торнхилл вспомнил, как он сам так же смотрел на воду, и как человек с крошками в бороде передал его в руки Сэл. Когда смотришь на воду, то кажется, что ты как бы и не здесь, глядя на воду, сам превращаешься в рыбу. Или в воду.

Он знал, что это значит — быть таким как Дэн. В том-то и дело. Над Дэном он может возвыситься, но в глазах таких, как Саклинг, они с Дэном Олдфилдом одного поля ягодки. И он понял то, что ему никогда раньше не приходило в голову: будущего для Торнхиллов в Лондоне больше не было.

Он вспомнил, что сам когда-то думал о тех, кто побывал на каторге, — что от них надо держаться подальше, как от больных оспой, чтобы самому не подхватить заразу. Даже уличные торговцы в Ковент-Гарден — и те считали себя выше людей, когда-то носивших кандалы. И уж точно хорошо кушавшим джентльменам в Гильдии водников, чувствовавшим себя в полной безопасности за своим огромным столом из красного дерева, было наплевать на дарованное ему помилование. И сколько б золота он ни заработал, они никогда не доверят лодку или ученика человеку, побывавшему в гостях у его величества.

Но понял еще и кое-что пострашнее: дети человека, на котором имеется такое пятно, тоже запятнаны. Запятнаны его дети, и дети его детей. Само это имя — Торнхилл — будет означать позор. Он представил их, ряды розовых мордашек в кружевных белых чепчиках, сыновей и дочерей его собственных детей, проплывающих где-то вдали в своих колыбельках. И все они поражены одним и тем же недугом, одна и та же тень падает на их личики.

Теперь он понял то, что не доходило до него ранее: почему лицо Блэквуда всегда разглаживалось, когда он направлял лодку в устье реки и

шел по ней все дальше и дальше, четко следуя ее изгибам. Хоксбери было тем местом, где никто не мог считать себя лучше своего соседа. Потому что здесь, в этой закрытой для других долине, они все были помилованными каторжниками. Здесь и только здесь человек не обязан был тащить за собой, словно дохлого пса, свое вонючее прошлое.

• • •

Сэл тоже знала Дэна Олдфилда по Лондону и, как и Торнхилл, не позволила ему злоупотреблять прошлым. Эту первую ночь Дэн и Нед вынуждены были провести в хижине вместе с Торнхиллами, и здесь сразу стало очень тесно. Им настелили на земле мешки, рядом с мешками, на которых спали Торнхиллы.

«Господи, Сэл, нельзя сказать, чтоб тут было уютно», — заявил Дэн и подтолкнул ногой свой мешок с таким видом, будто Сэл была нерадивой служанкой. «Называй меня миссис Торнхилл», — ответила Сэл громко и четко, чтобы не оставить никаких сомнений. Дэн промолчал, но глянул на нее исподлобья, и она слегка разозлилась. «Так будет лучше для всех», — добавила она. Торнхилл, наблюдавший за нею от входа, обратил внимание, что она вспомнила кое-какие фразы,

подслушанные у благородных: «Полагаю, так будет более приемлемо».

Он вспомнил, какое удовольствие им в начале их жизни в Сиднее доставляла игра в хозяйку и слугу. Но с Дэном они почувствовали другого рода удовольствие, и это не было игрой. Они обладали настоящей властью над жизнью и смертью Дэна Олдфилда, и наслаждались этим. Радость, которую он испытал, осадив Дэна на причале, удивила самого Торнхилла — он не подозревал, что в нем скрывается тиран. Человек никогда не знает, из чего он состоит, пока обстоятельства этого в нем не раскроют. Еще одним сюрпризом было явное удовлетворение, которое испытывала Сэл от того, что человек, с которым она когда-то делила ворованные каштаны, должен называть ее теперь миссис Торнхилл. Он заметил, как поглядывает на них Дэн, силясь понять, что именно в этом Новом Южном Уэльсе заставило их так измениться.

Он привез из Сиднея подарки для Сэл — двух кур и тощего петуха в сплетенной из ивовых прутьев клетке и гравюру, на которой был изображен Старый Лондонский мост, в рамке и под стеклом. Она водила по стеклу, по изображенным на гравюре улицам, указательным пальцем, представляя,

как идет по ним. Когда она повернулась, ее глаза были полны слез. «Уилл, — сказала она, и еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. — Ты знаешь меня так хорошо, ничего от тебя не скроется». И стиснула его руку. Он почувствовал, какой грубой стала ее рука, рука непрерывно работающей женщины. «Это настоящее сокровище, ты такой молодец, что подумал об этом». Он видел, что она поняла, что он хотел сказать этой гравюрой: «Я не забыл о своем обещании».

Он повесил гравюру на колышек, воткнутый в дыру в одном из поддерживавших крышу столбиков. «Повесь там, где я смогу, проснувшись, первым делом ее видеть», — попросила она. Когда он позже снова зашел в хижину, то увидел, что на тот же колышек она повесила на шнурке свой кусочек черепицы.

В эту ночь, когда фитилек лампы загасили и темнота стала пахнуть горелым маслом, они лежали в тесной хижине, словно сельди в бочке. Торнхилл чувствовал, как сжалась Сэл у него под боком, в ярде от него лежал, заложив руки под голову, Дэн.

Нед уснул сразу. Через какое-то время его шумное дыхание сменилось бормотанием, он что-то говорил во сне, ворочался на своем мешке. Потом

они услышали, что он встал, но продолжал спать стоя, словно лошадь. Затем сдавленным голосом произнес: «Флеминг выбрался, Флеминг...» Сердито заворчав, Дэн подскочил, заставил Неда снова лечь, и тот крепко и бесшумно проспал до самого утра.

Когда они завтракали у костра, Торнхилл заметил, что Дэн, набив рот лепешкой, озирается кругом. Он смотрел на утесы, на долину Первого Рукава, проглядывавшую между поросшими лесом скалами.

Торнхилл знал, о чем он думает. Другие тоже пытались через эти леса добраться до Китая. Порой кто-то из них забредал в хижину поселенцев, одичавший, умирающий от голода, нагой, потому что черные отобрали всю одежду. Иногда в лесах находили скелеты. Но большинство исчезали бесследно, поглощенные этим бесконечным бесформенным пространством.

Дэн еще слишком мало пробыл в колонии, чтобы знать, что случалось с заключенными, обманутыми отсутствием стен.

Торнхилл подождал, пока его взгляд обежит горы и долины. «Как нечего делать, да? Всего пятьдесят миль до Сиднея», — он постарался, чтобы его голос звучал мягко. Дэн мрачно посмотрел на

утесы за рекой, темневшие на фоне восходящего солнца. Утесы тоже смотрели на него. Торнхилл почувствовал, как его губы складываются в подхваченную у Саклинга надменную улыбочку: «Так что выбирай: либо я, либо дикари в лесу». Дэн глянул на него с непонятным выражением. «Решать тебе, — добавил Торнхилл. — Это не моя печаль».

• • •

Утром — как заметила за завтраком Сэл, в первое утро их седьмой недели — Торнхилл послал Дэна и Неда сооружать для себя пристройку к задней стенке хижины, а сам взялся за строительство загона для кур, откуда их не могли бы утащить хозяйничающие по ночам дикие собаки. Он сам нарезал деревца для пристройки, а Уилли нарвал коры. Все, что теперь требовалось от его слуг, — превратить деревца в столбики да проделать в кусках коры отверстия, чтобы можно было ее привязать.

Однако вскоре стало понятно, что у Неда имеется склонность падать и биться в конвульсиях именно тогда, когда он был всего нужнее. И даже в вертикальном положении его все время скрючивало и передергивало. Топор доверить ему

было никак нельзя, и Торнхилл вручил ему буравчик, чтобы он делал дырки. Торнхилл угрозами заставил его работать, что оказалось бессмысленной затеей: то, что должно было выглядеть как аккуратные круглые отверстия, превратилось в бесполезные длинные щели.

Неду доставляло удовольствие констатировать очевидное. Глядя на изодранный им край коры, он провозгласил: «Выглядит не очень, мистер Торнхилл», и залился дурацким смехом. У него была глупейшая улыбка: он выворачивал губы наизнанку, а глаза словно плавали в глазницах.

Но разве можно наказывать человека за то, как он смеется?

После долгого путешествия Дэн плохо себя чувствовал, а из-за стоявшей в эти весенние дни влажной жары его бледная кожа покрылась сыпью. Он тяжело дышал, обтесывая топором твердую древесину, лицо его заливал пот. Когда он думал, что его никто не видит, он останавливался и, оперевшись на топор, пялился в лес. По его спине, обтянутой полосатой арестантской рубахой, ползали полчища мух, но больше всего мухам нравились его глаза, рот, потные щеки. Он бил по лицу руками, отплевывался, моргал, мотал головой, чтобы их отогнать. Мухи взлетали

и садились снова. Под конец он чуть не разрубил себе топором ногу, пытаясь сбросить насекомых с руки.

В сердцах он швырнул топор и посмотрел на стоявшего в теньке Торнхилла. «Дай передохнуть, — попросил он, и не произнесенное им “мистер Торнхилл” повисло в воздухе. — Дай хотя бы попить». Он, щурясь, смотрел на солнце и отмахивался.

Торнхилл помнил, каково это — заливаться потом, задыхаться, просить о чем-то. Теперь он понял, что униженная просьба уродует, превращает человека в его подобие, а подобию легко отказать.

«Такие правила, Дэн: осужденные в дневные часы обязаны работать, — он услышал, как напыщенно и лицемерно прозвучал его собственный голос. — Я не могу идти против того, что приказал губернатор, потому что я сам из помилованных, — он мягко улыбнулся — ему понравилось, как он это сказал, и добавил: — Давай закончи, что начал, и мы посмотрим, как все пойдет».

Дэн, не дрогнув, смотрел на него в упор. Он не поднял топор, не вернулся к работе. Торнхилл подумал, что, наверное, зашел слишком далеко, что Дэн разоблачит его блеф и откажется работать.

Он представил себе, как Дэн упорствует, сидя на хлебе и воде, терпя побои. Он видел таких на корабле, они вбили себе в голову не сдаваться ни под каким видом. Такие скорее умрут.

Ситуация разрешила муха. Она забралась Дэну в ноздрю, и он чихнул. Такое крохотное создание оказалось способно поколебать человеческий дух! Дэн взял топор и стал снова обтесывать ствол деревца. Торнхилл видел, как мухи ползают по его лицу, как он моргает, пытаясь согнать их с глаз. Солнце заливало жаром согбенное униженное существо. На белой беззащитной шее проступали жилы.

Торнхилл, помахивая веткой, которую он использовал как опахало, — он уже понял, что лучше всего этой цели служат казуарины с их длинными иглами, — неспешно перешел в тень. Ему ужасно захотелось зевнуть. Он *прогуливался*! Вот оно как! Он прогуливался и не нес ничего тяжелого, только ветку! Прогуливался, совсем как какой-нибудь джентльмен, неспешно шествующий от паба «Старый лебедь» к причалу Темпла, бренча в кармане монетами и намереваясь нанять лодочника.

Возможно, Дэн еще поквитается с ним, но не сейчас.

• • •

Весь день Нед и Дэн прилаживали к основе кору, и к вечеру пристройка, более похожая на собачью конуру, чем на человеческое жилище, была готова. В эту ночь они оба уже спали там. Через дыры в стене Торнхиллы слышали, как Нед бормочет во сне, как ворочается Дэн, но все равно теперь, когда между ними было хоть какое-то подобие барьера, звуки слышались уже по-другому. Эти звуки издавали люди, пребывавшие ниже них на лестнице бытия.

Сэл повернулась к Торнхиллу, ее лицо при свете лампы казалось таким юным. Карие глаза сияли, она улыбнулась, и на щеке появилась ямочка, которую он уже и не помнил, когда видел в последний раз. «Сэл, мы сделаем это место по-настоящему хорошим, — прошептал он, и тут ему в голову пришла мысль, которую он выпалил, не подумав: — Ты и уезжать-то не захочешь». Сэл решила, что шутка удалась: «И уезжать-то не захочу!» Услыхав изумление в ее голосе, он удивился и сам: откуда у него взялись эти слова? И чтобы отвлечь ее, решил развить шутку: «Мне придется силой тащить тебя в лодку, чтобы вернуться домой, а ты будешь умолять на коленях, — тут

он запищал, имитируя ее голос: — “Прошу, Уилл, пожалуйста, позволь мне остаться!”»

От смеха у нее аж слезы выступили. Осторожно, стараясь не шелестеть сухим папоротником, муж и жена обнялись, словно две ложки: она на боку, он обнимает ее сзади. Ему нравилось чувствовать ее ягодицы у себя на коленях, нравилось, как бедра вписываются в его бедра, как при каждом вдохе ее спина прикасается к его груди, ему нравилось чувствовать под ладонью ее грудь. Он был полон ее мускусным запахом, словно они были единым организмом.

За стеной из коры спали их слуги. Ему показалось, будто пришел в движение некий медлительный механизм — повернулись колеса, сдвинулись покрытые смазкой шестеренки. Сейчас Новый Южный Уэльс жил своей собственной жизнью, независимой от намерений человека — даже губернатора, да хоть и самого короля. Эта машина перемалывала и выплевывала одних и поднимала других до высот, о которых они никогда и не мечтали.

Муж и жена молчали, это было молчание близких людей. Лампа догорала — в резервуаре заканчивалось масло, фитиль тоже почти прогорел. И этим тоже сегодняшний день отличался от

всех предыдущих: раньше обязательно кто-то из них встал бы, чтобы загасить фитиль и припасти остатки на завтра.

Они лежали и слушали ночь. Сквозь щели в стенах вливался влажный воздух, он пах сладко, как лекарство. Резко и четко протрубило какое-то создание, лягушки на реке квакали и затихали, квакали и затихали.

Пять лет — вот и все, что ему нужно.

• • •

В ноябре навалилась настоящая жара. Уже на рассвете солнце превращалось во врага, от которого надо было всячески скрываться, а часам к восьми утра в хижине становилось невыносимо. Деревья тени не давали, они лишь слегка рассеивали свет, и с каждой минутой полоска тени, отбрасываемой хижиной, становилась все уже. К полудню она исчезала совсем, и поляна, распластавшись, изнывала на самом пекле.

Однако кукуруза отлично шла в рост, да и дождей тоже хватало — внезапных, яростных, грозовых ливней, поэтому нужды в поливе не было. Зато каждую свободную минуту все они занимались тем, что выдергивали сорняки, грозившие задушить посадки.

Сначала Сэл думала, что Мэри капризничает из-за жары и плохо сосет, отчего грудь у нее набухла и стала болеть. «Если ночью будет хоть чуть прохладнее, я приду в себя», — сказала она. Но утром, хоть и стало прохладнее, она вся пылала в жару, а груди стали твердыми, как барабаны. Торнхилл, как и собирался, отправился вверх по реке за урожаем ячменя и по дороге заехал к миссис Херринг. Эта добрая душа сразу же отправилась в путь и, осмотрев Сэл, вынесла свой вердикт: грудница.

Миссис Херринг была тверда: как бы ни было больно, единственный способ победить грудницу — рассасывать. Она сделала Сэл теплые припарки, прикладывала к груди прогретые тряпки, а потом приложила малышку и прижимала ее к груди, пока та не насытилась.

Но Сэл не стало легче. Как бы жарко ни было, она лежала, дрожа под покрывалами, лицо ее то краснело, то становилось серым, глаза ввалились. Братец и Дик попеременно сидели рядом и отгоняли ветками мух.

Торнхилл холодел от ужаса, думая, что может ее потерять. Проклинал небеса и солнце, светившее в них, как будто ничего страшного не происходило. Проклинал равнодушно поющих

птиц. Проклинал себя за то, что притащил ее сюда. Жадно внимал каждому слову, сказанному миссис Херринг в ответ на вопросы, вслушивался в ее интонации: «Все идет, как и следовало было ожидать», или «Не хуже, чем вчера».

В конце концов, рискуя обидеть ее, отправился в Грин-Хиллз и предложил лекарю двадцать гиней. Слишком далеко, ответил тот, никаких денег не стоит — четыре или пять часов в лодке, даже по течению. И хотя напрямую ничего сказано не было, Торнхилл понял истинную причину: Сэл была всего лишь женой бывшего каторжника.

Во второй половине дня, когда миссис Херринг смолола кукурузу для каши и погнала детей набрать ей палочек для костра, Торнхилл сидел рядом с Сэл. Он неотрывно смотрел на ее лицо на подушке, на закрытые глаза. Это любимое измученное лицо было единственным светлым пятном в его жизни. Он видел ту девчонку в кухне на Суон-Лейн, слышал ее смех, вспоминал, как она помогала его неуклюжим пальцам держать перо.

Казалось, она совсем не боится умереть, она без жалоб выполняла все указания миссис Херринг. Он осмелился напомнить ей о Сюзанне Вуд, чей муж так благоговел перед измерительными

инструментами, что начертал на надгробном камне точное, до последней капли, количество выкачанной из нее жидкости. Ему показалось, что губы у нее шевельнулись, что она вспомнила и удивилась, но ничего не сказала.

Она не испугалась смерти и боли, но была полна ужаса перед тем, что ее похоронят в этой тощей чужой земле, под чужим палящим солнцем, что ее кости будут гнить под этими скрипучими деревьями. И однажды, глядя прямо перед собой, она сказала: «Похорони меня лицом на север, Уилл». До этого она так долго молчала, что ему пришлось ее переспросить. «На север, Уилл, туда, где Дом». И она, сжав губы, смотрела на него и ждала, что он ответит, что пообещает.

Сначала он взвился как последний дурак. «Никаких похорон, Сэл!» — закричал он, но она закрыла глаза. Такой ответ ее не интересовал. Он смотрел на нее, на такое родное лицо. Он понимал, о чем на самом деле она просит. Но даже в этот миг, когда мысль о жизни без нее была хуже самой смерти, он не мог заставить себя произнести то, что она так ждала: «Мы поедем Домой».

• • •

На реке новости разносятся быстро. Подгреб Барыга с парой мангровых крабов в мокрой сетке, их клешни были туго перетянуты ворсистой бечевкой. Головастый привез кусок свиного брюха — в этот день он как раз заколол свинью. Сэл ничего этого не попробовала, но все остальные наелись до отвала. Паук прислал ей бутылку раздобытой им где-то отличной мадеры. Даже Блэквуд как-то раз поднялся от реки с угрями, пойманными в его лагуне, и с мешком молодой картошки.

То ли Блэквудовы угри сотворили это, или то, как он сидел рядом с ее постелью и рассказывал, как он готовит их в желе — как учила его матушка там, в Истчипе. «На Грантли-стрит, — вдруг сказала она. — Возле церкви Всех Святых, — Сэл нашла в себе силы улыбнуться и кивнуть. — Я знаю, где это, — прошептала она. — Там за углом, где мануфактурные товары Стикли». И она, опираясь на подушку, наконец-то села. Съела несколько кусочков, потом отодвинула тарелку и опять забралась под покрывала.

На следующий день Торнхилл проснулся и увидел, что Сэл сидит на постели, пристроив

Мэри к груди.

«Уилл», — она улыбнулась почти так, как раньше. Он схватил ее за руку и крепко-крепко сжал. «Уилл, я же не весло, отпусти, — но тоже сжала его руку, так крепко, как смогла. — А теперь скажи мне, Уилл, сколько я провалялась здесь как бревно? И кто-нибудь делал отметки, или вы все забросили и перепутали?»

Он постарался улыбнуться: «В воскресенье мы зачеркнули неделю. Сегодня девять недель и пять дней». Ему пришлось потрудиться, чтобы на лице не проступило разочарование: а ведь первое, о чем она подумала очнувшись, — об отметках на дереве.

Сто акров

Теперь, когда в доме оставались слуги, он уже меньше волновался, отправляясь в плавания на «Надежде». Дэн и Нед были бестолковыми, и он все-таки беспокоился, но, по крайней мере, Сэл больше не была одинокой женщиной среди могучих деревьев.

Жизнь стала как-то налаживаться. Они с Дэном натащили здоровенных камней и сложили для Сэл очаг в хижине с обшитой корой трубой из дерна, достаточно объемный, чтобы в нем можно было жечь большие ветки. В середине ноябрьского пекла трудно было представить, что когда-нибудь понадобится разводить огонь, но Уэбб предупредил, что зимы здесь суровее, чем в Сиднее, и он предвкушал, как уютно будет сидеть в хижине у очага. Он думал, что никогда не устанет изумляться тому, какой здесь огонь — не просто два жалко тлеющих куска угля, а роскошные языки чистого желтого пламени, жадно лижущие груду дров.

Детям на реке было куда лучше, чем в Сид-

нее. Джонни, которому скоро должно было исполниться два года, целыми днями занимался своими важными делами — запихивал что-то во что-то или старательно что-то сооружал, при этом у него в голове всегда имелся какой-то план, и он следовал ему с самым серьезным видом. Дик превращался в высокого, жилистого семилетнего парнишку, Мэри агукала и улыбалась чему-то своему, изменился даже Братец. Он совершенно не страдал от грубой пищи, она ему даже шла на пользу. Для пятилетнего он еще слишком часто рыдал, под глазами у него по-прежнему лежали тени, но он все равно окреп.

Дела шли хорошо. Губернатор издал указ, согласно которому в верховьях реки создавались поселения со своими гарнизонами. Таким образом, даже если черные задумали бы бунтовать и мародерствовать, фермеры все равно чувствовали бы себя в безопасности и не покинули эти места. В результате скромный Грин-Хиллз был переименован в царственный Виндзор, а кучка хижин выше по реке получила название Ричмонд. Солдаты в красных мундирах патрулировали фермы на берегу и раз в две недели углублялись в леса, чтобы выследить и предать справедливому наказанию злоумышленников.

Образование поселений для человека с лодкой, нагруженной нужными товарами, было даром небес. Вместо того чтобы плавать от одной фермы к другой, Торнхиллу достаточно было останавливаться в новых деревнях, где он сразу же освобождался от привезенных товаров и загружался для обратного пути в Сидней.

Он взял за правило каждый раз привозить из Сиднея маленький подарочек для Сэл — пару чайных чашек, половик, чтобы прикрыть земляной пол, голубую шаль, как напоминание о шали, что когда-то подарил ей отец, хотя эта была грубее той, похожей на паутинку.

Себе же он купил пару настоящих сапог, первую в своей жизни. Когда он надел их, то понял, почему благородные так не похожи на простых людей. Отчасти потому, что у них были деньги в банке, а отчасти потому, что сапоги диктовали походку.

Каждый раз, когда он подплывал к своему месту — что на пути из Виндзора с грузом капусты или зерна, что на пути из Сиднея с набивным ситцем и лопатами, — у него все внутри сжималось. Он никогда не рассказывал об этом Сэл и взял с Уилли слово, что тот тоже ни о чем таком рассказывать не будет, но в поселениях только и говорили, что об очередных бесчинствах черных.

И каждый раз, когда он поворачивал за мыс и видел, как из трубы поднимается дым, как куры бродят по двору, видел детей, бежавших к реке, чтобы его встретить, у него отпускало сердце.

Как-то раз в декабре, под конец 1813 года, он подходил к мысу Торнхилла. Дул горячий западный ветер, плавание было нелегким, и он был рад добраться до дома. Он уже направил «Надежду» к тому месту в мангровых зарослях, где обычно причаливал, как увидел, что к нему от хижины на всех парах несется Уилли — волосы развеваются, он что-то вопит. Еле отдышавшись, Уилли прокричал: черные пришли!

Торнхилл почувствовал, как грудь ему сдавило от боли. Он сразу же представил себе Сэл: вот она лежит на спине, лицо белее белого, мертвые глаза смотрят в небо. Мэри валяется рядом с ней, безжизненная груда пеленок, из нее вытекла вся кровь. Братец и Джонни оскальпированы, порублены на кусочки, пожарены живьем, съедены. На *лакомые кусочки*.

Но когда Уилли, окончательно отдышавшись, смог что-то рассказать, то оказалось, что все пока живы. Его худенькая грудь вздымалась и опадала, грязная мордаха вытянулась от ужаса, однако он всего лишь показал на дымок, эхо их собствен-

ного дыма, лениво поднимавшийся откуда-то из глубины леса и запутавшийся в деревьях, из-за чего они стали голубыми и туманными.

Торнхилл не почувствовал страха — только усталость. Он всего лишь хотел заниматься своим делом, ходить вверх и вниз по реке на «Надежде», выращивать немного кукурузы, радоваться тому, что у него имеются работники, и потихоньку взбираться по лестнице благосостояния. Ведь не так уж много он просил у судьбы, но вот они появились снова, неизбежные.

«Бога ради, помолчи», — сказал он и прислушался. Ветер не донес никаких странных звуков, только дальний лай собаки, детский возглас. Что-то прокричавший женский голос. Он смотрел на дым в надежде, что он исчезнет, и черные вместе с ним.

Уилли, нахмурившись, наблюдал за ним. «Возьми ружье, Па, — попросил он. — Пусть они увидят ружье».

Бывали дни, когда Торнхиллу хотелось, чтобы Уилли оставался мальчиком, для которого отец был божеством, а не превращался в подростка, считавшего себя уже мужчиной.

Тут в дверях хижины показалась Сэл с Мэри не бедре: «Они появились вчера, но близко не

подходили».

Он почувствовал облегчение, увидев, что она не испугалась.

«Отнеси им это, Уилл, — сказала она, протягивая ему мешок. — Кусок свинины, немного муки и… И немножко твоего табачка, я подумала, ты можешь им немного дать».

Торнхилл не взял мешок. Немного мяса в тот первый день — это одно. Но вот так, как будто так и положено, отдавать им свою еду и даже его табак — это уж совсем другое. Это уже не подарок. Это уже выглядело как плата за что-то, вроде тех монет, которые они отдавали каждый понедельник мистеру Батлеру, владельцу дома Батлера.

Наконец он взял в руки мешок, но только для того, чтобы поставить его на стол. «Если мы каждый раз будем им что-то давать, — сказал он, — то конца этому не будет. Они все время будут чего-то хотеть, пока мы сами не останемся ни с чем».

От лодки поднялся Дэн и уставился на них. Он должен был принести весла, но явился с пустыми руками, и Торнхиллу хотелось стукнуть его за то, что он стоял вот так — опустив руки — и слушал. Он был злобным мелким ничтожеством, но соображал быстро. И даже не пытался скрыть радости от того факта, что мистер и миссис Торнхилл

вот-вот поругаются.

Но умница Сэл лишила его удовольствия. «Ты прав, — согласилась она. Она посмотрела в ту сторону, где вился дымок, подумала. — Они вроде тех цыган… Когда они появлялись у задней двери, Па отдавал им свои старые рубашки. Но не каждый раз. И не впускал в дом».

До чего ж он ее любит! И как здорово она нашла способ объяснить себе этот новый мир. «Надо делать все по-умному, как Па делал, — она махнула одной рукой в одну сторону, другой — в другую. — Не стоит их злить, но нельзя и преимущество им давать, — она глянула ему в лицо. — К тому же они ведь не часто появляются, все время где-то бродят».

Она облекла в слова его собственное понимание ситуации. С черными надо провести черту. Вот только где — он не очень-то понимал. Но понимал другое: не стоит ждать, пока эту черту проведут сами черные.

Он постарался, чтобы голос его звучал по-будничному. «Пойду переговорю с ними, — как будто речь шла о разговоре с соседом. — Все им объясню по-простому». Он заметил, что она слегка нахмурилась, но никакого иного предложения у нее не было.

«Возвращайся поскорее», — только и сказала она.

Он подумал было взять с собой Неда или Дэна, но вряд ли это был вопрос простой арифметики — столько-то человек с одной стороны, столько-то с другой. Если бы дело было только в этом, от Торнхиллов с самого начала ничего не осталось бы. Дело было в другом, а в чем — он и сам себе объяснить не мог. И он большими шагами, словно меряя ими землю, направился в сторону дыма.

Он чувствовал себя совершенно обнаженным.

• • •

Черные разбили лагерь в дальнем конце мыса, недалеко от того места, где он видел вырезанную в скале рыбину. Это было удачное место — мягкая травка, из которой тут и там росли деревья, они создавали мягкую тень и ловили ветерок с реки. Тут к тому же имелся ручей — поменьше, чем тот, что был у Торнхиллов. На участке земли, таком же расчищенном и выметенном, как и тот, на котором стояла их хижина, располагались два шалаша из коры и листьев, наваленных на несколько укрепленных крест-накрест ветвей.

Возле них высилась стопка тарелок из коры с кучей крупных ягод и большой камень в фор-

ме блюдца, полный готовых к помолу каких-то семян.

Он не сразу разглядел возле костра двух старух, таких же неподвижных и темных, как земля, из которой они, казалось, выросли. Они сидели, вытянув длинные худые ноги, тощие груди висели до пояса. Одна из них прекратила делать то, что делала, — скручивать на своем тощем бедре кусок коры эвкалипта, превращая его в толстый коричневый шнурок. За ее спиной стоял ребенок и таращился на Торнхилла. Женщины тоже глянули на него, но без всякого интереса, как будто он был мухой.

Они все замерли, как на живой картине, пока тощая собака не поднялась со своего места и неохотно не залаяла. Женщина, скручивавшая шнурок, что-то ей крикнула, какое-то одно слово, и собака затихла. Схватила на лету муху и снова улеглась, косясь на Торнхилла глазом.

Вторая женщина встала, в руке у нее болталась дохлая змея. Она кинула ее на угли, небрежно, словно кусок старой веревки, потом наклонилась и палкой засыпала змею пеплом. Затем снова уселась и, не глядя на Торнхилла, принялась перебирать ягоды.

«Вам лучше бы отсюда уйти», — сказал он

мягко, но твердо. Слова растаяли в воздухе. Женщины не шевельнулись. Их лица были похожи на ткань, плотно укрывавшую их мысли, взгляд устремлен прочь. Длинные верхние губы, глубокие носогубные складки придавали им жесткий надменный вид. «Лучше держитесь подальше, — сказал он. — Подальше от нашего места».

Слова прозвучали и ушли, оставив за собой тишину. Он на шаг приблизился. Та, которая делала шнурок, неторопливо отложила его и встала. Ее длинные груди раскачивались, соски глядели в землю. Она стояла, спокойно глядя на него, словно дерево, стоявшее на своей собственной земле.

Он не мог заставить себя прямо взглянуть на нее. Он еще никогда не видел обнаженную женщину. Даже наготу Сэл он видел только отдельными местами. Сэл никогда не стояла перед ним так, как стояла эта женщина: без ничего, со шнурком, опоясывающим бедра. Если бы так встала перед ним Сэл, он кинулся бы укутывать ее. Но эти женщины не чувствовали стыда. Похоже, они даже не чувствовали себя нагими. Они были одеты в собственную кожу, точно как Сэл, одетая в шаль и юбку.

Та, которая бросила в огонь змею, подняла руку и отмахнулась от него. Она начала что-то

говорить, отрывисто и горячо, в ее глубоко посаженных глазах отражался свет. Она совсем не боялась человека в шляпе и бриджах, и что бы она ни говорила, она не ждала от него никаких возражений. Отговорив, она отвернулась, словно дверь захлопнула.

Ему не понравилось, как она это проделала, как будто никакой из его ответов ничего не значил. «Послушай, старуха, — произнес он громко. — Я же могу взять ружье и отстрелить твою дикарскую голову!» Он услышал в своем голосе напряжение, заполнившее все окружающее пространство. Женщина не смотрела на него, но ее лицо выражало явное неодобрение. Вторая снова заговорила и дернула головой. Он понял, что она говорит, куда ему следует отправиться — туда, откуда пришел.

Что-то заставило его обернуться. Позади него стояла группа мужчин, они появились так тихо, что вполне могли вырасти из земли. Их было шестеро, или восемь, или десять. Из-за того, что их кожа сливалась с тенью, которую отбрасывали деревья, их трудно было четко разглядеть.

В Лондоне Уильям Торнхилл считался крупным мужчиной, но эти заставили его почувствовать себя маленьким. Они были такого же роста, как

и он, с худыми, но сильными плечами, мускулистой грудью. Каждый держал по несколько копий, древки которых шевелились, как усики насекомого.

Он стоял, раздвинув ноги, его новые тяжелые сапоги твердо упирались в землю. Он увидел себя их глазами: непонятная одежда, лицо, скрытое шляпой.

Ему показалось важным вести себя как хозяин. Тогда они были бы его гостями. Он заставил себя весело их поприветствовать, глядя им прямо в лица, как будто они были псами, готовыми наброситься на него, если он как-то выкажет страх.

«Здравствуйте, джентльмены, — сказал он. — Как у вас дела? Неплохой денек, не так ли?»

Он услышал, как его нелепые, дурацкие слова испаряются в воздухе, и порадовался, что не взял с собой Неда и Дэна. Он почувствовал в груди горячий комок — ярости? Страха?

Надо было взять с собой ружье.

Где-то на дереве завела длинную песню птица, жужжание в траве становилось то громче, то затихало. В костре с мягким звуком рассыпалась на угли палка.

Из того места, где в углях готовилась змея, поднялся вкусный жирный аромат, он окутал его и

был ничем не хуже, чем аромат хорошей жирной бараньей отбивной. У него мелькнула мысль, что змея длиной в ярд могла бы стать неплохим обедом.

«Ну что, черные мерзавцы, языки проглотили?» — спросил он. И словно по сигналу они приблизились к нему, этой своей легкой походочкой, с копьями в руках. Один из них — тот самый седобородый, которого он оттолкнул в первый же день, — отделился от группы, подошел к Торнхиллу и положил длинную черную руку ему на плечо. Словно жар от огня, от этого обнаженного человека исходила власть. Изо рта у него потекли слова.

Торнхилл заставил себя очнуться. «Отлично, старый мошенник, — он резко остановил этот лившийся на него поток незнакомой речи. — А теперь слушай». Он наклонился и щепкой начал рисовать в пыли волнистую линию реки и аккуратный квадрат, его собственные сто акров. «Теперь это мое. Мыс Торнхилла».

Старик молча глазел на него.

«А твое все остальное, — громко сказал Торнхилл. — все-все остальное твое, приятель, забирай». Но его слова пролетали мимо старика словно дуновение ветра. Раньше он не замечал,

какие чистые у старика белки глаз, и подумал, что, наверное, так кажется оттого, что кожа черная, поэтому и глаза будто светятся изнутри.

Старик шагнул к костру и взял с одной из деревянных тарелок корешок маргариток, шесть или восемь узких клубеньков, болтавшихся на стебле. Он указал на корешки и что-то снова сказал. В конце концов он откусил один корешок. Прожевал, проглотил, кивнул. И хотя слова старика значили для Торнхилла не больше, чем пение птицы, он все понял. Старик оторвал еще один корешок и протянул Торнхиллу. Внутри корешок был полупрозрачный, явно хрустящий, чем-то напоминавший редис.

Но Торнхилл есть это не собирался. «Спасибо, старина, — произнес он шутливым тоном. — Но ешь свою редиску сам, — он снова поглядел на то, что старик протягивал ему на коричнево-розовой ладони: — По мне так это обезьянья еда, приятель, но если тебе нравится…»

Старик начал что-то горячо объяснять в подробностях. Он повернулся, показал на берег реки, потряс связкой корешков. В его голосе теперь слышался вопрос, он повторял какую-то фразу, будто ждал, что они о чем-то договорятся.

«Ладно, приятель, — сказал Торнхилл. — Мо-

жешь оставить себе свои обезьяньи яйца, раз уж они тебе так нравятся». Старик громко и четко произнес что-то, и Торнхилл распознал ту же фразу, что тот говорил раньше.

Похоже было, старик готов ждать ответа хоть весь день.

«Мы будем есть свое, приятель, а вы ешьте свое», — сказал Торнхилл, посмотрел старику в глаза и кивнул. Старик коротко кивнул в ответ.

Это уже был разговор. Вопрос и ответ. Но какой вопрос, какой ответ?

Они смотрели друг на друга, и слова вырастали между ними стеной.

• • •

«Все отлично, — объявил он, вернувшись в хижину. — Вообще не о чем волноваться. Они будут то приходить, то уходить».

На Рождество и в знойные первые дни января он каждое утро выглядывал из хижины в надежде, что больше не увидит их дыма. Но каждое утро дым четко вырисовывался на фоне неба.

Сэл, казалось, не волновалось совсем. «Они же будут появляться и уходить, — сказала она как-то раз, когда заметила, что он хмурится на дым. — Как ты и говорил». Он вынужден был согласиться,

но начал понимать, что все складывается не так просто, как он сам обещал.

Прошло некоторое время, прежде чем он признался себе, что его сотня акров — не так чтобы целиком его. Небольшая группа черных, хотя и незаметно, но всегда присутствовала где-то рядом. Они возникали среди деревьев, и чернота их тел была продолжением коры, теней, игры света на мокрых скалах. И сколько ни всматривайся, все равно не поймешь, то ли это ветки, то ли человек с копьем, наблюдающий за тобой.

Такой походки, как у них, Торнхилл никогда еще не видел. У них были длинные тела и тонкие ноги, которые так легко и беззвучно ступали по листьям и обрывкам коры, что казалось, они плывут по земле.

Торнхилл раньше говорил, что все черные похожи друг на друга, но со временем с удивлением понял, что начал их различать. Он даже принялся давать им имена, непритязательные, словно таким образом их отличие стало бы менее заметным. Как будто он одомашнивал их, превращал в соседей.

Старик угрюмостью рта и белизной бороды напомнил ему старого Гарри, который точил ножи на Суон-Лейн, вот он и прозвал его Бородатым

Гарри. При этом Торнхилл никому не говорил, что этот суровый старик мало чем напоминал лондонского точильщика. Молодой человек, который пытался его ударить в первый день, был высоким и держался очень прямо, поэтому он получил прозвище Длинный Боб. Другой молодой человек был не чернее остальных, но выглядел очень мрачным, и чтобы эта мрачность не казалась такой пугающей, Торнхилл назвал его Черным Диком.

Бородатый Гарри слонялся вокруг на своих тощих ногах, неторопливый, осторожный. Или стоял, уперев ступню одной ноги в колено другой, и, опираясь на свое копье, наблюдал. Встретившись лицом к лицу с Торнхиллом, смотрел сквозь него, будто Торнхилл был соткан из воздуха.

Длинный Боб и Черный Дик порой наблюдали, как Торнхилл с Недом и Дэном пропалывали сорняки в посадке кукурузы. Они стояли или сидели на корточках, и их копья сливались с другими тонкими и гибкими вертикалями.

Копья всегда были при них.

Торнхилл и Дэн как-то раз видели, как Черный Дик орудует копьем, целясь во что-то в траве. Он слегка отклонился назад, уравновесив себя вытянутой вперед свободной рукой, а потом

швырнул копье движением таким же быстрым и неуловимым, как щелчок хлыста.

«Господь наш Иисус, — выдохнул Дэн. — Ты это видел?»

Мужчины никогда не подходили к Торнхиллу и его людям настолько близко, чтобы можно было затеять разговор, а вот женщины были более решительными с Сэл. Они кружили вокруг хижины, как возле какого-то валуна, и взяли в обычай, проходя мимо Сэл, что-то петь.

Как-то раз, возвращаясь в хижину с Недом и Дэном, чтобы попить чаю, он увидел, что группа женщин вывалилась из леса и подошла к краю двора. Жестом остановив Неда и Дэна и указав им молчать, он наблюдал, как из хижины вышла Сэл с небольшим горшком в руках, и в тихом неподвижном воздухе услышал, как она говорит им: «Ой, Мег, а что это у тебя там такое?» Он стоял и смотрел, на всякий случай крепко сжимая лопату — а вдруг они сделают ей что-то плохое? — готовый призвать на помощь Неда и Дэна.

Их же было так много, а Сэл только одна на всем белом свете.

Но женщины подошли к ней поближе и стали показывать ей что-то, что лежало на деревянных тарелках, толпились, над чем-то посмеивались.

У одной со шнурка, обвязанного вокруг талии, свисала большая пятнистая ящерица, когда женщина двигалась, ящерица шлепала ее по колену. Она подняла ее, толстую и тяжелую, с лапами, торчавшими из бледного брюха, и что-то закричала Сэл. «Очень хорошо, Полли, — сказала Сэл. — Но неужели ты будешь это есть?» Она показала на ящерицу, потом изобразила, будто ест, потом показала на женщину, и все они загалдели и засмеялись, повторяя ее движения — подносили руки ко рту и делали вид, будто жуют. Таких белых зубов Торнхилл тоже еще никогда не видел — сильных, сверкающих. Сэл понравилось говорить им все что в голову придет: «Ну ты и обжора, Полли, а как насчет крыс? А не пробовала ты варить червяков, такой хорошенький маленький котелочек?»

Молодые женщины толпились за теми, кто постарше, и пересмеивались, прикрывая рты ладошками. Одна — та, что посмелее, — вышла вперед и пощупала юбку Сэл, а потом с воплем, будто обжегшись, отбросила незнакомую на ощупь ткань. Но Сэл шагнула вперед и протянула край юбки, зажав его в кулак. «Ну, ты не лучше какого-нибудь глупенького животного», — сказала она, улыбаясь, и девушка, сочтя

это за разрешение, решилась и на этот раз взяла ткань и потискала ее. Теперь и другие подошли поближе. Одна дотронулась до руки Сэл, ее рука на белом фоне была совсем черной, затем резко отдернула руку, будто ее кто укусил, а потом уже спокойно положила руку на руку Сэл и внимательно посмотрела ей в лицо. Другая, решившись, потрогала чепчик Сэл, а остальные криками ее подбадривали.

И наконец одна из них стащила с Сэл чепец и водрузила на свою голову — такой белый и такой несовместимый с черными кудряшками. Наверное, это было самое смешное из того, что они когда-либо видели, — Сэл аж пополам согнулась, до чего это было смешно: совершенно голая черная девушка с белым чепчиком на голове, и на лице у нее радостная гримаса. Другие женщины тоже захотели примерить чепчик, он переходил из рук в руки, с головы на голову, пока все они корчились от смеха.

Любой мужчина потеряет голову от вида маленьких грудок и стройных бедер этих молодых девушек. Когда одна из них потянулась за чепчиком, кожа шелково засияла на ее плечах, на бутонах грудей. Торнхилл оглянулся и увидел, что Дэн уставился на этих бесстыжих девушек,

глаза ярко горят на бледном лице. Нед не преминул высказаться. «Только посмотрите на их титьки, — хрипло прошептал он и сглотнул слюну. — Кругом одни титьки».

Теперь Сэл знаками показывала, что ее интересует не содержимое деревянных тарелок, а сами тарелки. Женщины поняли, переложили то, что в них было в одну, так что Сэл смогла покрутить тарелки и восхититься ими. Переговоры продолжились. Сэл протянула свой чепчик и знаками показала: «Вы даете мне, я даю вам».

Женщины сразу ее поняли. Самая старшая, морщинистая, та, которая делала шнурок, когда Торнхилл впервые ее увидел, что-то показала Сэл жестами, Сэл ушла в хижину и вернулась с куском сахара. «Наш сахар! — чуть было не крикнул он. — Не давай, Сэл!» Они снова там что-то показывали друг другу, и наконец белая женщина в юбке и кофточке отделилась от обнаженных черных. Сделка состоялась: самая старая из женщин держала в руках сахар и чепчик, а Сэл — одну из деревянных тарелок.

Возвращаясь в хижину, она увидела Торнхилла и крикнула, радуясь, как девчонка: «Смотри, что у меня есть! Их миска! Разве это не диковина?!» И протянула миску ему, чтобы он тоже порадо-

вался. «Но у нас же есть тарелки, Сэл, — сказал он. — Какой толк в этой?» Но она отмахнулась. «Ах, Уилл, глупый ты человек! — вскричала она. — Это не для того, чтобы пользоваться, это редкость, курьез, — она с трудом выговорила незнакомое слово. — Миссис Херринг говорит, что благородные там, дома, платят за такие вещи хорошие деньги. Если я в течение пяти лет буду раз в месяц выменивать по одной, то мы, когда вернемся, сможем получить за них хорошую выручку».

Ее пальцы ласкали грубую миску. «А я отдала старый чепчик, который уже совсем выносился, да немного сахара. Перестань дуться!»

Она, как ребенок, гордилась собой, своей добротой к новым соседям и сделкой, которую ей удалось заключить: «Миссис Херринг подсказала хорошую идею, можно даже больше никакими другими делами и не заниматься».

Видя такую ее радость, как он мог не улыбнуться и не обнять ее за талию, которая так удачно приходилась ему по руке?

Позже Торнхилл увидел женщин возле реки, они копались в камышах. Кусок бумаги, на которой раньше был сахар, лежал на земле, вылизанный до блеска. Чепчик Сэл забрала себе

женщина, у которой на поясе болталась ящерица. Она надела его не на голову, а напялила на свой торчащий зад, и женщины снова смеялись. Торнхилл не хотел бы, чтобы Сэл это видела и слышала такой их смех.

• • •

Лес никогда не казался Торнхиллу источником пропитания. И он не очень-то внимательно разглядывал то, что собирали женщины и образцы чего ему показывала Сэл, — какие-то маленькие твердые фрукты, высушенные ягоды, корешки, и уж точно он не считал, что это можно есть. В лесу он замечал только муравьев да мух, и птиц, которые искоса глазели на него с веток, да еще этих здоровенных пятнистых ящериц — их-то уж он есть никогда не будет. Ящерицы высоко держали свои длинные головы и, не мигая, таращились на него, готовые, как только он подходил ближе, взбежать на ближайшее дерево.

Он думал, что, наверное, поэтому женщины считали этих новеньких такими забавными. Домочадцы Торнхилла надрывались, потели под жарким солнцем, рубили, копали, а есть им, кроме солонины да испеченных в углях лепешек, все равно было нечего. Черные же отправлялись

в лес и возвращались с обедом, болтавшимся на поясках.

Да, с определенной точки зрения это действительно выглядело забавно.

Нед и Дэн презирали черных, ведь черные на лестнице бытия располагались еще ниже, чем они сами. Глянув на одного из мужчин, сидевшего на корточках в тени, с копьем в руке, Дэн пробормотал: «Только погляди на его волосатую штуковину, болтается себе, у собаки и то больше скромности», и Нед, на которого временами находило, откинул голову и завыл.

«Никогда не видел, чтобы они хоть к чему-то руки приложили, — ворчал Дэн вечером за едой. — Сидят себе, только яйца болтаются, уж простите, миссис Торнхилл, да на нас глазеют». Сэл сказала: «Мы можем научить их работать, Уилл, обучить их управляться с лопатой и всем остальным». Они все представили, как Бородатый Гарри или Черный Дик отложат свои копья и склонятся над лопатой. «Даже цыгане, и те время от времени работают», — сказала Сэл, и Торнхилл понял, что эта мысль запала ей в душу.

• • •

Торнхилл все проигрывал в уме свою нелепую беседу с Бородатым Гарри, но просветления не наступало. Он понимал, что дискуссия не окончена.

Как-то в воскресенье Сэл, зачеркнув на дереве очередную неделю, сказала: «А они здесь давно. Они пришли на четырнадцатой неделе, а сейчас уже семнадцатая, — и принялась, повернувшись к нему спиной, возиться у очага. — Я думала, они к этому времени уже уйдут».

Какое же облегчение высказать эту мысль вслух! «Не хотел пугать тебя, Сэл, но и я о том же думаю». Теперь она повернулась к нему и, щурясь из-за поднимавшегося от огня дыма, улыбнулась: «Да вовсе ты меня не пугаешь! Ты что, полагаешь, я могу так разволноваться, что хлопнусь в обморок, как какая-нибудь леди?»

Несколько дней спустя от лагеря донеслись звуки какой-то возни, собачий лай, громкие голоса. Сэл сидела на бревне, установив между ногами мельничку для зерна. «Миссис Херринг говорит, что хоть они и уходят, но ненадолго, — сказала она. — Им здесь, у реки, тоже нравится, как и нам».

Торнхилл с удивлением глянул на нее: «А ты ее спрашивала? Спрашивала у нее про них?»

У миссис Херринг была своя манера смотреть на Торнхилла, казалось, она могла читать все его тайные мысли, и он чувствовал себя в ее присутствии весьма неловко. Он мог скрывать какие-то свои соображения от Сэл, но вряд ли у кого получалось утаить что-то от миссис Херринг. Он так и представлял, каким ироничным взглядом она смотрела бы на него, если бы он только попытался заговорить с ней о черных.

Сэл сосредоточилась на мельничке: когда она поворачивала ручку, мельничка то и дело норовила выскользнуть и содержимое — зерна кукурузы — летело на землю. «Ну что ж за косорукая!» — выбранила она себя сквозь сжатые от усилия зубы. Он взял у нее хитроумную штуку — совершенно дурацкую, он собирался, как только появятся какие-то свободные деньги, купить для нее новую, — и смолол все что надо было, пересыпав крупу в подставленную ею миску.

Она стояла с миской в руках и смотрела на него. «Приходить и уходить — одно дело, — сказала она. — Но прийти и не уходить — совсем другое». Он видел, что она не собиралась так уж подробно обсуждать, что из всего этого может получиться.

Но он понимал: это был не страх, и даже не беспокойство. Это была тень от поднимавшегося в небо чужого дыма, который бросал тень на их существование.

«Миссис Херринг не такая, как мы, — сказал он. — Она одна на белом свете. У нее другого выбора нет».

Сэл перебирала крупу в миске. Он заметил несколько белых частичек среди желтой кукурузной крупы — перемолотые вместе с зернами долгоносики. «А у нас? — спросила она. — У нас разве есть другой выбор?» Сначала он подумал, что она поддразнивает его, но потом понял, что спрашивает всерьез. «Послушай, Уилл, поговори об этом с Томом Блэквудом. Посмотрим, что он скажет».

Поэтому на следующее утро, еще до рассвета, он направил лодку-плоскодонку к устью Первого Рукава и отдался на волю приливу. За лодкой по гладкой поверхности воды тянулся шлейф пены. Все, что требовалось от Торнхилла, — сидеть на корме и рулить веслом.

Блэквуд нашел способ существования здесь, но мудрость, которой он поделился, все равно оставалась загадочной. «Что-то отдаешь, что-то берешь». Что это означало в реальности — не на

словах, а в определенное время и в определенном месте? Как это применить к ситуации, случившейся у костра черных, когда белый человек и черный человек пытались понять друг друга, произнося слова, в которых не было никакого толку?

К тому моменту, когда солнце позолотило верхушки деревьев в лесу, он уже добрался до долины. Это было спокойное, тихое место. Вода, хоть и чистая, была цвета крепкого чая. Оба берега заросли мангровыми деревьями. За ними, на узкой полоске ровной земли, росли казуарины, а за ними на каждой стороне высились крутые каменистые склоны.

Москиты здесь были свирепые. Торнхилл наблюдал за одним, особенно здоровенным, с полосатыми лапами, который пытался жалом пробить ему рукав рубахи, пока жало не согнулось. Где-то на дереве пела птица, она раз за разом издавала переливчатые звуки, будто звонила в серебряный колокольчик. Из воды выскочила и снова скрылась рыбина, блеснув на солнце серебром. Река и все вдоль нее затаилось, наблюдая за ним.

Миль через пять земля за мангровыми зарослями выровнялось, как будто река локтем

отодвинула каменистый склон и щедро выдала мягкий покатый участок земли. Там он и увидел поднимавшийся в небо дымок, который наверняка принадлежал Блэквуду.

На берегу не было видно никакого причала, даже прохода в мангровых зарослях, куда можно было бы загнать лодку. Торнхилл проплыл еще немного и заметил наконец прореху, куда зашел, отталкиваясь веслом. Казалось, это тупик, но он пробрался сквозь защитный барьер ветвей и снова вышел к полоске чистой воды, заканчивавшейся бревенчатыми мостками. К ним, ведущим к укромному заросшему травой берегу, была пришвартована рыбачья плоскодонка Блэквуда.

Местность напоминала его собственный мыс, каким он был в самом начале, — мангровые заросли, казуарины, а потом открытое пространство с редкими деревьями. Окруженная скалами, в раннем свете дня сверкала цинковым блеском лагуна. Она тоже поросла казуаринами — отколовшийся от реки кусок, забытый среди скал.

Теперь он увидел и сам дом Блэквуда, сложенный из горбыля и крытый корой, посадку кукурузы, изумрудно-зеленую в ранних лучах солнца, кур, копошащихся в земле. И дом, и делянка вольно расположились среди деревьев.

В отличие от Торнхилла и остальных, Блэквуд не расчищал свои угодья. Здесь не было лысых участков, заваленных спиленными деревьями — приметами начала и конца цивилизации. Здесь сосуществовали и обжитое, и лес.

Блэквуд уже поджидал его, его крупная фигура занимала собой весь дверной проем. «Вот ты сюда и добрался, Уилл Торнхилл, — сказал он. — А ты знаешь, что любопытным порой носы отрубают?»

Это вряд ли походило на приветствие.

«Мы тут не жалуем пришлых», — добавил он, наблюдая, как Торнхилл пытается понять, кто это «мы».

«Черные разбили лагерь рядом со мной, — начал Торнхилл. — Свалились как гром средь ясного неба». Он и сам слышал, как неуверенно звучит его голос. Лицо Блэквуда оставалось таким же мрачно-неподвижным. Он умолк и посмотрел в сторону лагуны. Над деревьями поднимался дымок — наверное, там была винокурня Блэквуда.

«Просто заявились, будто кто им разрешил», — снова попытался Торнхилл. Он пробовал объяснить, что в присутствии черных ему вроде как воздуха не хватает. Что они относятся к этому месту как к своему собственному. Он чувствовал

себя дураком, не зная, как рассказать, объяснить этому человеку, что значат для него его собственные сто акров.

Он не мог подобрать слов. Все было настолько интимным, говорить об этом было все равно как говорить о части тела, которую стыдно выставлять напоказ.

«То есть пришли черные, и ты испугался, да?» — наконец осведомился Блэквуд. Торнхилл услышал в его голосе удивление. Блэквуд подумал и произнес отрывисто: «Тогда нам с тобой лучше сейчас выпить чаю».

Они взяли по кружке и уселись на скамейку возле дома. Место себе Блэквуд выбрал отличное — под деревьями мягкая травка, поблескивающая на солнце лагуна, птицы, распевающие на деревьях возле посадки кукурузы. И устроился удобно. У него была приземистая каменная печь, в которой доходил накрытый мешковиной хлеб. Под тенистым деревом стояла скамейка с тазиком для умывания, с колышка свисало правило для бритвы, в щель в коре был воткнут осколок зеркала.

Дым над лагуной то становился гуще, то таял, развеянный ветром. Торнхиллу показалось, что за пением птиц и шумом ветра в листве он

различал и другие звуки. Голоса, что ли, или собачий лай? Но как только звук становился более явственным, снова принималась заливаться птица.

Блэквуд заговорил, но, казалось, совсем не о том, о чем спрашивал Торнхилл: «Как-то раз возвращался из Сиднея… Ни ветерка, и прилив вот-вот закончится. Там есть Песчаный остров, а на нем пляж, — начал так, будто ему предстоял долгий рассказ, однако конец истории наступил быстро: — Там меня и ждали черные».

Торнхилл попытался представить себе, как это выглядело: Томас Блэквуд стоит на берегу Песчаного острова, к нему выходят черные. «И что ты?» — начал было Торнхилл и умолк, он давно знал, что торопить Блэквуда не стоит — этот тип мог быть очень даже упрямым.

Терпение было вознаграждено. «Подошли ко мне, — сказал Блэквуд, — и сказали убираться».

«Убираться…» — повторил Торнхилл.

«Со своими чертовыми копьями наготове, я чуть не обделался, — Блэквуд показал, как они держали копья. — Стоят и ждут».

Блэквуд глянул на скалы. За ними поднималось солнце, поэтому они казались темными провалами. «Дал им немного из своих припасов, да они

ничего не брали».

Торнхилл слышал уже немало историй про то, какие опасности подстерегают белого человека в низовьях Хоксбери, и медленное повествование Блэквуда его просто бесило — еще немного, и тишина совсем поглотит его слова.

«Так чего же они ждали?»

Блэквуд глянул, будто удивившись, что он все еще здесь. «Не поверишь, приятель, но я снял с головы гребаную шляпу и протянул одному из них, — он улыбнулся, снова представив себе эту сцену. — Да их не обдуришь. Надо же, шляпа, — он поболтал остатки заварки в кружке и выплеснул чаинки на землю. — Но худо-бедно, они разрешили мне остаться. Выразили это совершенно понятно: мол, оставайся на берегу. Не могли бы высказаться яснее, даже если бы говорили на королевском английском».

Но это было еще не все. «А потом, к ночи, принялись петь — там, у себя на горе, — Блэквуд начал хлопать в ладоши, отбивая ровный ритм, покрутил головой, прислушиваясь к звучащей в памяти музыке. — Будто говорили: а дальше не суйся». Он потер ладонью о ладонь. «Но шляпу мне так и не вернули, — засмеялся он. — Паршивцы оставили шляпу себе».

И снова воцарилась тишина. Торнхилл думал, как применить эту историю к своей ситуации. «Что-то отдаешь, что-то берешь». Механизм по-прежнему был не очень-то понятным, разве только предполагал наличие изрядного запаса шляп.

Дымок таял в становившемся все более горячем воздухе.

Блэквуд, по-видимому, сказал все, что хотел сказать. Взял пустые кружки, встал. Торнхилл тоже встал, и тут послышался голос, явно человеческий. Голос шел от лагуны, оттуда, где ветви казуарин сплели сеть из света и тени. Блэквуд крикнул что-то в ответ, слова были неразличимы, будто сбились в кучу, и одна из теней отделилась, двинулась вперед и превратилась в черную женщину. Она стояла возле деревьев, Торнхилл видел, как ее рот формирует непонятный поток звуков, но он догадался, о чем она — по тому, как она держала голову. Когда Сэл держала голову вот так, это значило, что она злится.

Она сделала еще несколько шагов, и Торнхилл увидел, что за спиной у нее прячется ребенок. Самого ребенка видно не было, видна была только его ручка, обхватившая ее бедро, похожая на белую рыбку на черном фоне. Одной рукой жен-

щина придерживала за спиной ребенка, а другой указывала на Торнхилла. Голос ее звучал все громче. Сомнений в том, что именно Торнхилл стал причиной неудовольствия, не оставалось.

Блэквуд ей ответил, и Торнхиллу показалось, что он в обычной своей манере просто глотает слова, а потом он догадался, что Блэквуд говорит с ней на ее языке. Говорил он медленно, как-то неуклюже, но Торнхилл видел, что женщина слушает его и понимает. Ребенок выглянул у нее из-за спины и уставился на Торнхилла, засунув кулачок в рот. Торнхилл увидел светлые волосики, мордочку цвета спитого чая, поразительно светлую на фоне темных ног женщины.

Блэквуд наблюдал за тем, как смотрит на них Торнхилл. Подождал, пока сосед повернулся к нему и встретился с ним взглядом. До этого Торнхилл как-то не обращал внимания на глаза Блэквуда. Они казались ярко-синими на красноватом обветренном лице, такие глаза, принадлежи они женщине, сделали бы ее красавицей — гиацинтово-синие, с длинными ресницами.

«Я считаю, что они тихие и мирные люди, — наконец сказал Блэквуд. — Чего нельзя сказать о многих наших соседях». Он пошевелил пальцами, как бы нащупывая нужные слова. «Я сказал

ей, что ты будешь держать рот на замке. Обо всем, что здесь увидел».

Он так глянул на Торнхилла, будто врезал ему кулаком. «На твоем месте, Уилл Торнхилл, я бы так и поступил. Потому что, если скажешь кому хоть слово, я за твою жизнь, Богом клянусь, и ломаного фартинга не дам».

• • •

Торнхилл рассказывал все это Сэл шепотом, Нед и Дэн в своей пристройке ничего не услышали, и она так долго молчала, что он подумал, что она заснула. Наконец она пошевелилась, вздохнула. «Вот это уже совсем другая история, — сказала она. — Нам не от кого ждать помощи, кроме как от миссис Херринг. Похоже, придется все делать самим».

• • •

Поскольку Дику скоро должно было сравняться восемь, ему была поручена своя работа: кормить кур, собирать хворост для растопки. «Только, помни, не кору! — кричала Сэл вслед, когда он уходил в лес, а Братец с мешком все старался его нагнать. — Бери хорошие маленькие палочки».

Еще он таскал воду в бочку. Дик носил ведра по тропе, проложенной к ручью — возле ручья трава была ярко-зеленой. Братцу заходить так далеко не разрешалось. Они вырыли там резервуар, выложили камнями — вода была достаточно чистой, хотя из-за комариных личинок все равно приходилось процеживать ее через кусок муслина. Чтобы наполнить стоявшую возле двери бочку, требовалось сделать шесть ходок туда и обратно, и еще одну — чтобы залить в стоявший на огне чугунок.

Выполнив задание, Дик исчезал, а Братец стоял и звал его. «Ты еще маленький, — говорил ему Дик. — Тебе же только пять, Братец, ты сам знаешь, Ма не разрешает тебе уходить далеко». Дик шагал через всю поляну, мимо тщательно сложенных обрубков, поджидавших, когда их сожгут в очаге, мимо чайных деревьев, шелестевших на ветру и разрисовывавших своей тенью землю, прямо к склону горы, где на жаре дремал лес. Здесь он мог провести весь день — он изучил эти места вдоль и поперек.

Дик притаскивал в хижину найденные им сокровища — эвкалиптовую моль, свернувшуюся как спящая собака, полупрозрачный круглый камешек, кусок дерева, до такой степени изъ-

еденный белыми муравьями, что он стал похож на губку. Остальные не очень-то интересовались такими диковинами. Братец, правда, восхищался уснувшей бабочкой, Джонни повертел камешек, пока Уилли не стрельнул им из рогатки, но сами они к таким штукам не присматривались, не примечали их в лесу, где взгляд отвлекало слишком многое.

Иногда Дик спускался к реке. Торнхилл не раз замечал его на другой стороне мыса — на черной стороне, как они ее называли. Он видел, как Дик играл на песчаном берегу с туземными ребятишками — сплошные длинные ноги и худые руки, как у насекомых, они постоянно прыгали в реку и выскакивали из нее, и Дик вместе с ними, раздетый, как и они, догола. Он был белым, они черными, но издали, в отражавшихся от воды солнечных лучах, они были неотличимы. Он бегал, кричал и смеялся вместе с ними и казался их бледным кузеном.

И пока белые горбатились под жарким солнцем на посадках, выдергивая сорняки, которые за ночь снова вырастали по колено, черные ребятишки, мокрые, голенькие, резвились в реке, и их звонкие голоса взбирались вверх по склону.

Торнхилл ничего об этом Сэл не рассказывал,

но Братец был не из тех, кто станет прикрывать брата, который все время его бросает. Однажды он влетел в хижину, задыхаясь и с красной физиономией, и торопливо выпалил, что Дик «там, внизу, с черными, и совсем без одежек!».

Сэл замерла, перестала месить тесто из кукурузной муки — руки ее были все в липкой желтой массе — и спокойно произнесла: «Сходи-ка за ним, Уилл. Он должен понимать, что зашел слишком далеко».

Он нашел их на тропинке в лагерь — с дюжину детишек, обступивших сидевшего на корточках Длинного Боба. Торнхилл сразу же заметил среди них своего сына, так внимательно смотревшего на что-то, что делал Длинный Боб, что даже не заметил отца. «Дик, — позвал он. Мальчик обернулся, и его личико закрылось, словно кулак. — Пойдем-ка отсюда. А где твои штаны?»

Дик не двинулся с места. «Па, он показывает, как добывать огонь, — отозвался он. — Без кресала и всякого такого». Торнхилл слыхал о том, как добывают огонь, потерев друг о друга две палочки, но думал, что это одна из историй, которые рассказывают про черных. Он подошел поближе, готовый получить удовольствие от мошеннического трюка.

Длинный Боб даже не взглянул на Торнхилла. Он положил на землю расщепленный вдоль кусок высохшего травяного дерева, мягкой внутренностью вверх, и прижал его ногой. Затем под прямым углом вставил в него другой кусок и принялся быстро вращать его между ладонями, как будто сверлил одной деревяшкой другую. Торнхилл видел, как двигались мышцы на его сильной спине. Он продолжал терпеливо крутить ладонями палочку. Рядом с ним лежал лист капустного дерева, полный наломанного хвороста.

Он смотрел, но не видел никаких признаков огня, ничего, даже легкого дымка. Он пытался поймать взгляд Дика и подмигнуть ему, но Дик уставился в точку, где встречались две палочки. Он так сосредоточился, что даже забыл об отце.

«Ладно, пошли», — позвал Торнхилл, но его слова утонули в детских воплях. В том месте, где одна палочка вгрызалась в другую, возникло пятно, и в воздух поднялся темный столбик. Мгновенным движением Длинный Боб засунул палочки в лист и свернул его в пакет — с хворостом и палочками внутри. Потом он встал, как вставали все они — без труда, без подготовки, — и, вытянув руку, принялся размахивать пакетом. И пакет вспыхнул. Торнхилл был потрясен. А

Длинный Боб бросил его на землю, подкормил огонь несколькими деревяшками — и вот он, настоящий костер.

А потом он глянул на Торнхилла. Все было понятно без слов: «Можешь так, белый человек?»

Торнхилл предпочел рассмеяться. «Клянусь, отличный фокус! — сказал он, глянув на Дика и увидев, что физиономия у сына расслабилась. — Правда, Дик?» Но мальчик не рискнул согласиться. Возникла пауза, черный человек и белый человек словно изучали друг друга. Дети наблюдали за ними, но ничего не случилось, и они столпились вокруг огня.

Торнхилл прижал руку к груди. «Я Торнхилл», — провозгласил он громко, по слогам, перекрывая детский щебет. Длинный Боб глянул на него, а потом отвел взгляд, как будто никто к нему и не обращался.

«Я Торнхилл, — повторил он. — Так меня зовут, понял? Торнхилл».

Дик искоса наблюдал за ними. Наконец Длинный Боб посмотрел на Торнхилла и улыбнулся так широко, что стали видны все его зубы, все заполнившие рот мощные белые орудия.

Да хоть всему Лондону во рты заглядывай, а таких зубов не сыщешь.

«Я Торнхилл», — повторил Длинный Боб, как мог, и Торнхилл рассмеялся от облегчения, что ситуация вывернулась. Сделал шаг вперед, чтобы похлопать Длинного Боба по плечу, но что-то в этом плече, располосованном розовыми шрамами и мускулистом, его остановило.

«Да! — воскликнул он. — Только это не ты, приятель, это я Торнхилл!»

Он тыкал себя в грудь, чуть не приплясывая на месте.

Длинный Боб протянул к нему руку и произнес: «Торнхилл». Потом положил руку себе на грудь, и губы его быстро задвигались, производя поток звуков.

Торнхилл уловил первый звук, но остальные растворились в воздухе, как пар над чайником. Но не такой он был человек, Уильям Торнхилл, умеющий написать свое имя на листке бумаги, чтобы выглядеть дураком перед каким-то голым дикарем. «Джек, — сказал он доверительным тоном. — Пока, Джек».

Черный повторил цепочку звуков, уперев указательный палец себе в грудную кость. Первый звук он произносил, вытянув вперед губы, и звук был достаточно понятным, но остальные — нет. Как будто слово, которое не имело смысла, нельзя

было и расслышать.

«Да, друг, — сказал Торнхилл. — Но Джек — короче, а то у тебя такое прозвище, что рот сломаешь».

В лучах послеполуденного солнца глубоко посаженные глаза Длинного Боба сверкали. Лицо словно захлопнулось, скрывая мысли.

Торнхилл, окруженный сплошь черными телами, кроме его сына, увидел, что кожа у них не совсем черная, как и у него не совсем белая. Это была просто кожа, с такими же порами и волосками, с такими же оттенками разных цветов, что и его кожа. А если видеть кожу только черной, то поразительно, как быстро чернота поглощает все.

«Ты отличный парень, Джек, — сказал Торнхилл, — даже если задница у тебя такая же черная, как дно у чайника». Он услышал, как Дик засмеялся, но тут же подавил смех. «Но все равно мы в конце концов всех вас победим, — ляпнул он, не думая, слова вырвались у него сами собой. — Нас ведь чертовски много».

У него мелькнуло воспоминание о доме Батлера, о кашле и проклятиях дюжин мужчин и женщин, загнанных в маленькое пространство. Он словно слышал грандиозную машинерию Лон-

дона, слышал, как вращаются колеса правосудия, перемалывающие преступников и выплевывающие их сюда, корабль за кораблем, видел, как расползаются они от губернаторской пристани в Сиднее по всей этой земле, и реки, горы, болота могут лишь замедлить их продвижение, но остановить не могут.

От этой мысли он весь как-то помягчел, но и погрустнел. «Нас никто не остановит, — сказал он. — Скоро здесь для вас, бедных черных парней, ничего не останется».

Длинный Джек что-то ответил, произнес несколько слов, и ребятишки снова запрыгали, засмеялись. Торнхилл видел их розовые языки, их сильные белые зубы. Дик тоже засмеялся, но как-то неуверенно, поглядывая то на Джека, то на отца.

Торнхилл тоже заставил себя смеяться, словно услышал самую смешную вещь на свете. Он заметил, что потирает руки, совсем как потирал их священник в церкви Христа, когда чувствовал себя неловко, и замолчал. Детишки, сидевшие на корточках вокруг костра, прятали улыбки в ладонях.

Он вспомнил, как улыбается ему Мэри, демонстрируя свой единственный зуб, как она гулит и

хохочет, будто от самой веселой шутки. Разница лишь в том, что у него никогда не возникало подозрения, что Мэри смеется над ним.

• • •

Вечером Сэл усадила Дика рядом с собой и попыталась объясниться: «Они дикари, а мы — цивилизованные люди, мы голыми не ходим». И хотя говорила она ласково, Торнхилл видел, как напряглось у мальчика лицо. Он был всегда настороже, и среди всех братьев был самым подозрительным. Сэл тоже это заметила и попыталась отшутиться: «Только представь себе, Дик, вот сниму я корсаж и буду расхаживать, как они! А отец штаны снимет!» Дети расхохотались, улыбнулся даже Дик.

Торнхиллу надоело, что Дик, когда надо было сделать какую-то работу, непременно исчезал. «Слушай, ты уже достаточно взрослый для таких проделок, — сказал он голосом более строгим, чем намеревался. — Пора тебе взять на себя серьезные обязанности, а не гонять с дикарями».

Но Дик, при всей своей мечтательности, был парнем упрямым. «Зато им не нужен ни кремень, ни что-то такое, что нужно тебе, — ответил он угрюмо. — И они целыми днями не пропалывают

кукурузу». Торнхилл почувствовал, как в нем вскипела ярость. Он схватил мальчика за руку и выволок наружу. И в последних лучах заката, под издевательский смех кукабарры, вытащил свой тяжелый кожаный ремень и выпорол Дика. Рука сопротивлялась, отказывалась это делать, но остановиться он не мог. Он слышал, как при каждом ударе вскрикивал Дик — как будто от удивления.

Раньше он никогда не бил детей. Мог схватить за ухо, как хватал его отец, мог дать шлепок по попе, чтобы помнили. Но на этот раз в нем что-то взорвалось. В течение этих трех долгих месяцев, что они здесь провели, в нем накапливались беспокойство и страх, и теперь они превратились в ярость.

Он вернулся в хижину. Сэл молчала и старалась не встречаться с ним глазами. Она быстро уложила детей спать, и они, как обычно, сели рядом, глядя в догорающие угли. Им всегда было трудно оторваться от этого зрелища, так великолепно мерцали они в ночи.

«Ты считаешь, что мне не стоило этого делать, — сказал он наконец: молчание между ними стало невыносимым. — Ты думаешь, что ему можно слоняться с этими… — он промедлил,

припоминая слово, которое он где-то услышал. — С этими первобытными?»

Сэл сказала осторожно, нейтральным тоном: «Дело не в этом, Уилл… Да, он бегает где-то, но и мы с тобой тоже где-то бегали, — она протянула руки к огню, хотя ночь была совсем не холодной. — Помнишь то место в Ротерхите? Только у него здесь нет никакого Ротерхита. Он о нем даже и не слыхал».

Они слышали, как Дик всхлипывал в своем углу. Сэл права: его дети не знают никаких других мест, кроме мыса Торнхилла. Они ничего не знают о мощеных брусчаткой улицах, о домах, набитых под завязку, о кирпиче, влажном от поднимающегося с реки тумана. Они ничего не знают об онемевших от холода ногах, о руках, из последних сил удерживающих весла, сделавшиеся такими тяжелыми, словно их отлили из чугуна, они не знают о бесконечном дожде, день за днем сыплющемся с неба, о кошмаре пронизывающего до костей холода. В их устах даже названия тех мест звучали по-другому.

Как бы там ни было, но этот мир был единственным известным им миром.

Ладонь у Торнхилла, которой он держал ремень, по-прежнему саднило, как будто это его

высекли. «И все равно, теперь он будет ходить на лодке вместе со мной и Уилли, — сказал он. — Зарабатывать себе на обед». Он увидел, что она кивнула с рассеянным видом, и погладил ее по плечу: «Ну все, на сегодня хватит, да?» Она провела рукой по его щеке, он услышал, как заскрипела щетина.

«Хватит, так хватит», — она улыбнулась, и в уголках глаз собрались морщинки, которые он так любил. Они поднялись, чтобы идти спать, но напоследок она приостановилась и шепотом сказала: «А что касается Дика, то не расстраивайся, все будет хорошо». Он чувствовал тело жены в своих объятиях, слышал ее дыхание, и жгучая боль в ладони, и другая жгучая боль, где-то в душе, вскоре утихли.

• • •

Несмотря на порку, уже на следующий день Торнхилл обнаружил Дика в укромном местечке рядом с чаном для замачивания белья. Он, решительно сжав губы и покраснев от натуги, крутил одной деревяшкой в другой деревяшке.

Заметив отца, он бросил палочки и посмотрел на него снизу вверх. Рядом с ним лежала жалкая кучка соломинок и щепочек. Мальчик был

напуган, но, как понял Торнхилл, был готов сопротивляться.

Торнхилл снова взъярился. «Мне, что, снова достать ремень?» — спросил он и тут же почувствовал, что злость отступает. Он смотрел вниз, на лицо мальчика, и вспоминал это ощущение в ладони, как жжет ее ремень. Если одна порка не помогла, то две порки точно не помогут. Он понял это, когда плыл на «Александре».

Он присел на корточки рядом с Диком и нежно потрепал его по плечу: «Послушай, парень, я выпорол тебя раз, и этого достаточно».

Мальчик посмотрел на него, в глазах по-прежнему читалось недоверие. «Давай попробуем сделать этот дикарский трюк», — предложил Торнхилл и взял палочки, которые тер Дик. Первая трудность состояла в том, чтобы крепко удерживать нижнюю. Длинный Боб — или Длинный Джек, как его теперь звали, — сидел, скрестив ноги, и придерживал ее ступнями. Но Торнхилл не думал, что способен скрестить ноги именно под таким углом, а его ступни вряд ли могут служить руками.

«Ну-ка, держи вот эту палку крепко», — сказал он, и Дик своими ручонками, как мог, сильно удерживал нижнюю деревяшку, а Торнхилл

крутил между ладонями вторую. Это оказалось труднее, чем он себе представлял: надо было крутить так, чтобы кончик палочки не сдвигался, хотя она все норовила съехать куда-то в сторону, а от неудобной позы в висках начала стучать кровь. «У меня скоро ладони загорятся, а не эта чертова палка», — выдохнул он.

Дик, стоя на коленях, наблюдал за отцом. «Дай, я сделаю, Па, — прошептал он наконец. — Дай мне палку».

Продолжая крутить палку, Торнхилл передал ее Дику, почувствовав под рукой маленькие загрубевшие пальцы сына. Лицо мальчика сияло от удовольствия, он весь горел энтузиазмом. Да, Дик умел собраться.

Но вскоре он выдохся, и Торнхилл снова перехватил палку. Он крутил ее из последних сил, и вот она возникла, тоненькая струйка, более темная, чем воздух. Он быстро сунул палки в сложенные на листе щепочки, как делал это Джек. Неуклюже поднялся, чувствуя, как скрипнули колени, и начал крутить пакет над головой.

Наверное, он крутил слишком быстро. Пакет раскрылся, и так и оставшиеся холодными палочки и щепки разлетелись вокруг. Дик весь сжался, он смотрел в сторону, боясь, что в неудаче

обвинят его.

Торнхиллу это очень не понравилось. Тяжело дыша, он сказал: «Там наверняка есть какая-то хитрость», а потом ему стало ужасно смешно. Это же надо: взрослый человек, а пытается повторить дикарский трюк!

«Надо, чтобы он тебе это еще раз показал, — сказал он, и Дик недоверчиво глянул на него. Торнхилл помахал пальцем: — Только матери не рассказывай!»

Мальчик расплылся в улыбке. И все равно он оставался для отца существом непонятным.

• • •

В двенадцать Уилли еще хранил обрывки воспоминаний о Лондоне, где провел первые пять лет своей жизни. Он мог описать, как поворачивалась лестница в доме Батлера, как падала похожая на лохмотья тень от балюстрады. Он также сохранил воспоминания о каком-то огромном зале, в котором голоса отдавались эхом, о колоннах с каждой стороны — Торнхилл полагал, что это Олд-Бейли. Он тоже помнил Олд-Бейли, и каждый раз воспоминание это ошпаривало его, словно кипятком.

Что же до остальных детей, то Дом, о котором

говорили их мать и отец, был не больше чем словом, им надо было объяснять, что это значит.

Торнхилл стоял рядом с хижиной и через дырку в стене слышал, как Сэл укладывает их спать, рассказывая те же истории, что рассказывала ему в счастливые дни их молодоженства: «И старуха мне говорит: возьми ножницы для винограда, — он вспомнил, как ходила ходуном их кровать — так они хохотали. — Возьми ножницы и отрежь себе кисточку». Но дети не смеялись — они никогда не видели никаких ножниц, не говоря уж о винограде, и вели себя осторожно, подозревая, что эта история много значит для матери, но смысла ее они не понимали.

Она пела им старые лондонские песенки, и ее голос вился дрожащей нитью во внимательном воздухе сумеречного леса. Он не слышал ее пения с тех самых пор, как они жили в комнате на Мермейд-Роу, когда были счастливы, ждали их первого ребенка, когда у пристани стояла их лодка и у них было будущее. Она по-прежнему фальшивила, и все равно ее пение наполнило его внезапной радостью.

«Апельсины и лимоны, Святого Климента перезвоны, — пела она. — Полпенни и фартинги, поют колокола Святого Мартина». От кукурузного поля

поднимался Дэн, и Торнхилл жестом показал, чтобы тот молчал. «Церковь Святого Климента — она в Истчипе, — поясняла Сэл. — Дик, помнишь, что я рассказывала вчера об Истчипе?» Дэн издал звук, который очень походил на презрительное фырканье, однако все же таковым не был, и ему удалось превратить его в чих.

Радость Торнхилла улетучилась. Песня пелась не удовольствия ради. И не как доказательство того, что под этим чужим небом тоже возможно счастье. Песенка была уроком, простым и ясным, подготовкой к возвращению.

После песенки она пошла с ними по улицам Бермондси: «А теперь отправимся от дома Батлера к доку Сафферанс, — начала она, и он услышал в ее голосе восторг от того, что она видела внутренним взором. Дети молчали, слушая ее рассказ как молитву. — Вниз по Бермондси-стрит, потом налево возле сада Уайта, через Крусификс-Лейн, а можно срезать дворами возле дома Гиббона».

Но она ошибалась, и Торнхилл поправил через дырку в стене: «Возле сада Уайта не налево, а направо, если свернешь налево, то попадешь к дому призрения, помнишь?» Она откликнулась: «Налево, Уилл, дом призрения на следующей улице».

Тут вмешался Дэн: не направо и не налево, потому что дом призрения — он в конце Мэрроу-стрит, совсем в другой стороне от сада Уайта.

Лондон, сложенный из камня и вымощенный камнем, превращался во что-то иное, гибкое, податливое, ускользающее.

• • •

В конце января выпало несколько не очень жарких дней. Высокие облака глушили ярость солнца, и в воздухе повеяло прохладой. Одним таким несолнечным утром они проснулись от запаха дыма. Торнхилл встал и увидел длинный серый плюмаж, плывущий со стороны лагеря черных.

«Они ушли и разожгли огонь, мистер Торнхилл», — сказал Нед. Страсть Неда утверждать очевидное изрядно бесила, особенно когда находишься рядом с таким человеком постоянно. Сэл вышла из хижины и вместе с ними смотрела на дым, потом по одному подтянулись дети. Братец высказал то, о чем думали все: «Они идут за нами?» Ему никто не ответил.

Они видели, как огонь медленно взбирается вверх по склону, но он не походил на дикого зверя, на то яростное пламя, которое пылало, когда

они жгли всякие обрубки. Это было совсем другое существо, смирное, дрессированное, которое скользило от одной поросшей травой кочки к следующей, останавливалось, чтобы слизнуть ее, и аккуратно ползло дальше.

По краям полосы огня спокойно, словно они были частью пейзажа, стояли черные с ветками в руках. Если пламя начинало разгораться, стоявший ближе всех черный делал шаг вперед и сбивал его. Черный Дик подходил к тем кустикам, которые не схватил огонь, и жег их факелом, пока они не исчезали, выпуская белым дым. За ним следовал Длинный Джек с пучком листьев в руке.

Ближе всего к обиталищу Торнхиллов стоял Бородатый Гарри. Он стоял очень прямо, и над его головой вился дым. Время от времени он что-то резко командовал то одному, то другому из соплеменников. Торнхилл видел его профиль, он надеялся встретиться со стариком глазами и улыбнуться ему или помахать, но та часть Нового Южного Уэльса, в которой находилась хижина Торнхиллов, казалось, для него вообще не существовала.

Все это выглядело как обычное дело, которым они занимались бесчисленное число раз, и к

пришлым оно не имело никакого отношения. Они увидели, как одна из женщин, которую они назвали Мег, сделала шаг к огню и ударила что-то палкой. Она наклонилась и подняла ящерицу, которая извивалась у нее в руке. Неторопливым движением она встряхнула ее, и та безжизненно повисла. Мег подвесила ящерицу на свой шнурок и крикнула что-то Веселушке Полли, и Торнхилл видел, что Полли рассмеялась, крикнула что-то в ответ и показала на ящерицу. Даже жесты у них были другие, какие-то текучие, будто у пальцев были дополнительные суставы и связки, а кисть была устроена вообще по-другому, словно без костей.

Торнхилл все ждал, что они повернутся к нему, что-нибудь крикнут, и он сможет улыбнуться или крикнуть в ответ. Стоявшая рядом Сэл, похоже, думала о том же. «Полли! — позвала она. — Эй, Полли, что ты там делаешь? — и шагнула вперед, готовая помахать: — Полл!» Но никто из женщин и не глянул на нее, хотя по каким-то легким переменам в поведении было понятно, что они ее услыхали.

Сэл опустила руку и вернулась к Торнхиллу. «Она же не знает, что ее зовут Полли», — пояснила она скорее себе, чем ему. Он услышал в ее голосе

неуверенность. «Я ее так назвала, но она-то об этом не знает, — она начинала сама верить в свое объяснение. — Ну да, она об этом пока не знает».

И продолжала смотреть на женщин, ожидая, когда они обратят на нее внимание.

«Ящерица! — с отвращением выкрикнул Нед и сплюнул. — Они собираются есть эту ящерицу!»

«А ящерицы вкусные!» — воскликнул Дик, и явно тут же пожалел о сказанном. Сэл глянула на него, но ничего не сказала.

Огонь, взобравшись по склону, начал затухать в том месте, где из-под земли вырастали огромные камни. Здесь, возле этих наклонившихся вперед скал, он превратился в дым. Черные закончили то, что делали, — чем бы оно ни было, конец огню положил сам рельеф местности. Перекрикиваясь, они отправились назад в свой лагерь.

Огонь оставил за собой черный участок в пару сотен шагов шириной, растущая на кочках грубая трава прогорела, маленькие кусты обратились в прах, корни редко растущих деревьев были опалены.

Дэн выразительно сплюнул: «Из-за пары ящериц спалили целый кусок луга! Мозгов еще меньше, чем у нашей малышки».

По крайней мере, этот невысокий медленный

огонь никому и ничему не угрожал. Но все равно Торнхиллы чувствовали себя неуверенно. Это не было похоже на угрозу, но могло быть угрозой угрозы.

• • •

Через несколько дней после пожара высокие облака наконец-то сбились в тучу и послали дождь — не такой, какой бывал здесь обычно, когда ведра воды низвергались из туч таких черных, что они казались зелеными, а приятный дождичек. Волосы у Торнхилла мгновенно отсырели, и на какой-то миг он вновь почувствовал себя стоящим у причала Святой Катерины близ Тауэра, вспомнил, как смотрел на серую воду и на стертые дождем очертания пристани Батлера. Сэл вышла на улицу и стояла с непокрытой головой, повернув ладони к небу, как будто желая получить благословение.

А потом вернулась жара, и буквально за ночь участок совершенно изменился. Из центра каждой сожженной кочки показались новые зеленые ростки, они росли чуть ли не на глазах, голая черная земля покрылась маленькими яркими листочками, похожими на листики фиалок. Вместе с нежной зеленой травой появились кенгуру,

целые семейства спускались с горы, чтобы во второй половине дня лакомиться свежими ростками. Они легко перепрыгивали через поваленные деревья и камни, а когда стояли неподвижно, то в сумерках сами казались скалами.

Как-то раз, ближе к вечеру, Торнхилл увидел Черного Дика, шагавшего с мертвым маленьким кенгуру на плечах. От этого зрелища рот у него наполнился слюной. Он уже и не помнил, когда в последний раз ел свежее мясо. Однажды они сварили цыпленка, но и то пришлось долго ждать, пока вырастет поголовье их кур. Сэл глянула на него, вошла в хижину и, как только он вошел вслед за ней, протянула ему ружье. «Свежее мясо, Уилл, — сказала она, и лицо ее засветилось в предвкушении. — Только подумай!»

Вооружившись, Торнхилл засел за поваленным деревом. Последние лучи солнца тянулись по траве длинными пальцами теней. В траве паслись шесть или семь кенгуру — крупный самец и самочки. У одной в сумке прятался кенгуренок, наружу торчала лишь длинная нога.

Вблизи кенгуру казались существами из сна, состоящими из частей других животных — уши как у собаки, оленья морда и длинный толстый хвост, похожий на волосатого питона. С пропор-

циями у них было что-то неладное: задние ноги почти такие же длинные, как и хвост, а передние словно украдены у ребенка. Они паслись, опираясь на свернутый кольцом хвост и перебирая траву передними лапами.

Кенгуру были капризом природы. Но Торнхилл обнаружил для себя, что если долго на них смотреть, то начинает казаться, что это просто какие-то странные овцы.

Он положил глаз на самца. Уже одного этого хвоста, толстого, как его рука, хватит на обед. Почувствовал, как при мысли об этом рот наполнился слюной: получится густая темная похлебка, такая сытная, какой не может быть похлебка из солонины, которую он привозит из Сиднея.

Самец вроде как двигался в его сторону. Торнхилл скорчился за деревом. Он чувствовал, как в колени впиваются опавшие иглы, в нежное местечко между пальцами его укусил муравей. Над ухом пел москит, но он не стал его отгонять. Палец на спусковом крючке онемел, прищуренный глаз затуманила слеза. Он едва дышал, превратившись в невидимку. Слился с деревом, за которым сидел, с воздухом, с самим вечером.

Самец уже был так близко, что Торнхилл слышал короткие звуки, которые он издавал,

пережевывая траву. Видел муху, вьющуюся над кенгуриными ушами и изящными усиками, четко вырисовывавшимися в закатных лучах. Он даже видел, какие у зверя длинные ресницы. Зверь был достаточно близко, но Торнхилл не доверял себе, или не доверял ружью. Кенгуру спустился по склону еще ближе. Когда между ними не останется ничего, кроме поваленного дерева и воздуха, он выстрелит и не промажет.

И в какой-то момент он понял, что должен приказать этому одеревеневшему пальцу нажать на спусковой крючок, или он больше не выдержит. Он не сдвинулся ни на миллиметр, не издал ни звука, только напряг палец, однако животное каким-то образом это поняло. Кенгуру поднял голову от травы, уши зашевелились. Оттолкнувшись мощным хвостом, он пролетел над травой, над камнями, и скрылся в лесу, остальные ускакали вслед.

И когда они летели над землей, стало понятно, в чем смысл такого их телосложения.

Он встал из-за дерева, слушая треск, который они издавали, улепетывая к горе через камни и лес. Бесполезное ружье болталось у него в руке.

Сэл встречала его на пороге хижины. Она смотрела, как он вешает на крючок ружье, кладет на

полку мешочек с порохом. Он молчал, потому что не мог выговорить ни слова, разочарование лежало на душе камнем.

В этот вечер разговоров у костра было немного. Они поджаривали над огнем нанизанные на прутья кусочки солонины, ловя капающий жир ломтями черствого кукурузного хлеба, который рассыпался при одном прикосновении. Сэл ела с аппетитом, а он не мог. Она посмотрела на него, на нетронутую еду, но ничего не сказала.

Дэн почувствовал запах первым. Он, словно животное, повернулся к его источнику: из лагеря черных в вечернем воздухе плыл чудесный аромат свежего жареного мяса. У Торнхилла заурчало в животе.

• • •

Спустя несколько дней Торнхилл увидел, как Длинный Джек и Черный Дик возвращаются в лагерь и несут на шесте еще одного кенгуру. Торнхилл проскользнул в хижину, взял один из небольших ситцевых мешков с мукой и направился к черным.

Старухи сидели у огня, как они, похоже, сидели всегда — вытянув длинные худые ноги. На Торнхилла они даже не взглянули. Женщина,

которую они назвали Веселушкой Полли, ковырялась палкой в пепле. У Мег на коленях сидел толстенький малыш, он, повизгивая, играл ее пальцами. Она глянула на Торнхилла, на мешок у него в руках. Ребенок крепко схватил ее за палец и рассмеялся.

Немного в стороне мужчины вырыли яму и развели в ней другой костер. Они укладывали палки, чтобы сделать его выше. Здесь был и Длинный Джек, и Черный Дик, но все их внимание было сосредоточено на костре. Если б Торнхилл уже не понимал, что к чему, он подумал бы, что они его не видят.

Рядом с ямой лежал кенгуру с почти полностью опаленной шерстью. На боку у него зияла рана от копья. Копье пробило зверя насквозь, вошло с одной стороны, вышло с другой. Оно валялось рядом, скользкое от крови. Всего лишь кусок дерева, брошенного человеческой рукой, оно смогло пробить мех, кожу, мышцы и сухожилия.

Он никогда не видел, как пробивает тело мушкетная пуля, способна ли он войти с одной стороны и выйти с другой.

Возле ямы стоял Бородатый Гарри. Как и все остальные, он не собирался смотреть на гостя. Лицом он стоял к Торнхиллу, однако занимаемое

им пространство было скорее сгустком воздуха, принявшим форму человеческого тела.

Торнхилл, протягивая мешок, шагнул к нему. На фоне всего темного — кожи, земли, древесины, камней — пестрый ситцевый мешок в его протянутой руке выглядел неопрятно. «Справедливый обмен, старина», — сказал он. Собственная рука, протянутая к стоявшему неподвижно старику, показалась ему нелепой, дурацкой. Может, сама идея покупки была абсурдной? Или мешок муки был недостаточной платой?

Торнхилл даже не заметил, что рот старика задвигался, однако до его слуха донеслось несколько слов, и Длинный Джон сдвинулся с места и взял мешок. Развязал его — Торнхилл было собрался показать, как это делается, но понял, что необходимости в этом нет, — и передал мешок Бородатому Гарри, который запустил в него руку и вытащил пригоршню муки, внимательно рассмотрел ее, попробовал кончиком языка. Выглядел он при этом как любой придирчивый покупатель на рынке в Ковент-Гарден.

Он повернулся и подозвал другого человека, произнес несколько отрывистых слов и показал на кенгуру. Указательный палец с длинным бледным ногтем исполнил свой выразительный

танец. Черный Дик склонился над кенгуру с острым каменным топориком в руках и выпрямился, держа кусок кенгуриной ноги. Передал ее старику, который и вручил ее Торнхиллу. Из его неулыбчивого надменного рта прозвучало несколько слов. Похоже, идея обмена была понята.

Ту часть кенгуру, которую Торнхилл теперь держал в руке вместо мешка муки, сам он не выбрал бы. Это была нижняя часть лапы, все еще покрытая необожженной шерстью, с коричневыми роговыми когтями, свисавшими с отрубленного конца сухожилиями и небольшим количеством мяса. Если бы он знал, что сказать, то поторговался бы еще. Но старик уже отвернулся. Похоже, понятие «торговаться» в идею торговли не входило.

Больше никто не проявлял никакого интереса к белому человеку с кенгуриной ногой в руке. Бородатый Гарри что-то резко произнес, и мужчины принялись палками вытаскивать из ямы тлеющие угли и складывать их сбоку. Черный Дик поднял кенгуру, бросил его в яму, и они все вместе принялись забрасывать его углями. Они делали все не спеша, однако вскоре тело кенгуру было полностью покрыто, сначала слоем тлею-

щих углей, затем землей и песком, пока яма не была заполнена доверху.

«Удачи вам, ребята», — сказал Торнхилл. Ему трудно было убрать из голоса скептические нотки — надо же, эти дикари понятия не имеют, что можно сделать с мясом, кроме как затолкать его в яму с горячими углями. Длинный Джек глянул на него, видно, что-то подумал, потому что рот его задвигался было, но он ничего не сказал, и уже через мгновение Торнхилл понял, что остался совсем один рядом со слабо дымящейся ямой, а компанию ему составляет только тощая собака, наблюдающая за ним равнодушными желтыми глазами.

• • •

Сэл с недоверием поглядывала на кенгуриную голень, но тут появился с ножом Уилли и попытался содрать шкуру. Нож шкуру не брал, только бесполезно елозил по меху, с таким же успехом мальчик мог пробовать перепилить ножом дерево. Отец взял у него нож и за счет грубой силы сумел сделать надрез. Если б это была овца, шкура слезла бы как носок. Но мясо было твердым, как деревяшка, и шкура казалась намертво приклеенной к сухожилиям. От усилий у Торнхилла

зашумело в ушах, он был готов взорваться от ярости. Мысль о том, как это сделали черные — засунув кенгуру в угли целиком, — бесила его еще больше.

В конце концов он прямо на земле разрубил ногу топором. Часть, которую он сунул Сэл в котелок, состояла из меха, костей и хрящей.

В этот момент произведенный им обмен уже не казался таким удачным.

У них получилось что-то вроде супа, который предварительно пришлось процедить из-за плававших в нем шерстинок. В супе плавали кусочки костей и похожие на шнурки для ботинок сухожилия. Даже Уилли не мог их прожевать. В общем, у них получился насыщенный темный бульон, похожий на бульон из бычьего хвоста. И все равно это было что-то, придававшее вкус черствому кукурузному хлебу, и пока ели, они без конца приговаривали, какое вкусное получилось варево. Но всем-то им хотелось доброго куска мяса.

«В Бермондси никто не поверит, что мы ели кенгуру!» — сказала Сэл, вытирая с подбородка капли бульона. Несмотря ни на что, еда привела ее в хорошее расположение духа, и Торнхилл постарался его поддержать: «Не столько ели, Сэл,

сколько пили кенгуру!»

Она улеглась на матрас рядом с ним, удовлетворенно вздыхая от того, что желудок был полон горячей еды, и почти сразу заснула. Она безмятежно посапывала, а он лежал, слушая, как она почесалась в том месте, где ее укусила блоха, и думал о соседях, благодаря которым семейство Торнхиллов сегодня поело лучше, чем обычно.

Черные не пахали, не строили изгородей, это правда. Они не строили домов, носящих их имена, кочевали, не думая о завтрашнем дне. Правда и то, что они в своем невежестве не прикрывали наготы и садились голыми задницами прямо на землю, совсем как собаки. То есть они были не более чем дикарями.

С другой стороны, ради того малого, чем они довольствовались, им и не нужно было работать. Каждый день они занимались тем, что раздобывали еду и ловили всякие создания, чтобы подвесить себе на поясок. И потому у них оставалось полно времени, чтобы сидеть вокруг костра, болтать, смеяться и поглаживать толстенькие ножки своих детенышей.

А домашние Торнхилла вставали с зарей, пропалывали сорняки на кукурузном поле, таскали воду, вырубали росший вокруг них лес. Они рас-

слаблялись, только когда солнце скрывалось за горой, но к этому времени у них уже не оставалось сил ни на веселье, ни на игры. И уж точно никому не хватало желания и сил заставлять детей смеяться.

И когда Торнхилл уже засыпал, его осенило: черные были такими же фермерами, как и белые. Только они не строили заборов, чтобы удержать за ними животных. Вместо этого они создавали аппетитные лужайки, и животные сами приходили к ним. Что так, что эдак результом был вкусный мясной обед.

Более того, они вообще были сродни благородным. Они тратили на дела лишь малую толику времени, а все остальное время отдыхали. Разница состояла только в том, что рядом с ними не было людей другого класса, которые стояли бы по задницу в речной воде, дожидаясь, пока они закончат с кем-то там болтать, чтобы отвезти их в театр или к любовнице.

В мире этих голых дикарей благородными были все.

• • •

Теперь, уплывая из дома, Торнхилл уже не так волновался. Упражнение в практической ком-

мерции — кенгуру за муку — убедило его в том, что черных можно вовлечь в какое-то подобие нормального общества. Торговля тоже была на подъеме. Прошло полгода с тех пор, как они перебрались на реку, и за все это время «Надежда» никогда не плавала незагруженной, а теперь его ходки стали регулярными, потому что фермеры предпочитали иметь дело именно с «Надеждой», а не с другими, менее надежными лодками.

Одним из таких постоянных клиентов был Барыга Салливан. В Сиднее всегда была нужна известь, потому что там строилось много каменных и кирпичных домов, и размах строительства ограничивала только нехватка составляющих для строительного раствора. Поставки извести в Сидней были хорошей сделкой, бочонок в десять галлонов шел по пять гиней.

Но рукав реки, на котором расположился Барыга, лежал не совсем удобно для Торнхилла. Он петлей вгрызался в пространство между высокими хребтами с поросшими лесом плато. Казалось, что солнце здесь светит не так ярко, отражаясь в черном зеркале воды. Даже когда по реке дул северо-восточный ветер, здесь поверхность воды оставалась зеркально-гладкой, и столб дыма висел между хребтами совершенно неподвижно.

Барыга поселился на треугольнике ровной земли, между двумя образовавшими клин крутыми склонами. Он по-своему расчистил участок. Теперь этот кусок земли был весь в буграх и пнях, в песчаной почве пыталась выжить кукуруза. Неподалеку от посадки он построил хижину, но из-за того, что в этом месте склон был довольно крутой, казалось, что хижина вот-вот с него съедет — такой она была кособокой. На посадку и кривую хижину наползал лес.

Третьей стороной треугольника была река с голой полоской грязи на берегу. Барыга уже давно вырубил на топливо все мангровые заросли, а по проплешинам на берегу было видно, где он уже пережег в известь все брошенные черными пустые раковины. Костры горели день и ночь, и неудивительно, что здесь не осталось ни кустика, ни деревца.

Торнхилл всегда стремился поскорее убраться от Барыги. Быстро загрузиться и отплыть с отливом, чтобы река сама унесла его подальше.

Когда «Надежда» с последними приливными волнами подплыла к этому месту, лес, росший за пределами расчищенного треугольника, казалось, затаил дыхание. Собаки, зубами которых Барыга так гордился, были привязаны возле

хижины, кроме никогда не отходившей от него Мисси. Почуяв Торнхилла, они зашлись лаем и принялись рваться с цепей.

Торнхилл, стоя на корме, подходил к причалу. Посмотрел туда, где когда-то раскачивалось на веревке похожее на мешок тело. Теперь там ничего не было — ни дерева, ни тела.

Барыга был возле воды, складывал в кучу хворост. Он заорал и помахал рукой Торнхиллу, тот молча помахал в ответ. Что-то в этом месте, в его мрачности и настороженности, мешало ему подать голос.

Барыга подошел поближе. От него несло дохлыми устрицами и его собственным гнилостным дыханием. В руках у него был факел, он поджигал сухие листья, сваленные вокруг кучи палок и веток, подбрасывал в занимающийся огонь еще дров. Между дровами белели устрицы — не мертвые раковины, а вполне свежие живые устрицы. Из пламени послышался треск, по воздуху поплыл дым.

Голос Барыги — писклявый, как у мальчика, — всегда заставал Торнхилла врасплох. «Торнхилл! — завопил он. — У тебя не найдется табачку пожевать? Смерть как хочется!» Торнхилл неохотно протянул ему свой кисет и

наблюдал, как Барыга отрезал кусочек и сунул в рот.

Он смотрел, как лежащую наверху устрицу лизнуло пламя. Видно было, как она напряглась, пытаясь захлопнуться. Но потом из щели выкатилась капля сока, которая тут же зашипела и испарилась, и раковина широко раскрылась.

Барыга наблюдал за ним. «Теперь они все такие, — сказал Барыга. — Я уже закончил все пустые кучи, которые оставили черные». Из огня раздавались легкие хлопки, означавшие, что раковины раскрывались, из-под деревяшек вырывались пахнущие горелым мясом маленькие плюмажи дыма.

Мальчишкой Торнхилл съел немало устриц из Темзы. Они были крепкие, не больше грецкого ореха, потому что их отдирали с камней еще до того, как они могли вырасти и набраться соков. Устрицы на Хоксбери были размером с мужской кулак, внутри большие и жирные. Поначалу он накинулся на них так жадно, что чуть не заболел — все боялся, что ему не достанется. А потом понял, что торопиться некуда — никаким голодающим не удастся справиться с их изобилием.

Но сейчас, посмотрев на торчащие из реки камни, он не увидел на них ни одной раковины,

и удивился.

«Вот и хорошо: устрицы кончились, и паразиты тоже убрались. Им тут жрать теперь нечего, — Барыга захохотал, заперхал, сплюнул. — Еще один способ от них избавиться». Гогот его полетел над водой.

• • •

Когда они перекатили последний бочонок извести из хижины к причалу, собаки залаяли еще громче и истеричнее, и Торнхилл посмотрел вокруг. Каждый раз, когда откуда-то из ниоткуда появлялся черный, он испытывал легкий шок. Этот наверняка приплыл на каноэ, которое качалось теперь у берега как большой коричневый лист. Он стоял и ждал, пока они обратят на него внимание. Копья при нем не было, в руках он держал пару крупных устриц, с которых все еще текла вода.

Когда они на него посмотрели, он открыл одну ногтем большого пальца. Сделал это так просто, будто вошь прищелкнул. Потом откинул голову и высосал содержимое. Они видели, как напряглись мощные шейные мышцы. Точно так же, без всяких инструментов, он открыл вторую устрицу и протянул Барыге и Торнхиллу. А потом громко

и четко, как будто объясняя что-то глупцам, заговорил, открытой устрицей показывая, что их можно есть.

Барыга был не из тех, кто готов выслушивать уроки от черных. «А, хочешь бесплатной жратвы? — заорал он. — Да гори ты в аду!» Человек, не обращая на него внимания, подошел к куче, из которой вырывались жирные облака дыма. Из кучи выкатилась почерневшая устрица, она, дымясь, валялась в грязи. Он указал сначала на нее, а потом, отчаянным жестом, на камни — отлив обнажил белые шрамы в тех местах, где когда-то росли сгоравшие сейчас устрицы.

Он кричал, он сердился.

Но Барыга не собирался позволять черному давать ему указания. Он схватил торчавший за поясом кнут и ударил им рядом с человеком. Раздался похожий на выстрел щелчок. «Убирайся! — заорал он. — Проваливай, черт тебя побери!» Черный вздрогнул, но с места не сдвинулся. Следующий удар кнута пришелся ему по груди, и на черной коже появилась длинная красная полоса. Он сделал шаг назад и снова остановился, не спуская взгляда с Барыги, его глубоко посаженные глаза горели, рот был твердо сжат. Барыга поднял руку, чтобы ударить снова, но

человек мгновенным, не различимым взглядом движением, схватился за конец кнута. Какое-то время он и Барыга смотрели друг на друга, соединенные кнутом.

Затем, не говоря ни слова, черный человек отпустил свой конец, повернулся, прошел к своему каноэ и столкнул в воду. Барыга помчался в хижину, схватил стоявшее у стены кремневое ружье, но к тому времени, как он прибежал обратно и зарядил ружье, черный уже направил свое каноэ по течению и через мгновение скрылся за скалами. Вопль Барыги раскатился эхом, ему вторили собаки, они рвались с цепей с такой силой, что бешеный лай превращался в полузадушенный злобный хрип.

Он развернулся к Торнхиллу и, перекрикивая собак, завопил: «А ты, мы все про тебя знаем, ты спелся с этими ублюдками! — в уголках губ у него вскипела серая пена. В маленьких глазках горела ненависть. — Ты и этот чертов Том Блэквуд! Видел я вас вместе!»

Его лицо было слишком близко, и голос — слишком громким. Торнхилл сделал шаг назад. «Заткни пасть! — крикнул он в ответ. — Ничего такого ты не видел!» Он ощутил что-то вроде паники. Он ступил на огромное колесо, которое

уносило его куда-то, куда он вовсе не собирался. Он подумал о том, что то, как жил Блэквуд, было его личным делом, а его знание об этом тоже было личным делом. Теперь он понимал, что в этом не было ничего личного, частного. Но не хотел знать, что это могло означать и куда могло завести.

Над водой по-прежнему тянулся дым. Барыга отвернулся и сплюнул в грязь. Слюна была тягучей, темной. «В один прекрасный день они тебя достанут, — мысль эта его успокоила. — Если полагаешь, что обойдется, то ты еще больший дурак, чем я о тебе думал».

Торнхилл больше не мог находиться здесь ни минуты. «Значит так, Барыга, — сказал он. — Если пропущу отлив, тебе конец». Молча они вкатили на причал последний бочонок, перегрузили его в трюм «Надежды». Торнхилл, повернувшись лицом к реке, отчалил, и услыхал за спиной голос Барыги: «Когда получишь копьем в брюхо, не приходи ко мне жаловаться, Уилл Торнхилл!»

Положить предел

Все начало меняться, когда Торнхилл вернулся из этой поездки в Сидней.

Они не сразу поняли, что на мысу начало собираться все больше и больше черных. Мужчины спускались с горы по двое, по трое, шли этой своей особой походкой. Без поклажи, только с копьями. За ними шли женщины, каждая с младенцем на бедре и с длинным мешком, свисающим с затылка на спину. Другие приплывали в каноэ, кто сверху, кто снизу. В крохотных лодчонках из коры сидели мужчина с женщиной и ребенок посередке, и непонятно, как вода не переливалась через борта.

Они все приходили, и непохоже было, чтоб они собирались уходить. Там, где раньше в небо поднимался один столбик дыма, теперь их было много, и они сливались в воздухе. Оттуда, откуда Торнхиллы лишь время от времени слышали крик или детский голос, теперь постоянно доносился гул голосов, глухой стук топориков, женские окрики. Кенгуру тоже стало больше,

и каждый день черные возвращались из леса и несли на шестах, водруженных на плечи, убитых животных.

Настроение в хижине стало мрачноватым. Все старались не встречаться взглядами. Притихли даже дети. Торнхилл продолжал заниматься делами, срубил возле хижины еще одно дерево и, стоя, наблюдал, как Нед и Дэн рубят его на дрова. Но заметил, что сам время от времени прекращает работу и прислушивается к доносящимся издалека звукам.

Сэл сделала очередную отметку: наступил февраль 1814 года. Самый жаркий и влажный месяц лета, початки кукурузы росли прямо на глазах. Уже по утрам солнце палило в полную силу, дышать в долине было нечем. Ночью тоже легче не становилось. Долина казалась каким-то огнедышащим жерлом, куда Торнхиллов затянуло вместе с их черными соседями. Торнхилл знал, что Свифт и О'Горман ждали в Эбенезере, когда «Надежда» заберет их картофель, но день за днем откладывал отъезд.

Как-то раз он во второй половине дня отправил своих людей расширить дорогу к реке, а сам ускользнул. Никто его не заметил, потому что он прошел за хижиной, поднялся на скальную плат-

форму, обошел ее по краю, мимо рыбы и лодки, пока не оказался прямо над лагерем черных.

Он был в шоке, когда за деревьями разглядел, что там происходило. Там, где раньше вокруг одного небольшого костра собирались с полдюжины взрослых и несколько ребятишек, сейчас было столько черных, сколько он никогда в своей жизни не видел. Это было настоящее поселение с тесно стоящими шалашами, повсюду горели костры. Людей было не счесть, они, словно муравьи, все время двигались, исчезали среди теней, появлялись вновь.

Он принялся считать, насчитал около сорока. Очень много.

Он вернулся во двор, где семья пыталась отдохнуть в тени. «Там у них сборище, небольшое, — сказал он как бы между прочим. — Собрались, как мы иногда собираемся».

Сэл знала его слишком хорошо и что-то уловила в голосе, но промолчала. Она тщательно вытирала мордашку Мэри кусочком фланели, внимательно высматривая пятнышки грязи. «У меня для тебя есть сегодня работа, Уилл, — сказала она. — Не ходи вечером на поле». Она говорила легким тоном, но он видел, что Мэри, которую Сэл по-прежнему твердо держала за подбородок,

скосила на мать глаза.

«А дикари за нами придут, мамочка?» — спросил Братец без всякой истерики, буднично. «Глупости! — прикрикнула Сэл. — Ни за кем они не придут». И принялась вытирать лицо ему, так что он вынужден был закрыть рот.

Торнхилл зашел в хижину, в которой из-за нагретой крыши было еще жарче, чем на улице, и снял со стены ружье. Он осмотрел его, убедился, что порох не отсырел, что пуля лежит в мешочке. Заглянул в черный кружок, из которого вылетает смерть. Когда услышал шаги Сэл, быстро повесил его обратно. Но она все поняла: он стоял с пустыми руками, а взгляд его был устремлен на висевшее на колышке ружье. Она попыталась сказать что-то, но он ее перебил: «Чертовы пауки свили в стволе гнездо».

В этот вечер они поели раньше обычного. Почему-то казалось, что им следует быть готовыми.

К чему? Торнхилл и не пытался отвечать себе этот вопрос.

Сэл уложила детей, когда только смеркалось, спела им песенку: «Вот-вот разбогатею, колокола Шродича блеют. И когда же это будет, брат? Колокола Степни гудят. Когда Господь повелит, большой колокол Боу гремит». Голос ее звучал

немного сдавленно. Наверное, от любви.

Или от страха.

Они сидели вдвоем возле угасающего огня, молча наблюдая за мелкими всполохами над углями. Дети сопели и вздыхали в своем углу. В пристройке громко храпел Нед. Он закашлялся, видимо, Дэн потормошил его, потому что Нед умолк. И в тишине они явственно услышали доносившиеся из лагеря звуки.

Сначала это было хлопанье в ладоши, постоянное, настойчивое, как сердцебиение. Сэл повернулась к Торнхиллу. В свете очага глаза ее были как озера тени, но он видел, что рот ее крепко сжат. И прежде чем он придумал, что ей сказать, чтобы успокоить, раздалось пение: сначала сильный высокий мужской голос, затем к нему присоединились другие голоса, издававшие что-то вроде жужжания. Никакой различимой или приятной мелодии, как в «Апельсинах и лимонах», не было, скорее, это напоминало церковное пение. И пение это пробирало до костей.

Торнхилл попытался говорить бодрее. «Ну вот, забубнили, — и почувствовал, что в горле у него пересохло. Начал по новой: — Совсем как Шелудивый Билл, помнишь?» Конечно же, она помнила Шелудивого Билла. И как и он, пони-

мала, что этот властный хор совсем не похож на бормотание Шелудивого Билла, которым он отвечал на глоток спиртного.

«Им скоро надоест», — заставил он себя не понизить голос до шепота.

Снаружи, за щелястыми стенами, было темно, как в ухе. Полный враждебности воздух неуклюже ворочался. Он представил себе, как черные крадутся к хижине, ставя ступни неслышно, словно ящерицы. В этот самый миг они могут смотреть на них сквозь щели в стенах. Шум становился все громче, такие звуки издает наступающая армия.

Слова, которые они могли бы произнести, но не произносили, сновали между ними, словно какие-то существа.

Вошли Нед и Дэн — звуки их разбудили. Нед подошел поближе к лампе, будто свет мог его защитить. «Они идут за нами, мистер Торнхилл», — сказал он.

«Слышал, как они смеются, — добавил Дэн. — Видать, торопятся».

И правда: до них доносился смех. Торнхилл похолодел, представив, как они, с деловитостью мясников, готовят свои копья, острые, способные мгновенно убить белого человека.

Нед явно запаниковал. «Они свои копья навострили, кишки нам выпустят, да? — вступил проснувшийся Братец, голос его дрожал от ужаса. — Па, не дай им проткнуть меня копьем!» Он услышал, как захныкал Джонни, разбудивший Мэри. Сэл прошла в угол, где спали маленькие, и обняла их.

«Если б они хотели нас заколоть, они бы это уже десять раз сделали, — сказал Торнхилл, и подумал, что это не лучший аргумент. — Нет никакого повода беспокоиться». Однако его слова вряд ли кого убедили.

В разговор вступил Уилли: «Если им это спустить с рук, мы никогда от них не избавимся, Па. Лучше раз и навсегда показать им». Торнхиллу эти слова показались отголоском чужих слов, принадлежавших то ли Барыге, то ли Головастому Биртлзу.

Он словно заново увидел своего мальчика: упрямый переросток с длинной худой шеей, лопоухий, с решительно сжатыми губами. Он стоял, требовательно сощурившись, и чесал босой ногой другую ногу. «Возьми ружье, Па, почему ты не берешь ружье?»

Но тут вскочил Дик и решительно посмотрел на брата. «Не надо хвататься за ружье, Уилли, —

сказал он. — Они просто собрались вместе, как Па и говорит». Уилли потряс его за плечи. «Чушь! — крикнул он. — Чертова чушь, вот что это такое! Надо взять это чертово ружье!»

«А ну заткнитесь, вы, оба!» — голос Торнхилла прокатился по хижине, и мальчики замолчали. Но тут из тени раздался дрожащий от страха голос Дэна: «У меня есть нож. Если гады подойдут ближе, получат ножом в брюхо!»

Стоило ему это произнести, как еще громче зазвучали высокие негодующие голоса, громче застучали копья. Воздух в хижине сгустился от страха.

Стоя возле полуоткрытой занавески, Торнхилл вспомнил ночи в Ньюгейте, как он лежал, прислушиваясь к биению собственного сердца, как заставлял себя ждать следующего удара, и еще одного, и еще, стараясь не думать о том, сколько еще ударов ему осталось. Ему вдруг стало тесно, он больше не мог вынести закрытого пространства. Его словно похоронили заживо.

Он начал говорить, закашлялся, начал снова. «Пойду гляну, что там, — он сам понял, как неуверенно звучит его голос. — Хочу убедиться, что они не затевают ничего дурного».

• • •

Каким же облегчением было оказаться снаружи, в благоухающей ночи. Полная луна плыла по небу, затмевая своим светом звезды и окрашивая лес во все оттенки серого. Невзирая на шум, доносившийся из лагеря, долина жила своей тайной жизнью, потрескивала, ворочалась, вздыхала. Возле поленницы что-то ритмично постукивало, промелькнул темный силуэт птицы.

Благодаря лунному свету Торнхилл спокойно поднялся на скалу-полку и прошел к лагерю. Он хотел остаться незамеченным, но понимал, что его рубаха, хоть и грязная, все равно будет выделяться на фоне деревьев. А кожа, эта упаковка, от которой избавиться невозможно, будет светиться белым и опасно чуждым. Он старался двигаться бесшумно, но в лунном свете хорошо знакомое место стало чужим. Камни вырастали из-под земли совершенно неожиданно, деревья оказывались не там, где стояли днем. Он брел, спотыкаясь, пока за вытянувшимися во фрунт эвкалиптами не увидел лагерь. Никто не повернулся и не показал в его сторону. Если черные и поняли, что рядом белый, то совершенно не волновались по этому поводу.

Они разложили огромный костер прямо в центре лагеря. Он видел, как пляшет на деревьях свет, как отражается он от стволов, из-за костра это место казалось островом света в океане тьмы. Перед костром мелькали фигуры, и свет подмигивал.

Мужчины выстроились вокруг костра, они топали и подпрыгивали, а один сидел в стороне, скрестив ноги, и, подняв лицо к небу, пел, отчего все их действия казались совершенно необходимыми, оправданными. Они были разрисованы белыми полосами, лица превратились в маски, на которых жили только глаза. В языках пламени они казались нереальными, паутиной пляшущего света.

Кругом сидели женщины и дети, они колотили палкой о палку, создавая этот ломкий ритм. Длинные груди женщин также были расписаны белым, белым был нарисован ворот, что до абсурда походило на корсаж Сэл. Их лица, как и лица мужчин, были также покрыты чем-то белым. Мордочки детишек, даже самых маленьких, тоже были выбелены. Ясно, что все эти рисунки были нанесены белой глиной, и именно из-за этого сама земля обретала что-то человеческое.

Боевая раскраска, подумал он. И, черт возьми,

боевой танец. Он сам поразился спокойствию, с которым принял эту мысль, и понял, что уже давно ожидал такого.

Танец был того же рода, что и прыжки Шелудивого Билла, да только был так же похож на них, как шапка Торнхилла — на треуголку губернатора. Шелудивый Билл плясал с полузакрытыми глазами, с отсутствующим выражением лица, отгородившись от того, чем занимался. Глаза этих мужчин светились отраженным огнем, белые линии на их телах жили собственной жизнью.

Через мгновение Торнхилл узнал Длинного Джека. Тот танцевал вместе с другими, держа в руке копье, он высоко выпрыгивал и приземлялся, топая пятками и вздымая пыль. Джек больше не был человеком, он был превратившимся в человека кенгуру.

Для человека, притаившегося за деревьями, во всех этих звуках было не больше смысла, чем в жужжании насекомых, он не понимал, начало это или конец. Но вдруг палки, как по команде, перестали стучать, певец издал последний звук, и наступила тишина. Это было очень похоже на то, как в церкви все неожиданно одновременно прекращают петь, потому что знают, что дошли до конца гимна. Единственным, кто не знал, что

гимн закончился, был наблюдавший за ними из-за деревьев Торнхилл.

Они начали снова, но теперь ритм был иным. И у костра танцевал один старик, его ступни так сильно били в землю, что его окружило мерцавшее в свете костра облачко пыли — это был Бородатый Гарри. Тело его было подтянутым, мускулистым, он вращался в танце, как рыба в стремительном потоке. Топот его ног казался пульсом самой земли. Он начал петь, он швырял песню в воздух, ее переливы были кровью, текущей по жилам этого места.

Торнхилл видел, что это был не тот Бородатый Гарри, что существовал в воображении людей, которые дали ему это прозвище. Танцор, расписанный белыми полосами и окутанный тайной своей песни, был совсем другим человеком.

Остальные наблюдали, постукивая палками. Он видел, что они не просто сморят, как смотрели бы в Черри-Гарденз на того, кто пляшет джигу. Их лица говорили о том, что они видят некую драму. Они знали историю, которая рассказывалась им языком танца. Совсем как на Рождество в церкви Святой Марии Магдалины: все знают историю рождения Христа, ее рассказывают из года в год, и все равно она радует.

Этот старик — их книга, подумал Торнхилл, они его читают. Он вспомнил библиотеку губернатора, строгие портреты, ряды книг с сияющими золотыми буквами. Они могут открывать свои тайны, но только тем, кто знает, как их читать.

Видя мощь бедер этого человека, с какой силой он вздымает своим топаньем пыль, Торнхилл вспомнил, как он хлопал его по плечу, как бранил его, словно ребенка. Это было ошибкой, и сейчас эта ошибка его испугала. Бородатый Гарри был не простым упрямцем с тощими старческими руками и ногами, столь же незначительным, как нищие в Зале лодочников, трясущиеся над плошкой жидкой овсянки. Этот человек был стар по-другому, как стар был губернатор. Его нельзя толкать и шлепать, как нельзя толкать и шлепать губернатора со сверкающей шпагой на боку.

Ровный стук палок и взлеты и падения голоса многократно отражались от утесов — река звуков, вьющаяся вокруг камней. Торнхилл стоял за деревом, он погрузился в звук, и биение палок совпадало с биением его сердца.

• • •

Дэн втянул его в хижину. «Бога ради, закрой чертову дверь, — завопил он. — Закрой, быстро!»

Внутри было душно. Свет лампы плясал на обращенных к нему лицах. «Сколько там поганых? Сотня, две сотни?» — голос Дэна дрожал от страха в предвкушении ответа. «Не больше дюжины, — спокойно ответил Торнхилл. — А может, и того меньше». Но его ложь никого не убедила.

Сэл подняла и одела детей. Они все столпились вокруг стола, на котором дымила и коптела лампа, — Нед и Дэн и дети. Среди них не было только Дика. Он лежал на матрасе и смотрел на потолочные перекладины.

На столе Сэл сложила все их имущество — кружки, чашки, нож с отломанным кончиком, свою аккуратно сложенную вторую юбку. Здесь были перочинный ножик Уилли и только что сшитый ею чепец. Мешок муки, второй, поменьше, с сахаром, мельница для кукурузы. Все это было выложено на столе, как на рыночном прилавке.

«Они оставят нас в покое, Уилл, если мы отдадим им все, что у нас есть. Пусть забирают. Миссис Херринг так однажды сделала, — голос ее звучал деловито, как будто она уже не раз имела дело с дикарями. — У них не будет никакого повода причинять нам зло».

В полутьме кто-то скептически хмыкнул. Торнхилл решил, что это может быть Уилли,

повернулся к нему, но мальчик стоял с ничего не выражающим лицом.

Нед неуверенно произнес: «Но мы же можем перестрелять мерзавцев, да?» Дэн взвизгнул: «Тогда они нас всех тут спалят! Поджарят, как опоссумов!»

Хорошо было заглушить страх действиями. Торнхилл шагнул к Дэну и закатил ему оплеуху. «Заткни пасть, Дэн! — рявкнул он. Заставил себя говорить спокойно: — Надо просто дать им понять, что у нас имеется, вот и все». Взял ружье, и тут же рядом оказался Уилли, протягивавший ему мешочек с пулями, пороховницу и шомпол.

Все неотрывно смотрели на него, пока он заряжал ружье. Он, в отличие от них, знал, насколько бессмысленна эта затея. Ну хорошо, пройдет он через всю эту канитель — зарядит ружье, прицелится, выстрелит. А дальше-то что? Он мог представить себе, в какой панике пришлось бы перезаряжать: вставлять пулю, пыж, сыпать порох, высекать искру, палить…

Пока он все это сделает, они — если того захотят черные — успеют превратиться в подушечки для иголок.

Он почувствовал, как в нем клокочет смех, и с усилием подавил его. Он удивился, что руки

у него, когда он сыпал порох, нисколечко не дрожали.

Потом подошел к занавеске, распахнул ее и слепо уставился стволом в ночь. «Сейчас как дам прикурить!» — крикнул он. Отдача чуть не свалила его с ног, вспышка чуть не ослепила, а грохот оглушил.

Он опустил ружье дулом вниз и прислушался к бесчисленным отражениям выстрела, катившимся по реке, метавшимся между скалами и утесами по обеим ее сторонам. «Теперь они близко не подойдут», — сказал он и опустил занавеску с видом человека, сделавшего свое дело.

Да только там, вдали, пение и хлопки не умолкали. Торнхилл представил себе, как черные, услышав выстрел, с суровыми лицами вернулись к танцу. Он представил себе, как Длинный Джек смотрит в сторону хижины, прислушивается, но лицо его остается неподвижным.

• • •

Черные пели и плясали всю неделю. Каждую ночь утесы вторили резким ударам палок, каждую ночь люди в хижине прислушивались к этим звукам, их пожитки лежали за дверью, к утру они покрывались росой, но никто их не

брал. С первым рассветом, когда они проснулись, удивленные тем, что их никто не оскальпировал и не заколол, страх немного поутих. Что бы там ни происходило, это, похоже, не имело никакого касательства к обитавшей в хижине семье, но что-то значило для самих черных.

А потом они исчезли, так тихо, как отлив сменяет прилив, оставив после себя лишь горстку людей, что обычно неторопливо ходила мимо.

Торнхиллы пытались заниматься своими прежними делами, но ничто уже не было по-прежнему. В хижине — двое мужчин, полудурок и подросток, женщина и четверо маленьких. И ружье на стене, всего лишь механизм по производству шума и раскаленного воздуха. Торнхилл и раньше это знал, но сейчас помнил об этом всегда, каждую минуту.

Сэл тоже знала. В ней что-то изменилось. Он больше не слышал, как она напевает, порой она замирала, глядя в никуда, и между бровями у нее образовывалась морщинка. Когда женщины шли мимо хижины в лес, она махала им и улыбалась, но держала дистанцию. Она больше не пыталась общаться с ними, и в ее коллекцию мисок и палок-ковырялок новых поступлений не было.

• • •

Наверное, это было слишком опасно и легкомысленно: иметь только одно ружье и только одного мужчину, который умел из него стрелять. Торнхилл купил у Джона Хорна в Ричмонде еще три ружья и сделал колышки и для них, теперь они висели одно над другим. А потом потратил целый день, обучая стрелять Дэна, Неда и Уилли.

Как ни странно, у Неда получалось лучше всех. Бестолковый и неуклюжий абсолютно во всем, он ловко загонял заряд в ствол. Он вроде как даже и не целился, а кусок деревяшки, который они использовали в качестве мишени, каждый раз слетал со столба. Нед наконец обрел занятие, к которому был пригоден.

У Дэна все было наперекосяк: он постоянно ронял шомпол, рассыпал порох, никак не мог приладить на плече приклад, да и еще прижаться к нему щекой. Кусок деревяшки от его выстрелов не шелохнулся ни разу. Его больше прельщала идея дубинки. Он провел целое утро в лесу и возвратился с палкой со здоровенным утолщением на одном конце, а после этого несколько вечеров выстругивал ее, пока она не приобрела устраивавшие его вес и размеры.

Когда подошла очередь Уилли взять ружье, он побледнел и вытер о штаны вспотевшие ладони. Торнхилл видел, как тряслись у него руки, когда он сыпал порох на полку. «Ты еще малолеток, Уилли, — сказал отец. — Рано тебе стрелять». Но мальчик был настроен решительно. В первый раз он недостаточно плотно уложил на плечо приклад, и отдача была такой сильной, что он шлепнулся на спину. Но тут же подскочил и с угрюмой физиономией попытался снова.

Торнхилл понимал, что если черные за ними придут, то четырех ружей и трех мужчин, умеющих стрелять, будет недостаточно. Но черные все-таки знали, что этого сочетания — мужчина плюс ружье — стоит опасаться. И стоило надеяться, что страх сработает быстрее ружья.

Он не мог забыть, что они чувствовали в те ночи боевых танцев, окруженные стеной леса, сознавая, как близко эта стена. Копье вылетит из-за деревьев, поразит человека, и он даже не увидит руку, что бросила это копье.

Он решил расчистить пространство вокруг хижины. Но какой ширины должна быть эта защитная полоса? Он срезал толстый стебель с травяного дерева и, чувствуя себя полным идиотом, стоял с этим копьем в руке, а остальные за

ним наблюдали. Выражения лица Сэл он прочитать не мог, потому что она стояла в дверях.

«Ну как, похож я на дикаря, ребята?» — спросил он, стараясь превратить все в шутку, и даже у Неда хватило ума рассмеяться. Торнхилл слегка отклонился вбок, он видел, что черные так делают, напряг мышцы на груди, в плечах. Он почувствовал, как копье вырвалось из руки, представил, как оно летит в воздухе — совсем как у них, и втыкается в землю. Но его копье покувыркалось и шлепнулось в грязь всего в нескольких ярдах.

Он повернулся к зрителям и засмеялся. «Видите, что я имел в виду? — спросил он. Сэл наблюдала за ним из хижины. — Не имеет смысла суетиться». Он не сказал им, как больно было плечу.

Дик подобрал копье, покрутил его в своей маленькой ручке. Он вроде бы совсем не напрягался, но копье запело в воздухе и вонзилось в землю ярдах в пятидесяти, среди деревьев.

Сразу стало понятно, что Дик бросает копье не в первый раз, и даже не в двадцать первый, и даже не в сто первый. По лицу мальчика Торнхилл понял, что до него дошло, что он только что себя выдал, но сейчас был не тот момент, чтобы призвать его к ответу. Сейчас было важно понять, как

далеко может пролететь копье, даже брошенное тощим мальчишкой, которому не исполнилось и восьми лет. И это понимание стерло улыбку с лица взрослого.

Он шагами отметил расстояние, на которое пролетело копье, добавил еще несколько ярдов и заставил всех приняться за работу. Каждое дерево — кроме того, на котором Сэл отмечала недели, — было срублено под корень. Каждый куст выкорчевывали, каждый камень откатывали в сторону, и всю территорию обнесли забором. Землю вокруг хижины по возможности выровняли. Не осталось ничего, за чем можно было бы затаиться.

«Вот теперь они точно не станут и пытаться что-нибудь с нами сделать», — сказал он. Он видел, что Сэл задумчиво смотрит на его рот, исторгающий этот вердикт, но избегает смотреть ему в глаза.

Он переустраивал землю. Срубал деревья, избавлялся от кустов, срезал лопатой большие кочки, в которых могли обретаться змеи. Каждый день был отмечен очередной маленькой победой: срубленным деревом, выкорчеванными кустами, еще несколькими ярдами забора.

Ему понравилось, как место стало выглядеть

с забором. Аккуратный квадрат внутри забора смотрелся совсем не так, как земля за забором. Забор говорил о том, как далеко может продвинуться человек, и, заканчивая его ставить, он уже видел, куда можно двинуться потом.

Теперь это было особенно заметно: что бы человек ни делал, как бы ни обустраивал свое место, от вечного леса избавиться невозможно, его можно только отодвинуть. За пределами куска голой земли, которым он так гордился, по-прежнему перешептывались казуарины, как всегда шелестели и поскрипывали эвкалипты. А над утесами, словно шарф на ветру, вилась стая птиц, черных на фоне выбеленного жарой послеполуденного неба.

• • •

Торнхилл все чаще думал о злющих псах Барыги. Думал и о том, как Барыга будет злорадствовать, но в одно тихое воскресенье в начале марта проглотил свою гордость и отправился плоскодонкой вниз по реке.

Услышал он собак задолго до того, как увидел хижину. Их лай эхом разносился по всей долине. Он шел к хижине, а они рвались к нему, гремя цепями. Он обошел их по широкой дуге, туда, где

Барыга расчищал от кустарника еще несколько ярдов.

Барыга выпрямился, глядя на Торнхилла. Его лицо под шляпой было унылым и бледным, как у человека, который ест слишком мало зелени.

Торнхилл решил не тратить времени на любезности. «Хочу купить у тебя пару собак», — сразу же объявил он. Но Барыгу так просто не возьмешь! Щербато улыбаясь, он осведомился: «Слышал, к тебе дикари повадились?» Торнхилл не собирался его выслушивать: «Пару сук и кобеля, пять фунтов, так да или нет?» Барыга сделал вид, что раздумывает, с шумом поскреб щетину на подбородке. «Ну, сейчас на моих псов большой спрос, — заявил он с победным выражением на тощей физиономии. — Не меньше десяти фунтов, Уилл, и то это дешево».

Но и Торнхилл был не лыком шит: «В гинеях[15], Барыга. Пять гиней — мое последнее слово», — и повернулся, направляясь назад к лодке. Тут Барыга, как Торнхилл и предполагал, сдался. «Ладно, по рукам!» — крикнул он, и Торнхилл повернул назад.

Барыга представлял собою жалкую фигуру, он

---

[15] Примечания: 15

Традиционно гинея была равна 21 шиллингу, то есть 1,05 фунта.

стоял, скрючившись, на своем скрюченном куске земли, драные штаны болтались вокруг тощих ног, босые ступни все в грязи, по лицу тек пот. «Так и быть, отдам за пять гиней, — объявил он. — Как один белый другому белому».

• • •

Подходя к хижине, где Торнхиллу предстояло выбрать себе собак, Барыга прокричал, перекрывая их лай: «Хочу тебе кое-что показать!» Возбуждение, звучавшее в его голосе, заставило Торнхилла насторожиться, но Барыга уже заталкивал его в дверь.

После яркого солнца разглядеть что-либо внутри было трудно — Торнхилл видел только пробивавшиеся сквозь дыры в коре лучи света. Но в углу почудилось какое-то движение, и до Торнхилла донесся звериный запах, смешанный с вонью чего-то гниющего. Когда глаза Торнхилла привыкли к мраку, он увидел матрас, перечеркнутый тонким солнечным лучом, а рядом с ним что-то темное. Раздался звон цепи, послышался вздох, не его и не Барыги. Он подумал, что это, наверное, собака, но в ту же секунду разглядел, что никакая это не собака, а сидящий на корточках человек, тело которого зигзагом рассекает

солнечный луч, — черная женщина скорчилась у стены, она дышала так тяжело, что он видел белые зубы между искаженными болью губами, видел ссадины в тех местах, где крепилась цепь, — алые отметины на черной коже, капли крови, похожие на драгоценные камни.

Барыга пробрался из-за спины Торнхилла и заорал: «А ну, поднимай свою ленивую черную задницу». Она чуть повернулась, и Торнхилл увидел у нее на спине следы от плети. В солнечном свете ее кожа была растрескавшейся и серой. Она стояла, держа цепь, соединявшую ее щиколотки.

В раскаленном добела солнечном свете Барыга был настоящим ничтожеством с плеткой. Он улыбался гаденькой похотливой улыбочкой. «Черный мякиш, — произнес он, облизнувшись. — Единственный, который мужик в этих краях может поиметь, если, конечно, тебя не привлекает эта старая грымза Херринг, мне так она даром не нужна». Отсмеявшись по поводу миссис Херринг, он вплотную приблизился к Торнхиллу: «Она обслуживает меня вместе с Головастым, — прошептал он. — Спереди и сзади».

На какой-то ужасный миг, очень ярко, будто при свете молнии, Торнхилл представил себя с этой женщиной. Ощутил ее кожу под своими

пальцами, ее напряженные ноги. В нем на миг проснулось животное. «Ты играешь, Торнхилл? — спросил Барыга. — Только берегись ее когтей, они у нее как у бродячей кошки». Торнхилл не мог вымолвить ни слова, только помотал головой и выскочил из хижины.

Барыга, обидевшись, что от его услуг отказались, крикнул: «Что, бесплатные шлюхи — это слишком низко для тебя, да?!» И сплюнул углом рта. Плевок, сверкнув на солнце, шлепнулся в грязь. «Между прочим, у твоего драгоценного Томаса Блэквуда тоже черная шлюха имеется!»

Торнхилл отчаянно хотел убраться из этого кошмарного места. Иначе задохнется и умрет прямо здесь. «Черт тебя подери, Барыга, не нужны мне собаки!» — хрипло крикнул он. Барыга перестал улыбаться. «Ладно, бери за пятерку», — сказал он, но Торнхилл не хотел уже никаких собак, ни за какие деньги. Своим лаем и рычанием, оскаленными, блестящими от слюны зубами, длинными языками они сводили его с ума.

Он завопил во весь голос: «Я сказал, забудь про собак!» От крика его отпустило, ему стало легче. Скалы откликнулись эхом. Его услышало все это место, каждое дерево, каждый камень на склоне.

Но на Барыгу его вопль никакого впечатления

не произвел. «Чтобы управиться с этими собаками, нужен характер, — спокойно произнес он. — А у тебя, Уилл Торнхилл, такого характера нет».

Торнхилл залез в плоскодонку и налег на весла, стараясь как можно скорее убраться отсюда. На Барыгу он не смотрел. Над водой плыл жирный дым.

• • •

Мысль о том, как он будет рассказывать об увиденном Сэл — даже сами попытки в уме подобрать слова, — наполняла его стыдом. Стоявшая перед его мысленным взором картина была ужасна, отвратительна. И если он будет думать об этом, произносить слова, он станет таким же, как Барыга, как будто мысли Барыги пробрались ему в голову и заставили при виде той женщины в хижине испытать минутное искушение. Он не сделал ничего, чтобы ей помочь. И теперь он тоже причастился злу.

• • •

Перевозчик товаров на Хоксбери, если он правильно рассчитает, когда фермеры приступят к уборке урожая, может здорово заработать на

продаже серпов. Еще в начале февраля Торнхилл закупил десять дюжин, а уже к первой неделе марта распродал их все, даже тот, у которого была расколотая ручка. И теперь он легко скользил по течению в лунном свете, «Надежда», порыскивая, сидела высоко.

Спокойствия ради он всегда соглашался с Сэл, когда она предавалась воспоминаниям о том, как все было Дома. Он соглашался, что свет здесь слишком яркий, дни слишком жаркие, а ночи слишком холодные. Что здесь слишком много змей и вообще того, что кусает и жалит. Что это край земли, где до ближайшего соседа надо добираться на лодке целый час. Он никогда не пытался объяснить ей, что, несмотря на москитов и раскаленное солнце, в низовьях Хоксбери тоже есть свои прелести.

Река отливала серебром. Над утесами, над дальним кружевом деревьев плыла восковая луна, затмевая своим светом звезды.

Ночь на реке была очень приятной, отчасти потому, что он знал ее теперь очень хорошо. Он мог заранее, по тому, как ведет себя вода, по тому, как вздымаются и опускаются хребты гор над долиной Первого Рукава, вычислить, как скоро покажется его мыс. Все здесь теперь было так же

понятно и знакомо ему, как пристань в Уоппинге или Лебяжий причал.

Он сидел, довольный, спокойный, на корме «Надежды», чувствуя, как река, словно старый приятель, теребит румпель. Когда он только приехал, он думал, что пребывание здесь — все равно что смертный приговор, но теперь начинал понимать, что для того, чтобы воскреснуть из мертвых, совершенно не обязательно быть Иисусом Христом.

Он не спеша, не желая расставаться с ночью, закрепил «Надежду». Поднимаясь к дому, помедлил возле кукурузы, прислушиваясь к непонятным мелким поскрипываниям, которые издавала она в лунном свете. Как и у остальных, его урожай тоже созрел. Початки, полные мягких тугих золотистых зерен, налились на летней жаре соком, на каждом стебле их было по пять-шесть штук — богатство на длинных ножках, толпившихся вокруг него с сухим шелестом.

Через несколько дней они снимут урожай и, если продадут по десять шиллингов за бушель, смогут неплохо подзаработать. Легкие деньги — всего-то и дел, что воткнуть зерно в землю и ждать, когда прорастет.

• • •

Ночью хижина уже не казалась коробкой, прильнувшей к земле, она представала вместилищем света, свет пробивался сквозь щели в коре, а свет, который лился из дверного проема, затмевал даже безжизненную луну.

Он знал, каково это быть там, рядом с огнем, устремлявшимся в трубу, рядом со стоявшей на столе лампой — свет даровал ощущение безопасности, надежности. Но отсюда было видно, до чего она хрупкая, эта хижина, сколько в ней дыр. На фоне горы она казалась карликом, ветерок доносил гул голосов: внутри этого теплого желтого пузыря собрались люди.

Он знал, что у Сэл гости — видел привязанные на причале лодки. Подойдя ближе, он различил мужские голоса.

С того времени, как он увидел в хижине Барыги женщину, прошло две недели. Он ни разу с ним не разговаривал. Отворачивался, проплывая мимо его жилища. Он договорился с Эндрюсом с острова Маллет, что теперь тот будет перевозить Барыгину известь. Он загнал воспоминание о женщине и красных, похожих на драгоценные камни каплях крови на ее коже, в самый дальний

уголок памяти, чтобы оно не стояло у него перед глазами.

Войдя из благоухающей ночи, он чуть не задохнулся от вони человеческих тел и рома и чуть не ослеп от мерцающего света лампы. Здесь был Барыга с Мисси, сидевшей у его ног. Головастый привез своего соседа Джорджа Твиста, сердитого дядьку с кривыми от рахита ногами и в низко надвинутой шляпе, которую он не снимал ни ночью ни днем. У стола во всю свою длину развалился Лавдей, на другом конце сидела прямая и строгая миссис Херринг. А в уголке возле трубы пристроился Блэквуд, он опирался на локоть, и лицо его было наполовину прикрыто рукой.

Сэл испуганно повернулась на скрип двери. Медленно и степенно повернулся и Лавдей — он уже был до такой степени пьян, что движения его были неуклюже-механическими. «А вот и ваш кормилец, миссис Т.» — провозгласил он. Барыга не мог упустить такого случая и не прокомментировать: «Ага, кормилец крошками!» — чем дал старт веселью. Головастый, решив, что это отменная шутка, грохнул по столу ладонью и залился странным высоким смехом, больше похожим на рыдания. Торнхилл увидел, то, что не замечал раньше: Головастый был подпевалой у Барыги.

«Сзади и спереди».

Сэл налила мужу кружку: «Они добрались до Паука, Уилл! Барыга, расскажи ему про Паука». Барыгу не надо было долго уговаривать. Миссис Уэбб оставалась одна с детьми в этом несчастном форпосте цивилизации под названием «Несокрушимая». Уэбб отправился на реку занять у кого-нибудь серп, потому что его серп за неделю до этого украли местные.

Когда Уэбб был дома, он не позволял черным заходить за его ограду, и если нужно, хватался за ружье. Но Паук ушел, а София Уэбб позволила им подойти прямо к хижине, они совсем задурили голову бедной женщине, слишком, к сожалению, добросердечной. Один из них, изображая несчастненького, болтал с ней возле двери, она налила ему чаю, дала пышку. А в это время полдюжины других рассыпались по полю, и пока София Уэбб угощала своего нового друга второй пышкой, они собрали все до последнего початка.

Рассказывая эту историю в очередной раз, Барыга так и пылал от праведного гнева. «Что бы ей не предложить поваляться на постельке, да еще и вместе с ней? — издевательски осведомился он. — Да дать покурить из мужниной трубки и налить им его рома?» Он захохотал во весь свой

щербатый рот, но Торнхилл видел, что ему совсем не смешно. Смехом он скрывал жгучую ярость.

Вдова Херринг, попыхивая трубкой, сказала: «Бедная дурочка, попалась, совсем как старый мистер Барнс с Хаттерс-Лейн. Мой брат Тобиас занимал его разговорами у дверей, а я проскользнула внутрь. Сперла моток ленты с прилавка, потом выручила за него полкроны, — она улыбнулась. — Они, когда хотят, способны кого хочешь обвести».

«А у меня лент нету, миссис Херринг, — брякнул Головастый. — Все, что у меня было, так это четыре мешка пшеницы, и что ж вы думаете? Мерзавцы их сперли». Джорджу Твисту тоже не пришлась по душе мягкотелость миссис Херринг: «Нарываются они на неприятности, вот что я скажу», и он решительно выпятил челюсть, готовый дать отпор всякому, кто с ним не согласится.

Твист был несчастным пьяницей. Он выращивал свиней и был неплохим клиентом, покупая столько соли и столько бочонков рома, сколько Торнхилл мог ему довезти, и отправляя с «Надеждой» свою солонину. И все равно душа у Торнхилла к нему не лежала. Он никогда не рассказывал Сэл о том, что все про Твиста знали: его кабан убил самого младшего ребеночка Твиста,

так ходили слухи, что тот отказался хоронить малыша, заявив, что кабан вполне может довершить начатое.

Но это еще был не конец истории про Паука. Когда он возвратился с серпом домой, черные еще были там. С ним было ружье, он выстрелил, но черных было больше, и пока он перезаряжал, окружили его и держали, угрожая копьями, пока бедняжка София — они ее заставили — готовила им все яйца, которые снесли их куры, и жарила всю свинину, а они жрали их драгоценные запасы сахара прямо из мешка, горстями.

Нет, они не надругались над ней — она же тощая и беззубая. Даже Барыга такого приписать им не мог. Зато они забрали всю одежонку Уэббов — лучший чепчик Софии с розовой лентой, шаль, которая ей досталась от матери, запасную рубашку Паука. Блестя свиным жиром, они напялили на себя все это, особенно их забавлял чепчик. В конце концов они унесли с собой все, что можно было унести, — топор, лопату, коробку с чаем, кружки, даже дочкину тряпичную куклу, она одному там особенно понравилась.

Старший сын Уэбба, угрюмый конопатый мальчик, все твердил: «Останови их, отец, останови», но Уэбб мог только стоять да смотреть. И мальчик

расплакался от злости.

Тот, что шел последним, повернулся и что-то крикнул через плечо семье, стоявшей в дверях разграбленной хижины. Остальные заржали. А этот выпятил свою черную задницу, повертел ею и издевательски по ней хлопнул. Эту деталь Барыга поведал с особенным удовольствием, наглядно проиллюстрировав своей собственной задницей и своей собственной рукой. Нед смотрел на него, разинув рот.

Паук прекрасно понял, что этим хотели сказать, и решил не дожидаться второго раза. Он собирался бросить «Несокрушимую» и попытать счастья в Виндзоре — черные не решались соваться в городок. Откроет там кабак и будет торговать спиртным Блэквуда. Пусть другие растят зерно и имеют дело с черными.

Лавдей так набрался, что даже не мигал, в одной руке у него была зажата кружка, второй он вцепился в край стола, и сидел, замерев, словно человек, с которого пишут портрет. А потом вдруг провозгласил, да так громко, что все вздрогнули: «Никто из людей в известном нам мире не был столь неимущ при всем их усердии и изобретательности!» Нед закивал, потрясенный пышностью высказывания. «Присущая же иным

леность препятствует поискам средств к существованию».

Но это же была Барыгина история, и он не намеревался позволять всяким там бывшим джентльменам портить ее мудреными словами. «То есть ты хочешь сказать, что они ленивые вороватые дикари!» — прокомментировал он, но Лавдей не дал сбить себя с толку. Он рыгнул, шлепнул ладонью по столу, привлекая всеобщее внимание, и продолжал, неукротимый, как прилив: «Наши темнокожие собратья, или ленивые дикари, как ты столь справедливо их нарек, воровством и разбоем пожинают плоды того, что сами они, в безмерной праздности своей, взрастить не потрудились». Он по-прежнему не мигал, но фразы выкатывались из его рта безо всяких усилий.

Торнхилл уставился в свою кружку, не зная, что можно было бы сказать в ответ на такую пышную речь. Барыга покрутился на месте, а потом изобразил, будто вскидывает на плечо ружье и прицеливается: «А вот этот язык они очень даже хорошо понимают, Святоша!» Головастый поднял кружку, приветствуя это высказывание Барыги, но вдруг остановился на полпути, пораженный собственной мыслью: «А что, если устроить на

них засаду, а?»

Миссис Херринг фыркнула: «Попридержи язык, Барыга Салливан, — резко произнесла она. — Не всем здесь нравятся такие речи».

За столом воцарилось молчание. Барыга ухмыльнулся Торнхиллу, Торнхилл облизал губы и отвел взгляд. Интересно, кому еще из здесь присутствующих Барыга предлагал ту закованную в цепи женщину. Головастый улыбался и почесывал щетину на подбородке.

«Вы, конечно, можете не слушать старую женщину, — сказала миссис Херринг, — но говорю тебе прямо: ты, Барыга, нарываешься на неприятности, и ты, Головастый Биртлз, тоже. И не думайте, будто я не знаю, что там у вас творится», — и она так решительно вставила в рот свою трубку, как будто это была пробка, не позволяющая ей сказать что-то еще.

Торнхилл видел, что Блэквуд наблюдает за ним с другого конца комнаты. Смотрит настойчиво, с вызовом. Торнхилл, с ничего не выражающим лицом, потер глаза: так накурено, что глазам больно!

Лавдей поднял палец и продекламировал: «Сей факт хорошо известен: черные не признают собственности». Собрался было произнести что-то

еще своим мягким благородным голосом, но Барыга бесцеремонно его опередил: «На той неделе поймал двух черных, они пробирались на Дарки-Крик, — откусил от испеченной Сэл булочки и продолжил с набитым ртом: — Подстрелил их, как сквайр куропаток». Огляделся, но все молчали, а он, плюясь крошками, объявил: «Эти дикари хороши только на удобрения». Рот у него был перепачкан мукой, и из-за этого он выглядел тяжелобольным. Повторил, как будто никто не понял, что он сказал: «Отличное удобрение. Кукуруза так и прет».

Торнхилл заметил, как он глянул на Блэквуда, и если Барыга стремился Блэквуда спровоцировать, то это ему удалось. Блэквуд вскочил, крупный человек в маленькой комнате, в ярости он стал даже еще больше. «Ну, ты, Барыга…» — и остановился, скрестив на груди ручищи. Лицо у него было словно высечено из камня.

Торнхилл испугался, что Блэквуд, по обыкновению, не станет продолжать. Если он промолчит, значит, Барыга возьмет над ним верх. Но Блэквуд голосом, дрожащим от негодования, продолжил: «Господи Иисусе, да один черный стоит десяток таких безмозглых червяков, как ты». Все мгновенно протрезвели, никто и не подумал засмеяться.

Ни один из них еще никогда не слышал, чтобы Блэквуд поминал имя Господа всуе, и никто еще не слышал в его голосе столько силы.

С перекошенным лицом он подошел к Барыге. Казалось, он ему сейчас врежет, однако Блэквуд, фыркнув от отвращения, развернулся и, прежде чем кто-то понял, что происходит, вышел в ночь.

«Этот ублюдок еще пожалеет о том, что сказал», — в голосе Барыги слышалась ярость, но она горела приглушенно, как один из его костров.

Торнхилл посмотрел в темный прямоугольник дверного проема. Мысленно последовал за Блэквудом, сначала по дороге, потом в его маленькую плоскодонку и до самого Первого Рукава. Представил себе, как Блэквуд сидит на корме, направляя лодку к залитому лунным светом ландшафту из скал и утесов. Где-то там его поджидают черные. Он зайдет в свою хижину, раздует в очаге огонь и сядет, глядя на лижущие дно чайника языки пламени.

Может, та женщина вместе с ребенком будет сидеть с ним рядом. Ребенок вроде был девочкой, но он ведь глянул лишь мельком.

• • •

Нападение на Уэббов было лишь одним из многих «актов насилия и мародерства», случившихся в марте 1814 года. Они вспыхивали по всей реке, каждый раз в новом месте. Казалось, с ними сталкивались все, у кого созревал урожай. Горели поля, горели хижины, в мужчин с серпами летели копья. Фермерам приходилось засевать заново, в надежде, что до зимы зерно поспеет, либо сниматься с места и возвращаться в Сидней.

В результате дела пошли плохо и для Уильяма Торнхилла. Кому нужна «Надежда», если на ней в Сидней и везти-то нечего? И денег на то, чтобы покупать ситец или ботинки, ни у кого не было. Торнхилл привязал лодку в ожидании лучших времен. Он даже обрадовался предлогу. В такие времена мужчине надлежит сидеть на месте и зорко следить, чтобы не случилось неприятностей. Он вел себя спокойно, как человек, способный справиться с любыми проблемами. Убрал созревшие початки с первого участка — понятно, невелик урожай, — позволил Дику и Братцу наедаться до отвала в оплату за то, что они таскают воду. Но за этим его благодушием крылась тревога.

• • •

Его величество в Лондоне, чьим полномочным представителем в Сиднее был его превосходительство, не очень-то беспокоился по поводу бывших каторжников, копошащихся на берегах далекой Хоксбери. Но когда задевают одного белого человека, это значит, что задевают всех белых. Пришло время, и мощь закона обрушилась на черных. Его превосходительство издал указ: его величество долго проявлял терпение и добрую волю, но, увы, вынужден предпринять действия против туземных налетчиков.

Орудием закона в данном случае выступал некий капитан Маккаллум из Шрусбери. Он со своими людьми прибыл на правительственном баркасе из расположенного в Виндзоре гарнизона и пришвартовался рядом с «Надеждой»: он счел мыс Торнхилла удачной отправной точкой для запланированной им кампании.

Торнхилл поджидал его в хижине. До него донесся ровный барабанный рокот, возвещающий приближение капитана — сразу было понятно, что капитан серьезно относится к своему чину.

Он ворвался в хижину, расстелил на столе карту и принялся объяснять свой план солдатам.

Солдаты, в красных камзолах с черной перевязью и в головных уборах с плюмажем, походили на каких-то насекомых. Потные лица, стянутые ремешками шапок, никоим образом не выдавали того, что они думают о своем капитане.

Торнхилл стоял в дверях вместе с Сэл, дети сидели на корточках на полу. Он считал, что губернатор все равно не сможет решить «проблему туземцев», но тоже держал свои мысли при себе. Этот человек в красном камзоле с золотым шитьем не имел никакого отношения к тому, что происходило на Хоксбери, как не имел к этому отношения ни король, ни даже сам Господь.

Но у капитана Маккаллума имелся собственный стратегический план, согласно которому он усмирит туземцев на Дарки-Крик[16]. Произносил он это название так, будто в нем имелось что-то забавное. Хотя ничего забавного или веселого в Дарки-Крик не было. Это было небольшое ущелье недалеко от фермы Головастого, белому человеку оно было совершенно без надобности, потому что крутые горы подступали так близко, что солнечные лучи попадали в ущелье только в полдень. Говорили, что согнанные фермерами туземцы

[16] Примечания: 16

Речушка аборигенов — от *австрал.* Darkey (или Darky) — «аборигенский» и Creek — ручей, речушка.

находили там свое прибежище. Торнхилл видел каноэ в том месте, где ручей впадал у реку, они выплывали, заплывали в устье ручья, видел поднимавшиеся оттуда дымки костров. Торнхиллу Дарки-Крик представлялся чем-то вроде буфета, на полку которого можно было бы сгрузить черных, закрыть дверцы и забыть о них навсегда.

Но капитану Маккаллуму узкое ущелье предлагало иные возможности. Он планировал захват в клещи при помощи того, что он называл живой цепью. Предполагалось, что войска сомкнут ряды и будут двигаться вдоль ущелья, гоня черных перед собой.

«Как гонят овец», — пояснил капитан.

Капитан Маккаллум был джентльменом и говорил, как джентльмен — сдавленным голосом, будто кто-то обхватил его за шею. Торнхилл понимал его с трудом, но это капитана Маккаллума нисколько не волновало, тем более что он на Торнхиллов и не взглянул. Они же были просто бывшими каторжниками. Он отказался от предложенного Сэл чаю и несмотря на жару не выпил даже воды.

На карте он продемонстрировал, каким образом черных догонят до того места, где стены ущелья смыкались, и уже там их настигнет пра-

восудие его величества.

Он порылся под столом и с гордостью победителя вытащил парусиновый мешок. «Губернатор лично выдал мне шесть таких мешков, — заявил он и скромно откашлялся. — Сказал, что верит, что мы доставим их ему полными». Если он ждал рокота, даже шепота одобрения, то остался разочарованным. Люди в красных камзолах шаркали, переминались с ноги на ногу, дышали, но молча. Он оглядел их лишенные выражения лица. Торнхилл видел, что он решил быть более откровенным: «Шесть мешков, понятно? Для шести голов».

Собравшиеся продолжали молча взирать, как он поднял мешок повыше, дабы продемонстрировать, как затягивается шнурок. Торнхилл видел, что Дик вытянул шею, приоткрыв от изумления рот.

На карте план капитана Маккаллума выглядел по-детски простым, и, глядя на карту, можно было легко вообразить его исполнение: живую цепь, преследование, свершившееся правосудие. Карта была довольно точной. Вот река, огибающая мыс Торнхилла, вот Диллон-Крик милей выше, вот ферма Головастого, аккуратный квадратик, и как раз перед ней — изогнутая линия Дарки-Крик.

Ущелье помечено точечками, будто бумагу курица клевала. Карта была верной, и трудно было спорить с капитанской логикой — со взятием в клещи, с живой цепью.

Но Торнхилл бывал там и знал, что карта верна только в общих чертах. Он знал, что на самом деле путь вдоль ручья, по которому, по замыслу Маккаллума, будет двигаться живая цепь, на самом деле пролегает не по ровной земле, что там настоящие дебри — деревья, густой кустарник, валуны. И склоны — ребристые выступы, скалы, овраги вдоль ручья, поросшие мангровыми деревьями, тростником, а ила там накопилось столько, что человеку ничего не стоит провалиться в него с концами. Каждая лиана, каждый торчащий из-под земли корень, каждая похожая на плетку ветка будет сопротивляться человеку, не говоря уж о целом воинском подразделении. Москиты будут жрать их заживо, пиявки заберутся в ботфорты, как бы крепко их ни подвязывали, клещи будут сыпаться на голову и впиваться в кожу, и им придется продвигаться урывками, из-за чего обозначенное на карте расстояние вырастет в десять-двадцать раз.

Но разве можно было ожидать от капитана Маккаллума, который только недавно прибыл

из Дома и чьи розовые щеки лишь едва тронуло колониальное солнце, что он может знать обо всем этом? Он был обучен думать по-армейски — о том, какую позицию занять его армии и как противостоять армии противника. Проблема-то как раз в том и состояла, что здесь отродясь не было никакой армии — были неясные очертания, фигуры, которые исчезали, стоило на них взглянуть. Они были слишком хитры, чтобы обзаводиться чем-то таким громоздким, как армия, ибо знали то, о чем не ведали ни губернатор, ни капитан Маккаллум: армия на марше видна всем и потому столь же уязвима, как ползущий по столу жук. Здесь битвы выигрывали невидимки, непонятно откуда насылающие ливень из копий и тут же исчезающие, так что палить-то, оказывается, и не в кого.

Со своего места у двери — и вопреки собственному желанию — Торнхилл вдруг произнес: «Если мне будет позволено сказать, сэр, то предстоит довольно трудное предприятие». Он почувствовал, как Сэл расправила плечи и вытянулась рядом с ним, всем своим видом показывая, что полностью его поддерживает.

Маккаллум недоуменно глянул на него, потом посмотрел на Сэл, потом отвел взгляд. «Благода-

рю за предупреждение, Торнхилл, — произнес он, глядя куда-то над их головами. Он объяснился весьма доходчиво: — Не предполагал, что у вас имеется опыт военной подготовки, — его взгляд намекал: опыт каторжника не в счет. — Мы, Торнхилл, — дисциплинированная боевая машина, мы привыкли к трудным предприятиям, как вы изволили выразиться».

Торнхилл почувствовал, что Сэл вся надулась от негодования, и схватил ее за руку: молчи. Услышал, как она вздохнула — вздох был подозрительно похож на фырканье, однако она все-таки промолчала, и они продолжали слушать выступление Маккаллума, которое он наверняка отрепетировал заранее: «Эта колония балансирует на лезвии ножа. И мы должны защитить ее от нашего коварного врага».

Капитан Маккаллум запнулся, как будто забыл, что там еще он собирался сказать. Возникла длинная пауза, после которой он объявил: «Верю, что каждый из вас выполнит свой долг перед королем и страной». В какой-то миг показалось, что он ждет, что кто-то выкрикнет: «Правильно! Правильно!» — однако все по-прежнему молча смотрели на него. Торнхилл же подумал, что ни король, ни страна как-то не баловали его своими

щедротами. Он кашлянул, и Маккаллум метнул в него подозрительный взгляд.

• • •

Маккаллум появился через неделю, и выглядел он словно сдувшийся пузырь. Воротник красного камзола оторвался и хлопал при ходьбе по плечу, один рукав тоже куда-то делся. Колени были мокрыми и грязными от ила, треуголка исчезла, растрепанные волосы падали на налитые кровью глаза и распухшее от укусов москитов лицо.

Он не сказал Торнхиллу ни слова, и даже не смотрел на него, а лишь, высоко вздернув подбородок, прошествовал мимо. Его подчиненные, благодарные Сэл за лепешки, казавшиеся особенно вкусными после проведенного в диких зарослях времени, были более разговорчивыми. Как и было приказано, они выстроились в живую цепь и двинулись вверх вдоль Дарки-Крик. Преодолев ужасные препятствия — ил, доходивший до пояса, провалы и скалистые гребни, повстречавшись со змеями, пауками, пиявками, москитами, они наконец добрались до конца ущелья, предполагая, что загнали туземцев в тупик и те поджидают их там, дрожа от страха. Но никого из туземцев там не оказалось, даже

собак не было. Зато из леса на них посыпался град копий. Они хотели загнать в ловушку черных, а попали в ловушку сами.

Они принялись вслепую палить по кустам и деревьям, но, прежде чем черные скрылись, красномундирники потеряли троих убитыми, а четверо были ранены.

• • •

Поражение экспедиции капитана Маккаллума не остановило Его превосходительство, он просто решил прибегнуть к другому средству. Если красномундирникам с их стратегией не удалось справиться с черными, то пусть этим займутся сами поселенцы. В «Газетт» было опубликовано обращение, которое Лавдей и зачитал собравшимся у Торнхиллов.

Хижина была набита битком: Барыга, Джордж Твист, Головастый, миссис Херринг. Даже Блэквуд явился послушать, что там задумал губернатор. Нед и Дэн пристроились на корточках возле двери, а детей с вытаращенными от возбуждения глазами загнали в угол, на матрас, — чтобы не путались под ногами.

Страницу эту передавали из рук в руки так часто, что бумага вся истрепалась, а буквы стерлись.

Голос Лавдея, чувствовавшего себя посланником губернатора, был особенно звучен. «Марта двадцать второго года тысяча восемьсот четырнадцатого, — начал он. — Черные туземцы колонии давно проявляют кровавый дух враждебности и противостояния британским жителям».

Головастый, который еще до Торнхиллов выпил стаканчик, язвительно прокомментировал: «Имеется в виду, они при каждом случае готовы вонзить копье», но Блэквуд оборвал его, обращаясь к Лавдею: «Давай лучше дочитывай эту чертову бумагу». Он стоял возле двери, отказавшись и от рома, и от табуретки. Понятно было, что здесь он только потому, что не может сам прочесть прокламацию губернатора.

Лавдей продолжал: «В том случае, если на ферме, принадлежащей британскому подданному, появится кто-то из туземцев при оружии, либо без оружия, но с враждебными намерениями, либо без оружия, но группой, превышающей шесть человек, таковым туземцам надлежит в цивилизованной манере приказать покинуть вышеозначенную ферму».

Лавдей наслаждался вниманием собравшихся, а также предложенным ему спиртным, но не таков был Барыга, чтобы позволить кому-то в

одиночку красоваться перед публикой. «В цивилизованной манере — значит, под дулом моего ружья!» — прервал он чтеца, его маленькие глазки опасно сверкали. Но и Лавдей тоже был в ударе и не позволил себя прерывать. Он поднял руку, призывая к вниманию, и стал читать еще громче: «И если после этого они не уйдут, тогда их следует изгнать силой оружия, применяемого самими поселенцами». Он умолк и оглядел слушателей. «Говоря по-простому, вы имеете полное право стрелять мерзавцев», — сказал он и одним глотком осушил стоявшую рядом кружку.

«Дай мне, — потребовала миссис Херринг. — Ну-ка, дай мне этот листок!» Торнхилл видел, что она не поверила Лавдею — наверняка он прочел неправильно. Лавдей передал ей газету, и она подозвала на помощь Сэл. Они склонились над текстом, шепотом повторяя друг другу слова, водя пальцами по строчкам. Торнхилл видел, что они дочитали до конца и посмотрели друг на друга. Впервые миссис Херринг вынула свою трубку. Рот ее сжался в горестную линию.

Разгоряченный выпивкой Головастый завопил: «Ха-ха, буду я их по одному стрелять! Да я их всех лучше зеленым порошком потравлю!» Барыга вскочил, голос его прогремел по хижине: «А то

мне нужна была бумага от какого-то там губернатора?!» Он полез в карман штанов и брякнул на стол, возле лампы, что-то, что показалось Торнхиллу парой листиков, связанных кожаной тесемкой. «Что мое — то мое, и никаких дозволений я никогда не ждал!»

Сидевшая у стола Сэл протянула руку и дотронулась до листика. Торнхилл увидел ее недоуменный взгляд и понял: что бы это ни было, оно никак не может быть невинными листиками, но не успел подойти к ней, как увидел, как исказилось ее лицо. Она отшвырнула это нечто, будто оно ее укусило, и с отвращением крикнула: «Убери! Убери их, Барыга! Пока дети не увидели!»

Это была пара человеческих ушей, темно-коричневых, грубо отсеченных. В месте отреза кровь спеклась и почернела, как бывает с лежалым мясом.

Барыга расхохотался и сунул уши в карман: «Ладно, миссис, нечего так волноваться!» Дети вытянули головы, чтобы посмотреть, что это было, но Сэл вскочила и собой перегородила им обзор.

Барыга с издевкой смотрел на Торнхилла. «Получил в Сиднее фунт за голову поганца. Измерили там, и все такое… — он снова вынул уши

и помахал ими в воздухе. — Но, конечно, сперва пришлось ее сварить, чтобы очистить. Аккуратно получилось».

Все представили себе, как варится человеческая голова. Торнхилл изо всех сил старался сохранять неподвижное лицо. С Барыгой никогда нельзя было понять, говорит он серьезно или бахвалится. В любом случае Торнхилл желал, чтобы он ушел.

Он видел лицо Сэл. Она стояла, повернувшись на три четверти в его сторону, губы ее были плотно сжаты. Он столь многое скрывал от нее, и теперь все тайное мгновенно стало явным.

Головастый выразительно рыгнул. Это пробудило Лавдея, который произнес: «Протравить». Никто ничего не понял, и он повторил, громче: «Протравить». Оглядел всех и сказал: «Друг мой Барыга, лучше протравить кислотой, чем варить. Это я тебе как экспер… — он запнулся, но осилил слово: — Как экспериментатору советую». Он повернулся к Барыге всем телом, словно бы не веря, что способен вертеть головой отдельно от туловища, при этом равновесия ради попытался схватиться рукой за воздух. «Протравливание лучше сохраняет научные данные», — произнес он четко и ясно, после чего впал в следующую стадию опьянения — ступор, из которого вывести

его было невозможно.

Барыга снова привлек всеобщее внимание, подвесив уши за шнурок себе на пояс. «На удачу», — пояснил он. Порой Торнхиллу было почти жалко Барыгу — так явно тот жаждал внимания и восхищения.

• • •

Барыга все еще возился с ушами, когда Блэквуд пролетел к нему через всю хижину. По-любому Том Блэквуд был в несколько раз крупнее Барыги. И сейчас он в ярости схватил Барыгу за шиворот и припечатал физиономией в стол. «Ах ты, чертов червяк!» — прошипел он сквозь зубы. Потом поднял Барыгу одной рукой, а второй врезал ему так, что тот отлетел к поддерживавшей крышу стойке. Хижина дрогнула. Барыга засучил ногами, а Блэквуд схватил его за грудки, приподнял и со словами «На этот раз ты уж слишком далеко зашел!» со всей силы врезал кулаком ему по физиономии.

Голова Барыги дернулась, но глаза оставались открытыми. Он смотрел на Блэквуда и пытался что-то сказать. Блэквуд снова саданул ему по морде. Послышался хруст. Блэквуд отпустил его и отступил назад. Барыга стоял, качаясь, он поднял

руки к лицу, из носа и рта шла кровь, и он плакал молча, как ребенок.

Головастый и Твист кинулись к Блэквуду. Торнхилл обхватил его сзади за плечи, чувствуя, как напряжены у него все мышцы. Блэквуд стряхнул их с себя и вышел из хижины. Все молча слушали его тяжелые шаги.

Когда он ушел, Барыга прошептал окровавленным ртом: «Эй вы, дайте выпить, человека чуть не убили». Головастый протянул ему кружку, и Барыга выпил ром одним глотком, как воду. Губы у него были разбиты, те немногие передние зубы, что еще оставались, выбиты. «Мерзавец еще пожалеет», — произнес он хриплым дрожащим голосом, и Торнхилл видел, как при каждом слове на губах у него вздувались кровавые пузыри. Дрожащей рукой Барыга отер рот и глотнул еще рома: «Все они еще пожалеют!»

• • •

Все разошлись. Торнхиллы легли, но сон не шел. Наконец Сэл заговорила — он знал, что она это скажет. «Надо уезжать, Уилл», — тихо произнесла она.

Он прошептал в ответ: «Куда? Куда мы можем поехать?» Он услышал, как она недоверчиво

хмыкнула: «Домой Уилл, куда же еще? Продадим все, и поедем».

«Но ведь пяти лет-то еще не прошло, только полгода! — это была его первая реакция, и уже произнося эти слова, он понял, что не о том надо говорить, не о нарушении данного ими друг другу обещания. И быстро добавил: — Мы же еще не собрали столько, сколько надо! И близко не собрали!» Она приподнялась, облокотилась на стену, чтобы видеть его лицо. «А сколько надо, Уилл? — спросила она. — Сколько будет достаточно?»

Но он не мог назвать суммы. «Я не собираюсь снова перегонять баржи! — в нем росло негодование, он давил его, стараясь говорить так, будто они обсуждали какую-то обыденную вещь вроде погоды. — Ты помнишь дом Батлера?» Он почувствовал, как в ней пробуждается воспоминание о грязных мешках, на которых они спали, о полчищах блох, о клопах, которые грызли их ночи напролет. Она и по сей день помнила вонь, стоявшую в доме Батлера.

«Да, Уилл, — и он понял, что она заранее знала, как он мог бы возразить. — Хорошо, тогда давай переедем в Уилберфорс или еще в какой другой город, куда черные не суются. Делом можно заниматься и оттуда, так же как и отсюда».

Он молчал, пораженный тем, как тщательно она все продумала. Как любой хороший торговец, она сначала запросила максимальную цену, а потом демонстративно снизила до той, которую и собиралась выручить за товар. Она повернулась к нему, выражение ее лица в полутьме было невозможно разглядеть: «Снова откроем там “Маринованную Селедку”, как в Сиднее. Будем загребать денежки горстями».

Он испугался: она просчитала все варианты и пришла к вполне определенному выводу. «Слушай, Сэл, — начал он и осадил себя: он должен говорить так, будто все это его совершенно не волнует. — Если б они хотели нам навредить, они бы уже давно это сделали, — он тронул ее ухо в том месте, где на него падал свет от очага. — Мы же договорились: пять лет, помнишь? Худшее время уже позади — она вытянула ноги вдоль его ноги, но промолчала, и он продолжал: — У них есть свое место, у нас — свое. Мы к ним не лезем. К тому же у нас есть ружье».

Она снова улеглась под одеяло и, немного помолчав, глубоко вздохнула и сказала: «Больше не хочу видеть здесь Барыгу. Этот человек на всех нас беду накличет». Она говорила угрюмо, потерянно, как человек, готовый сдаться вопреки

всему, во что верит.

И он не верил в то, что убедил ее. Другая женщина плакала бы, шумела, заставила бы в конце концов перебраться в Уилберфорс. Он любил ее еще и за то, что она не была такой, но понимал: она права — беда близко.

Он не мог бросить это место. Разве можно, проплывая мимо, смотреть, как здесь хозяйничает кто-то другой? Это же все равно, что отдать кому-то чужому свое дитя.

Он все слушал, ждал, когда Сэл уснет, но она не засыпала, лежала на боку, повернувшись к нему. Но не обнимала, а думала свою думу.

Река крови

Через неделю после нападения на Уэббов, голубым и серебряным утром, «Надежда» скользила мимо Дарки-Крик. Торнхилл обратил внимание на отсутствие каких-либо признаков жизни. Не было видно дымков, поднимавшихся из ущелья, по которому прошли люди капитана Маккаллума. Только птицы взлетали, кружились, ныряли в деревья.

Он мог проплыть мимо, но что-то заставило его повернуть румпель. Прилив легко понес лодку вверх по ручью. Ветра не было, мангровые заросли по обеим сторонам царапали борта. Лодка скользнула дальше, туда, где заросли отступили, открыв ровный берег.

Он вылез из лодки и по воде побрел к берегу. Торнхиллу показалось, что тишина вокруг него словно сгустилась. Захотел вернуться в лодку и поплыть назад, к реке, прочь из этой густой тишины. Крикнул: «Эй!» — просто чтобы услышать человеческий голос, но тишина поглотила звук. Казалось, исчезли даже москиты. Он ступил на

берег. Чем скорее он увидит то, что увидит, тем скорее отсюда уберется. Хижины черных стояли вокруг остывших кострищ. Они, как обычно, спалили все, что окружало лагерь, так что земля была расчищена. На земле, ярко выделяясь на темном фоне, лежала пара пустых мешков из-под муки, валялась деревянная миска, в которой замешивали лепешки, с присохшими к ней желтыми остатками.

Он подождал, но ничего не изменилось. Птица над головой захлопала крыльями и перескочила с ветки на ветку. Он нагнулся и заглянул в ближайший шалаш. Сначала он ничего не видел, только тени. Потом различил в тенях мужчину и женщину, оба были мертвы. Множество блестящих мух жужжали и ползали вокруг них. Мужчина лежал на спине, он выгнулся дугой и так и умер. Рот распахнут, на подбородке застыла рвота. Раскрытые глаза подернуты пленкой смерти. Рука женщины была воздета, словно она пыталась схватить воздух. Он видел линии на ее желтой ладони. Запах был чудовищный.

Он вынырнул назад, на свет. За хижиной лежали другие тела — еще один мужчина, женщина с мертвым ребенком на руках. Даже у ребенка ротик был окружен засохшей желтой пеной, в

которой роились мухи.

Ему все виделось с невероятной четкостью, каждая соломинка на земле казалась более реальной, чем была на самом деле, будто такое с ней сотворил солнечный свет, вырвавший ее из тени.

Услышав звук, он подумал, что это стонет он сам. Когда звук раздался снова, он сказал себе, что это птица, или что это ветки трутся друг о друга. Но когда звук раздался в третий раз, ошибки уже быть не могло: человек, живой, еще один живой человек на этой поляне. Ноги, помимо его воли, как в ночном кошмаре, понесли его в ту сторону, откуда раздавался звук.

Это был мальчик, все еще с худенькими детскими плечиками, не старше Дика. Он лежал на земле, подтянув колени к подбородку. Изо рта у него свисали потеки рвоты, он испражнился под себя.

Мальчик выгнулся и снова застонал. Голова у него дернулась — его опять стошнило. Про лицу и груди, на которую попала рвота, ползали мухи.

Торнхилл никак не мог понять, что делать, только чувствовал, как его спину и плечи заливает влажный солнечный свет. Он поднял взгляд от мальчика, посмотрел на лес — лес ничем не

помог. Над ущельем, высоко, там, где было небо, где была вечная голубизна, крылом к крылу летели две утки.

Он заставил себя заговорить, просто чтобы нарушить злые чары: «Я ничего не могу сделать для тебя, парень». Он хотел отвернуться, оставить все как есть, пусть потом *это* найдет кто-то другой.

Но почему-то он не мог уйти просто так. Да, надо дать мальчику попить. Уж это-то он сделать может. А потом уйдет.

Знакомые очертания «Надежды» как-то успокоили. Так, вот место на носу, где он держит бочонок с водой. Затычка сбоку, которая выскакивает, если не приладишь как следует. Звук воды, льющейся в кружку. Знакомый, привычный мир.

Идя назад к шалашам, он уговаривал себя, что там ничего нет. Нет никаких окоченевших, скрюченных последними конвульсиями тел, нет мальчика, свернувшегося клубком, умирающего дюйм за дюймом.

Но были тела, и был мальчик, который, моргая, смотрел на него. Теперь он перевернулся на спину, подтянул к груди колени. Торнхилл подошел, и лицо мальчика сморщилось, он покрутил головой из стороны в сторону. Увидев кружку с водой, облизнул губы, что-то прошептал, потя-

нулся к ней.

Торнхилл стал рядом с ним на колени. Подсунул руку ему под голову — какие мягкие у него волосы, под ладонью он чувствовал круглый затылок, такой же, как у него самого.

Он поднес кружку к губам мальчика, и тот начал жадно пить, и пока он пил, тельце у него снова выгнулось, вода пошла назад вместе с зеленоватой рвотой.

«Господи, помоги!» — испугавшись, крикнул Торнхилл. Он не собирался молиться, но эти слова прозвучали как молитва.

Мальчик больше не двигался. Вода никак ему не помогла, но он все еще не закрыл глаза. Он снова попытался подтянуть колени к груди и посмотрел на Торнхилла. Глаза у него остекленели. Торнхилл подумал, что мальчик, наверное, умер, но тот снова застонал, ниточка слюны скользнула по подбородку. Торнхилл почувствовал, как в нем самом словно все остановилось, замерло. Если он шелохнется или хотя бы вздохнет, то яд проникнет и в его тело.

Похоже, он ничего больше не мог сделать, разве только вернуться к себе на лодку. Он оттолкнулся от берега и, помогая себе веслом, прорвался через мангровые заросли к реке. Когда он вышел

на открытую воду, ему показалось, будто над ним подняли крышку погреба. Он никак не мог напиться речного воздуха, он стоял на носу, полными легкими вдыхая этот чистый и прохладный воздух. Он не оглянулся, не посмотрел на то место на Дарки-Крик, над которым кружили птицы.

Он знал, что никому не расскажет о том, что видел. Потому что некоторые уже знали — например, Головастый. Это ведь он говорил о зеленом порошке.

Он знал, что ни за что не поделится с Сэл увиденным, не расскажет ей о мальчике. Это было еще одной тайной, запечатанной в дальних уголках памяти, таких дальних, что можно делать вид, будто ничего этого не было.

• • •

На следующее утро Дик, вздымая клубы пыли, примчался в хижину с воплем, что черные залезли в кукурузу. «Не просто залезли, Па! — задыхаясь, выпалил он. — Они ее собирают! Складывают в свои плетеные мешки и уносят!»

Еще до того, как мальчик все это сказал, Торнхилл понял, что уже давно ожидал подобного, что спокойствие, в котором он жил, было лишь чистым листом, на котором обязательно будет

написано что-то вроде этого. В нем вскипела ярость, простая и сладостная. Это было чистое чувство, оно вздымалось как морская волна.

Он снял ружье с колышка. Обратил внимание на то, что, когда засыпал порох, забивал пыж, у него тряслись руки. Он спустился по дороге с ружьем в руках. Солнце уже припекало.

Среди кукурузы он увидел черных. Они и не пытались прятаться или бежать. Они лишь глянули на него и продолжали заниматься своим делом. Они были повсюду, они хватали его толстенькие налитые початки и обламывали со стеблей. Он видел среди них и Длинного Джека, и Черного Дика. На краю поля в своей странной манере перекрикивались женщины. Когда они отламывали очередной початок, их длинные груди раскачивались.

Он подошел ближе. Они замолчали. Но все равно обрывали початки, высоко задирая руки. Они делали это намеренно, подчеркнуто. Они знали, что перед ними владелец кукурузы, но не собирались из-за этого беспокоиться.

Он схватил одну из женщин за волосы и закричал: «Убирайся, воровка, вон!» Она была сильной, но он все-таки сильнее, и не собирался ее отпускать. Другая женщина повисла на нем,

вцепившись в руку. Он ощущал ее запах, острый и едкий, она тащила его и царапала. Он увидел, как она подняла палку, которую до того держала в руках, почувствовал, как эта палка ударила его по голове, услышал свой собственный удивленный рык, ружье выпало у него из руки. На мгновение все стало серым.

«Убирайся, ты, черная шлюха!» — заорал он. Боль в голове отрезвила его, он воспользовался случаем и двинул ногой по заду первой женщины, потому что она, пытаясь вывернуться, повернулась к нему спиной. Ее тело выгнулось, она упала бы, если бы он не держал ее за волосы.

Теперь на него с ужасными пронзительными воплями набросилась старуха, а сзади за горло схватила молодая. Но он вырос на улицах Бермондси, а такое даром не проходит. Он яростно двинул локтем назад и с удивлением почувствовал, что локоть соприкоснулся с чем-то мягким — наверное, он попал ей в грудь. Она охнула, руки, вцепившиеся ему в горло, разжались. Он также успел лягнуть старуху в колено, и она тоже отступила, прыгая на одной ноге, а он схватил за руку первую женщину и влепил оплеуху второй. Но она снова налетела на него, поэтому он ударил ее кулаком в лицо. Ее руки взметнулись,

она закрыла ими лицо, сквозь пальцы брызнула ярко-красная кровь.

Совсем как у меня, подумал он, и удивился тому, что так подумал. Такого же цвета, как у меня.

От хижины к нему бежал Дэн с дубинкой в руке, сквозь посадки продирался Нед с ружьем.

Он, наверное, сломал женщине руку. Когда он отпустил ее, рука безвольно повисла. Он поднял ружье и увидел, как она отпрянула.

К нему приближались Длинный Джек и Черный Дик, и он наставил ружье на них. Он еще никогда не наводил ружье на человека. В этом было что-то интимное. Ружье разделяло, но и соединяло их линией полета пули.

«Не трожь нашу еду!» — закричал он. Из-за ружья его голос звучал очень уверенно. Он топнул ногой, чтобы сказанное звучало еще убедительнее, и из-под ботинка отлетел в сторону початок. «Это принадлежит мистеру Торнхиллу, а ты проваливай!» — сказал он и угрожающе шагнул вперед.

Они побежали, Джек почти тащил на себе хромающую старуху, женщина второй рукой прижимала к себе поврежденную руку. Уилли огласил тишину утра своим ломающимся голосом: «Стреляй в них, Па, быстро стреляй!» Рядом

с ним стояла Сэл, Мэри заходилась плачем у нее на руках. Сэл загородилась ладонью от солнца и оглядывала поломанные стебли кукурузы. «Они воруют нашу кукурузу, Ма!» — крикнул Уилли, как будто она сама этого не видела.

Черные добежали до кромки леса и скрылись в нем, кроме Длинного Джека, который развернулся и прямо посмотрел на Торнхилла.

«Убирайся! — крикнул он. — Убирайся!» Но Джек не двинулся с места. Казалось, он хочет запомнить, как выглядит Торнхилл с ружьем. Или бросает вызов, заставляет Торнхилла им воспользоваться.

Торнхилл вскинул ружье на плечо и прицелился. В самый последний момент, когда палец уже нажал на спусковой крючок, он закрыл глаза. Раздавшийся звук оглушил его, отдача отшвырнула назад. Остро и горько запахло дымом.

Когда он открыл глаза, возле деревьев никого не было. Ни Джека, наблюдающего за ним, ни Джека, лежащего мертвым. Лес стоял глухой и немой, как и прежде, тени от одного дерева перекрещивались с тенями от другого. В воздухе плыло облачко синеватого дыма. Когда растаяло рокочущее эхо, снова воцарилась тишина.

Ему понравился звук выстрела. И жар от дула

дарил успокоение рукам. Но после выстрела осталась также и какая-то опустошенность. И ему захотелось его повторить.

Голова кружилась, губы не слушались. Шея в том места, где его схватила молодая женщина, болела, ногти оставили на лице царапины.

Он поставил ружье на землю и стоял, опираясь на него, стараясь унять дрожь в руках. «Это будет им хорошим уроком», — сказал он высоким голосом.

«Накось выкуси, черномазый!» — крикнул Уилли в сторону леса, но не так чтобы очень громко.

Сэл развернулась к нему. «Попридержи язык, Уилли!» — сказала она, и что-то в голосе матери заставило его повиноваться.

• • •

Они услыхали, как Дэн зовет их с дальнего конца поля. Он схватил мальчика лет двенадцати, худенького, как кузнечик, с узловатыми коленками. Один глаз у мальчика заплыл от удара. В одной руке у Дэна была окровавленная дубинка, второй он удерживал заломленные за спину руки мальчика. Мальчик наклонялся вперед, чтобы было не так больно, но чем ниже он сгибался, тем выше Дэн поддергивал его руки, и казалось, что

они исполняют какой-то сложный танец. С ноги мальчика свисал лоскут кожи с ярко-красной изнанкой.

Нед был страшно возбужден. «Вы хоть кого-то подстрелили, мистер Торнхилл? — он восторженно выпятил алые губы. — А знаете, я никогда не видел мертвеца!»

Дик смотрел на мальчика. Он стоял очень прямо, вытянув руки по швам, все мышцы у него были напряжены. На его лице было написано потрясение. Он хотел было что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова.

Дэн повернул голову мальчика к себе, схватил его за подбородок и прокричал ему прямо в лицо: «Веди себя прилично, мистер и миссис Торнхилл пришли на тебя посмотреть!» Голос его был полон удовольствия от того, что у него появилась возможность на кого-то кричать. Мальчик дрожал и пытался опустить лицо. Дэн схватил его за голову и заставил смотреть на Торнхилла. Мальчик дышал часто, как собака, ребра ходили под кожей. Он высунул язык и облизнул разбитую губу.

Дэн начал говорить: «Ну вот, одного мы поймали, теперь…» — но в этот момент мальчик попытался вырваться, и Дэн еще выше задрал его сцепленные за спиной руки. Дик выбросил

вперед ладонь, будто пытался его остановить.

«…Теперь давайте этого свяжем, как наживку, остальные за ним придут, тут мы их и перестреляем», — пыхтя, выпалил Дэн и посмотрел на Торнхилла, ища одобрения. Но Торнхилл смотрел на мальчика, на его худенькие, напряженные ноги, он казался птицей, готовой взмыть в воздух и улететь на свободу. «Барыга так и сделал, — объявил Дэн. — Говорит, это лучший способ». Нед засмеялся своим идиотским смехом. «Вот им урок-то будет!» — закричал он и сделал вид, будто стреляет, изобразил даже отдачу от выстрела. Физиономия его сияла от радостного возбуждения.

Но Торнхилл думал о том, что мальчик мог бы быть братом того, которого он видел на Даркикрик. У него были такие же узкие плечики, так же проступали под кожей тонкие косточки, такие же черные волосы.

«Заткнись, Нед», — сказал он и увидел, как Нед с Дэном переглянулись. Дэн сделал каменное лицо. Торнхилл наклонился, чтобы быть вровень с мальчиком. «Ну почему ты, паршивец, сюда полез? — голос у него был почти умоляющий. — Давай проваливай отсюда».

Мальчик вдруг ослабел, повис на руке Дэна.

«Отпусти его, Уилл, — крикнула Сэл, голос ее

дрожал. — Ничего из этого хорошего не выйдет». Она шагнула к мальчику, чтобы освободить его, он в страхе отшатнулся. «Бога ради, Дэн, отпусти его», — приказала она.

Однако Дэн смотрел только на Торнхилла. «Отпусти его, — сказал тот. Дэн начал было возражать, но Торнхилл сделал шаг вперед. — Отпусти, а то я вас обоих выпорю». Дэн отпустил мальчика, но перед этим набрал полный рот слюны и плюнул. Нет, не на сапоги Торнхилла, но близко.

Мальчика отпустили, но он едва стоял на ногах. Рана под глазом кровила, кожа вокруг приобрела сероватый оттенок. Он, похоже, не понял, что теперь свободен. Им пришлось его почти подталкивать. «Иди, — сдавленным голоском произнес Дик. — Иди».

Мальчик заковылял сквозь кукурузу, потерял равновесие, споткнулся, чуть не упал. Едва он достиг деревьев, как они поглотили его, и только помятые стебли кукурузы говорили о том, что он вообще был здесь.

Вокруг них шелестела кукуруза. Внезапный порыв ветра с реки всколыхнул деревья. Торнхилл посмотрел на лес, ему отовсюду махали листья. Раздался крик какаду, ему ответил другой. Заверещала-запела цикада.

«Они ушли, Па, ушли?» — спросил цеплявшийся за юбку матери Братец. Торнхилл удивился, что он тоже здесь, внимательно посмотрел на встревоженное личико. «Да, парень, смылись», — сказал он. Братец потрогал еще теплый ствол: «А куда? А мы здесь останемся?» Торнхилл показал на покрытые лесом горы: «Это все их. Им есть куда идти. Все у них в порядке».

Колени у него все еще дрожали, и никакие приказы мозга не могли унять эту дрожь. Удивительно: человек может говорить одно, а его колени — совсем другое.

Братец все еще не мог успокоиться, и Дик подтолкнул его. «Мы же можем дать им хлеба? — спросил он сдавленным голосом. — Можем, да, Па?» Но Уилли эта перспектива не понравилась — он вечно ходил голодный, прокормить его было невозможно. А теперь собственный брат предлагает кому-то отдать его еду!

«Не стоит беспокоиться, — сказал Торнхилл. — На этот раз они свалили, и навсегда». Он сам почувствовал, насколько неубедительно это прозвучало, и ветер унес его слова.

Всю вторую половину дня они собирали оставшиеся початки, к работе привлекли даже Братца, складывавшего кукурузу в корзины. Джонни

сидел рядом, зачарованный тем, как колышутся метелки на вершинах стеблей. Сэл никогда не клала малышку на землю, но сейчас положила, и та лежала, болтая ножками и что-то лопоча.

Работа продвигалась медленно. Початки крепко сидели на стеблях, отламывать их было трудно, стебли росли плотно, и двигаться между ними тоже было непросто. Сэл работала бездумно, глядя либо на тот початок, что был у нее в руках, либо на тот, к которому тянулась. Торнхилл попытался работать рядом с ней, но она всегда делала так, чтобы между ними оставалось несколько стеблей. Он смотрел на ее профиль, на то, как она тянулась, отрывала, — лицо у нее было не столько сердитым, сколько отстраненным, как будто она прислушивалась к чужому разговору.

«Они много забрали, — сказал он. — Полгода работы!» Она не подала виду, что слышит. Он набрал воздуха, чтобы повторить снова, но она отрезала: «Я тебя и с первого раза поняла». И продолжала обламывать початки. От усилий у нее дрожали щеки.

Пока солнце в небе стояло высоко, они еще могли делать вид, что все нормально. Торнхилл слышал, что Дэн, работая, даже насвистывает. Но когда солнце начало садиться, он умолк. По мол-

чаливому соглашению они принялись уносить корзины с уже собранными початками. Тень горы накрыла хижину, добралась до реки, перебралась на другую сторону, к утесам. Казалось, все кругом затаило дыхание, будто ждало чего-то. Дым из трубы поднимался прямо в бледное сумеречное небо, вода в реке стояла, не шелохнувшись, как в стакане.

С последними проблесками заката Сэл загнала детей в хижину. Прихватила за ухо Джонни, когда тот попытался снова выскочить наружу, да так сильно, что он стукнулся о дверную раму и шлепнулся, оглашая долину ревом. Она сгребла его и затолкала внутрь.

Торнхилл смотрел, как она подбрасывает в огонь хворост. Дети тоже настороженно за ней наблюдали. Он знал, что с ней происходит, потому что с ним происходило то же самое: страх способен незаметно превратиться в гнев, как будто страх и гнев — это одно и то же.

• • •

Проснувшись, он сразу почувствовал запах дыма. С порога хижины было видно, что вся долина наполнена дымом, дым висит над рекой, каждый вздох пах пеплом. На заборе сидела птица

и, склонив голову набок, глазела на него. С реки доносился птичий хор, пение, издаваемое разными пичугами, сливалось в хор, словно ничего особенного не происходило.

Особенно густой дым повис над кукурузной делянкой, над почерневшими стеблями. От запаха превратившихся в пепел початков на глаза выступили слезы.

Это была их самая первая посадка, полугодовой давности. Он сам вскапывал эту землю, сажал в нее семена, наблюдал, как прорастали свернутые в зеленые трубочки листья. Чувствуя плечами вес солнца, пропалывал сорняки. Пропалывал снова и снова. На рассвете он стоял среди своих посевов и наблюдал, как каждое растение пускает в землю корни. Он нежно проводил рукой по листьям, таким гладким и прохладным, по пухлым, завернутым каждый в свою оболочку, початкам.

С таким же результатом он мог бы вообще ничего этого не делать.

Он считал себя в безопасности хотя бы здесь, на его ста акрах, с его лодкой, с его работниками. Он начал привыкать к тому, что у него имеется жестянка с чаем, есть прочная коробка с монетами. Как же нелепо было хоть на что-то надеяться! Его

урожай пропал — пропали не просто початки, пропало обещание будущего. Жизнь все это время сидела в засаде, ждала, когда он снова начнет ей верить. И теперь снова нанесла удар, на этот раз — под видом черных людей, которые с помощью примитивных горящих палочек смогли разрушить все, ради чего он проливал пот.

Птицы подлетели ближе и уселись на ветку, большие черные птицы, которые не мигая смотрели на него своими желтыми глазами, да только здесь не осталось ничего интересного даже для птиц. Земля все еще была горячей. Из нее, теперь такой почерневшей, бил жар.

Над лагерем черных не вился дымок, и не слышно было ставших привычными звуков. Ни детских криков, ни собачьего лая, ни стука каменных топоров по дереву. Он поймал себя на том, что тоскует по этим звукам.

Сэл стояла у входа в хижину, Мэри она, словно поросенка, держала под мышкой. Она смотрела на разоренную делянку, стояла неподвижно, как изваяние. Он поднялся по склону и стал рядом с ней. Он перебирал в уме самые разные слова, но ни одно не годилось для того, чтобы вторгнуться в ее молчание.

Даже в самые худшие дни в Лондоне, когда

они думали, что он, считай, уже мертвец, а ей придется идти на панель, — даже тогда она вот так не уходила в себя. Не глядя на него, она пошла по тропе, которую проложили черные женщины. Вышла за пределы двора, оглянулась. Он сообразил, что она никогда не заходила так далеко, никогда не смотрела на хижину с такого расстояния. И уж точно никогда не видела лагеря черных.

Он нагнал ее, но она, не глядя на него, продолжала идти по тропе. «Сэл, — окликнул он, — послушай, милая, лучше оставим их в покое». Но она ответила через плечо: «Их там нет, Уилл». Он схватил ее за руку, остановил, крикнул: «Тогда куда, черт побери, ты идешь?» Ответ ее прозвучал как пощечина: «Они заявились к нам, а теперь я иду к ним!»

В лагере все выглядело так, как было при черных. Два шалаша, один побольше, второй поменьше. Он никогда раньше не обращал внимания на то, как аккуратно, как тщательно были уложены ветки с листьями. Внутри того, что просторнее, валялась пара деревянных мисок и палка-копалка, а также аккуратный моток сделанной из коры тесьмы. Здесь был обложенный камнями очаг, полный мягкого серого пепла.

Пепел все еще был горячим. Сбоку лежал камень, на котором размалывали зерно, поверх него — второй, который служил жерновом. Кругом было чисто выметено, совсем как во дворе у Сэл, к большой хижине была прислонена служившая метлой связка пропыленных веток.

Здесь было тихо, как в ловушке. «Пойдем, — прошептал он. — Быстро, Сэл, надо уходить». Но она никак не отреагировала. Она ходила по лагерю, внимательно разглядывая то, что делало его домом: камни, уложенные вокруг очага таким образом, что получалось ровное место, на которое можно класть еду, аккуратная куча костей и раковин на краю поляны. Взяла метлу и один раз махнула ею, положила на землю.

«Они ушли, миссис Торнхилл», — это был Нед, в своей обычной идиотской манере объявивший об очевидном. За ним стояли Уилли и Дик, остальные дети тоже тянулись по тропинке к лагерю. «Не о чем волноваться», — заявил Нед. Дик поднял метлу и аккуратно поставил ее на прежнее место, прислонив к стенке шалаша.

«Они были здесь», — сказала Сэл. Теперь, когда она увидела это место, они стали для нее куда более реальными, настоящими, чем раньше. Она повернулась к Торнхиллу: «Совсем как мы с тобой

в Лондоне. Все как было у нас».

Она попыталась пересадить Мэри на другое бедро, но малышка начала брыкаться, желая, чтобы ее отпустили, и она наклонилась, чтобы посадить ее на землю, но как-то безучастно, словно это был какой-то пакет. «Ты никогда мне не рассказывал, — прошептала она. — Никогда».

Он вспыхнул, почувствовав невысказанное обвинение. «У них есть все остальное, — сказал он. — Они же, как цыгане, могут бродить где угодно. Оглядись кругом, Сэл. Это же все их».

«Они были здесь, — повторила она. — Всегда. Их бабушки, их прабабушки, — наконец она повернулась к нему и посмотрела ему прямо в глаза: — У них даже метла есть, они хотят, чтобы было чисто, Уилл. Совсем как я».

В ее голосе появилось что-то, чего он раньше никогда не слышал. «Так почему же они тогда ушли? — спросил он ровным тоном. — Если они считают это место своим». Она глянула вниз, на реку за мангровыми зарослями — густыми, зелеными, надежно все прикрывающими. Склонила голову набок, разглядывая утесы по обоим берегам. Она никогда еще не видела этого места целиком.

«Они здесь, — сказала она. — В эту самую мину-

ту они здесь. Они наблюдают, выжидают, — она говорила спокойно, как будто о чем-то обыденном. — Они никуда не ушли. И никогда не уйдут. И помяни мое слово, Уилл, если мы останемся, они все-таки с нами разделаются».

«Вот уж не собираюсь сдаваться из-за какой-то кучки дикарей, — он старался, чтобы голос его звучал так же спокойно. — Во всяком случае, у меня есть чем им ответить, если они вдруг вернутся».

Она всколыхнулась. «Если вернутся, если вернутся! — крикнула она. — Ты дурак, Уилл Торнхилл, если так думаешь. Вопрос не в том, вернутся ли, — вопрос, когда именно вернутся!»

Он протянул руку, чтобы дотронуться до нее, но она не обратила на это никакого внимания. «Надо выбираться отсюда, Уилл, — она говорила ласково, как человек, который вынужден сообщить дурную весть. — Все равно куда, но мы должны погрузить детей в лодку и уехать». Она оглянулась на стоявших рядом Уилли и Дика. Дик помотал головой, но было непонятно, то ли он против, то ли просто отогнал муху. «Пока у нас еще есть эта возможность, Уилл. Сегодня».

На мгновение Торнхилл представил себе, как это будет, как он повернется спиной к этому куску

расчищенной земли, вырванному ценой долгих месяцев пахоты у дикой природы. Позволит кому-то другому в обмен на всего лишь несколько цифр, напечатанных на куске бумаги, ходить по этой земле, радуясь всем заложенным в ней возможностям.

Теперь он по-настоящему знал это место, он знал, каким оно бывает днем и каким ночью, в дождь и ветер, под солнцем и луной. В мельчайших подробностях помнил свой путь к реке и от реки, серо-золотые утесы, свист ветра в казуаринах, это небо.

Он вспомнил, каково было здесь в первую ночь, какой пугающей была эта еще незнакомая земля. Эти холодные звезды стали его друзьями — вот Южный Крест, на него так же удобно держать курс, как на Полярную звезду, вот альфа Центавра и бета Центавра, вот Хамелеон, который тот же Орион, только вверх тормашками. Он мог читать извивы Хоксбери так же, как читал повороты Темзы.

Он попытался напомнить себе ту картинку, которую не раз уже рисовал в уме, — аккуратный маленький домик в Ковент-Гарден, он сам, вставший ранним утром и отправившийся на прогулку, чтобы удостовериться, что ученики

трудятся в поте лица и что никто не пытается его обжулить. Но на самом деле он уже не помнил того воздуха, не помнил прикосновений английского дождя, он больше не верил в те улицы. Сады Уайта, Крусификс-Лейн. Картинка, которую они с Сэл пронесли через все, которой они постоянно обменивались, была достаточно четкой, но это уже была не его картинка.

Он больше не был тем человеком, который считал, что все, о чем можно мечтать, — это домик на Суон-Лейн и собственная баржа. Наверное, он стал совсем другим. Еда, которую он ел в этой стране, вода, которую он пил, воздух, которым он дышал, мало-помалу переделали его. Это небо, эти утесы, эта река перестали быть всего лишь инструментами, посредством которых он мог бы вернуться. Теперь он принадлежал этому месту, не только телом, но и душой.

Человеческое сердце подобно глубокому карману, выверни его — и удивишься тому, что там отыщешь.

Солнце уже поднялось, оно окрасило кроны росших на утесе деревьев в ярко-зеленый, этот цвет сиял на фоне теней. Белые попугаи разом взлетели с дерева и рассыпались по небу, словно песчинки, на их крыльях играли солнечные

блики.

Он должен был что-то сказать, этого ждали не только обступившие его люди, но и нависавшие над рекой утесы, таинственные, пока еще темноватые. В этот час утесы казались грубой тканью, где уток — слои скальной породы, а основа — тянущиеся вверх деревья. Небо за рваной линией их верхушек было бледно-голубым. Внезапный порыв ветра с реки взъерошил кроны, и лес тяжело всколыхнулся.

«Я за час упакуюсь, — сказала Сэл. — К обеду мы уже будем далеко». Она протянула руку к Джонни, собираясь уходить, и то, как она сжала губы — давая понять, что решение ее окончательное, — вызвало в Торнхилле волну гнева. «Они же и пальцем о палец не ударили! — захлебнулся он собственным негодованием. — У них нет никаких прав на это место! Не больше, чем у воробья!» Он услышал в своих словах отзвуки речей Барыги, словно сам Барыга сидел здесь и ухмылялся.

«Может, оно и так, Уилл, — спокойно сказала она. — Но я считаю, что лучше уж жить в вонючем доме Батлера, чем до конца дней своих поджидать, когда тебе воткнут копье в задницу». Маленький Джонни ковырял в носу, другой рукой расчесывал комариный укус. Братец, Дик и

Уилли стояли рядом, их босые ноги были все в пыли. Никто из детей на отца не смотрел.

Он схватил Сэл за руку, за ту руку, которую она все еще протягивала к Джонни. «Никуда мы не поедем! — прокричал он. — Либо они, либо мы, и, богом клянусь, Сэл, они верх не возьмут!» Он увидел, как она дернулась, когда он ее схватил, но не посмотрела на него. Он взял ее за плечи, с болью ощутив, какие они худенькие. Она стояла, хрупкая, как стеклянный шарик, и при этом твердая, как кремень. «Эти чертовы черные не встанут у меня на пути! — крикнул он и развернул ее лицом к себе. — И ты тоже, Сэл!»

«Мы здесь не останемся, и точка!» — выкрикнула она в ответ. Она была в бешенстве. Он стоял вплотную, нависая над ней, и она вынуждена была задрать голову. «Черт тебя побери! — крикнул он. — Никуда мы не поедем!» Его рука, независимо от него самого, поднялась, ладонь раскрылась, чтобы ее ударить.

Она смотрела на него, на его поднятую руку, с чем-то вроде изумления. Он видел, что она его не узнает. Ее схватил и кричит на нее какой-то злобный, жестокий человек, незнакомец, в котором бьется сердце ее мужа.

Но никакому чужаку не запугать ее! «Давай

ударь меня, Уилл! Но это ничего не изменит!»

Он видел устремленный на него дерзкий взгляд, и ему казалось, что все это происходит в какой-то другой жизни. Как будто он подсматривает эту сцену. А потом это ощущение прошло. Это был он сам, с поднятой на нее рукой.

Он опустил руку. Ярость прошла так же быстро, как и вспыхнула. Что ж за проклятье его настигло, если он взъярился на Сэл? Ему отчаянно захотелось вернуться во времени назад, с самого начала сделать все иначе. Но было слишком поздно, все зашло слишком далеко. Его жизнь — лодка без весел, захваченная могучим течением. Он привез их сюда, в это место, и это место само загнало их в угол, откуда невозможно выбраться.

«Послушай, Сэл», — начал он, но в этот момент откуда-то возник Дэн. Он раскраснелся от бега и, задыхаясь, пытался им что-то сказать. Они вынуждены были ждать, пока он отдышится. Дэн выпалил: «Они сожгли Головастого. Я видел, как оттуда поднимается дым».

Торнхилл ждал, что Сэл хотя бы взглянет на него, но она не смотрела. «Уилли, — сказала она, — свяжи в узлы все наши вещи, и отнеси к реке. А ты, Дик, собери все инструменты».

И, подхватив Мэри и придерживая за руку

Джонни, пошла к хижине. Торнхиллу, чтобы остановить ее, пришлось снова схватить ее за руку. «Послушай, Сэл», — повторил он. Но она не дала ему договорить: «Поезжай и помоги Головастому. Мы отправимся, когда вернешься, — наконец она прямо посмотрела на него. — С тобой или без тебя, Уилл, выбирай».

• • •

Они вывели «Надежду» на середину реки и сразу же увидели дым, поднимавшийся от того места, где жил Головастый. Лодка вошла в устье Диллон-Крик. Торнхилл всматривался вперед, но не увидел ни хижины, ни плоскодонки, обычно привязанной к берегу. Ему захотелось отвернуться, смотреть только на утесы да вспененную ветерком воду.

Но Нед, перегнувшись через борт, сказал: «Что-то там происходит, мистер Торнхилл», и неохотно взмахнул веслом.

Не было видно никого живого — ни Головастого, ни собаки, ни роющихся в земле кур.

А потом они увидели лодку. Пробить дно всегда непросто, однако оно было пробито — по обеим сторонам киля зияли дыры, весла изрублены в щепки. За сожженным, как у Торнхилла, кукуруз-

ным полем, там, где у Головатого стояла хижина, виднелась лишь груда дымящихся головешек с торчащими из них обугленными балками.

Дэн выдавил сиплым от страха голосом: «Черные его прикончили!»

Долина была безжизненной, лишь дым медленно поднимался над ней. Торнхилл взял лежавшие на носу ружья, зарядил их. Четвертое ружье он оставил Уилли, представил себе, как мальчик с гордостью с ним расхаживает. Понадеялся, что тот не совершит никакой глупости. Дэн достал нож и привязал его к багру.

Готовились они не спеша, и, пока готовились, ничто в том месте, которое раньше принадлежало Головастому, не изменилось.

Наконец Торнхилл, взяв ружье, сошел на берег. Он шел первым, рука, которой он держал ружье, была скользкой от пота. Под ногами он услышал хруст, глянул — он ступал по разбитым тарелкам Головастого. На кусте висела изодранная в клочья рубашка. Жестяная кружка была смята с такой силой, что впечаталась в землю.

Возле сгоревшей хижины валялась собака, по-прежнему на цепи, но с перерезанным горлом.

Единственное, что уцелело при пожаре, — бочка с водой. За ней они и нашли Головастого. Он

лежал на спине, словно прилег полюбоваться солнцем, из живота у него торчало копье.

Увидев его, Торнхилл мгновенно пожелал ему смерти. Ты мертв, подумал он. Но Головастый был жив, хотя понятно было, что жить ему осталось недолго. Лицо его было пепельно-серым, глаза ввалились. Темная, почти черная кровь сочилась из раны, пропитала всю рубаху. Торнхилл видел, что копье, войдя в плоть, затянуло с собой и ткань. Роились мухи. Рот Головастого был широко открыт, но из него не вылетало ни звука. Говорили только его глаза, неотрывно глядящие на Торнхилла.

Конец копья колыхался при каждом неглубоком вздохе.

Торнхилл почти физически захотел вернуться во вчера или даже на час назад, в то время, когда ему еще не надо было участвовать во всем этом.

Он слышал, как вскрикнул Нед, то ли от удивления, то ли от отвращения. «Мерзавцы проткнули его копьем», — пробормотал он. Он шагнул вперед и собрался дотронуться до копья, но Головастый издал ужасный крик. Дэн, прикрыв рот рукой, как бы стараясь, чтобы Головастый его не услышал, спросил: «Он безнадежен, да, мистер Торнхилл?» Головастый мигнул, одна рука его

сжалась, будто обхватила весло.

«Умри, — пожелал ему Торнхилл. — Ради бога, умри».

Но Головастый не умирал, а только смотрел на него. На секунду прикрыл глаза и снова уставился. Сильно парило, дышать было нечем. За полем Головастого стеной стоял лес. Торнхилл почувствовал, что его затягивают события, к которым он не готов. Как будто за него говорил кто-то другой, и этот другой произнес: «Давайте отнесем его в лодку и отвезем в Виндзор. В больницу».

Они сходили к лодке, соорудили носилки из паруса и пары весел. Слава богу, было чем заняться. Парус, веревка, весла — все такое обычное, нормальное. Да и сооружение носилок могло бы показаться нормальным занятием, если бы они не помнили, что носилки предназначены для человека, который лежит всего в шагах пятидесяти от них, а из живота у него торчит копье.

Они вернулись к Головастому. Он все еще был жив. Когда они перекладывали его на носилки, он кричал, выл на одной негромкой ноте. Носилки пришлось нести всем троим, придерживать копье было некому. Головастый сам ухватился за древко обеими руками и сопровождал каждый их шаг вскриком. Костяшки у него на пальцах побе-

лели. По лицу Торнхилла струился пот. Наконец они забрались в лодку и положили Головастого. «Ну вот, приятель, — сказал Торнхилл. — Теперь все будет в порядке».

Дэн прижал к губам Головастого бутылку с ромом, наклонил. Ром бежал по подбородку, смешиваясь с кровью. Почему же ты не умираешь, думал, глядя на Головатого, Торнхилл. Он ненавидел его за то, что тот все не умирал. Достал носовой платок и накрыл им лицо соседа, чтобы мухи не лезли в глаза и в нос.

И чтобы не видеть его взгляда.

• • •

Им повезло — был прилив, значит, до Виндзора они доберутся часа через два. На протяжении всего пути Торнхилл не мог заставить себя смотреть на Головастого, который лежал в плещущейся на дне лодки воде. Он не мог смотреть на длинную темную деревяшку, торчавшую из самой середины Головастого, деревяшка при каждом крене лодки болталась из стороны в сторону.

Утаить это от Сэл не удастся. Слава богу, она не видит, что именно может сделать копье. И не слышит звуки, которые издает человек с копьем в животе. Да это все равно ничего не решает. Если

у Торнхилла и была какая-то надежда уговорить ее остаться, то эта надежда умерла в тот миг, когда он увидел Головастого за бочкой с дождевой водой.

Он знал ее достаточно хорошо, чтобы понимать: она свое слово держит. Когда он вернется из Виндзора, хижина почти опустеет, мешки с едой и их немногими одежками будут упакованы, веревка, на которой она сушит белье, снята и аккуратно свернута. Да и перевозить-то особенно нечего: вещи, которые она каждую ночь тщательно выкладывала для черных у порога хижины, поместятся в пару узлов. Она снимет с огня чайник и горшок, упакует гравюру со Старым Лондонским мостом, свою голубую шаль. Что еще? Деревянные миски, палку-копалку, шнурок из коры. И черепицу с причала Маринованной Селедки.

И покинет это место, не оглянувшись.

И как только они уйдут, мыс Торнхилла снова захватит лес. Двор зарастет сорняками, с хижины облетит кора. Первым обвалится занавес, закрывающий вход, и тогда вернутся и змеи, и ящерицы, и крысы. На месте сгоревшей кукурузы вырастет свежая трава, к ней с горы спустятся кенгуру, они разнесут своими мощными хво-

стами забор, и вскорости здесь ничто не будет напоминать о том, что Торнхиллы когда-то называли это место своим.

Они поставят новый дом, в Виндзоре или в Сиднее. Может, когда-нибудь они и вернутся в Лондон, который так же далек, как и Луна. Он будет продолжать зарабатывать деньги. И они будут как-то счастливы.

Но ничто не утешит его, ничто не возместит потерю этого куска земли, по форме похожего на большой палец. Потерю пробивающегося сквозь листву утреннего света, сверкающих на закате утесов и чистой голубизны неба. Того чувства, которое испытываешь, когда шагаешь по принадлежащей тебе земле. Чувства, что ты здесь король, словно над этим местом вообще можно царствовать.

• • •

В городке уже другие достали Головастого из лодки и отнесли в местную больницу. Наконец-то он скрылся из глаз, но что такое Виндзор? Две пыльные улицы да пристань. И нигде нельзя укрыться от вопля, который издает человек, когда из него выдирают копье. Торнхилл услышал его даже в пабе «Речная дева», этот нечеловеческий

вопль.

Ему не надо было никаких доказательств того, что Головастый мертв. Он был мертв с того самого момента, когда копье вошло в его плоть. Часы, проведенные на дне лодки, были часами, продлевающими смерть, а не приближающими исцеление.

Когда крики стихли, над городком повисла тишина. В «Речной деве» Паук налил всем щедрую порцию за счет заведения. Присутствующие старались не смотреть друг на друга. Все представляли себе, каково это — чувствовать копье в брюхе.

Слухи путешествуют быстро. Время шло, в «Речную деву» стекались те, кто уже слышал. Торнхилл рассказал историю Лавдею и Твисту, хотя они уже обо всем знали. «Заполучил копье в живот», — сказал Торнхилл. Подходили те, кого он едва знал, — из Саквилла, с Саут-Крик, они жаждали подробностей.

Появился Барыга и перехватил историю. Можно было подумать, что он сам там побывал. Каждый раз, когда подходил кто-то новый, он рассказывал с новыми подробностями. Их было пятьдесят. Они заставили его самого перерезать глотку собаке. Они сняли с него скальп.

Но ничего из придуманных Барыгой ужасов не могло сравниться с тем, что было на самом деле.

Барыге все ставили и ставили выпивку. Лицо у него раскраснелось, он завел себя так, что чуть не рыдал. Его негодование было вполне искренним, голос у него срывался. Торнхилл пил молча. Он вспомнил то, о чем давно не вспоминал, — о тюремном дворе в Ньюгейте, где заключенные репетировали свои истории до той поры, пока выдумка не становилась реальностью.

Он подумал, что с ромом у Паука явно что-то не то, если он совсем не пьянеет. Перед его мысленным взором стояла одна и та же картина — лежащий за бочкой Головастый. Изящно трепещущее, словно цветочный стебель, копье. Умоляющий взгляд. Длинный деревянный стержень, ушедший в недоступную никому тьму внутри человеческого тела.

За своим собственным прилавком, со своим именем над дверью и болтающейся снаружи вывеской, Паук словно вырос. Он стоял, уложив ладони на стойку, словно пастор перед началом службы. «Мы должны с ними разобраться, — объявил он. Голос остался прежним, таким же пронзительным. — Перебить их, пока они не перебили нас».

Торнхилл четко, как свою руку, увидел эту картину: все предстоящие им завтра, в каждое из которых из лесу нацелено копье. Оно пролетит и войдет в его тело как раз над толстым кожаным ремнем. И он кончит, как Головастый, глядя в мир, который станет серым и чужим. Но, что еще страшнее — так страшно, что это даже невозможно представить, — на земле будет лежать Сэл и смотреть на него умоляющими глазами.

Вопрос только в том, сколько пройдет таких завтра.

Барыга говорил теперь тихо, так, что окружающим приходилось наклоняться, чтобы расслышать: «А на Дарки-Крик никого из них не осталось, Головастый позаботился. Зато у Блэквуда их целый чертов лагерь». Он произнес «Блэквуд», словно выплюнул какую-то гадость.

Торнхилл почувствовал, как что-то внутри него оборвалось.

«Мы можем добраться туда к вечеру, — сказал Барыга. — И к завтраку от них уже почти ничего не останется». Посетители внимательно смотрели на Барыгу, на его рот, из которого выплывали эти слова. Что-то в словах заставляло их хотеть слушать, хотеть идти за ним. Нед по-идиотски захихикал. «Хочу заиметь их палец! — вскричал

он. — Буду им табачок в трубке уминать!» Барыга кивнул, но как бы не в одобрение того, что брякнул Нед, а в подтверждение своих собственных слов. «Надо закончить дело», — сказал он, допил, что было в стакане, и со стуком поставил перед Пауком, требуя добавки.

Из глоток столпившихся вокруг мужчин послышались одобрительные возгласы. Это были не голоса отдельных людей, а голос группы, безликой и мощной.

Торнхилл молчал. Он уставился в стакан, все крутил его, и ром оставлял на стенках густые подтеки.

«Истребить их всех, и дело с концом, — сказал Барыга. — Все боятся прямо сказать, но разве это не единственный способ?»

Торнхилл поднял глаза и увидел, что Барыга смотрит на него, а все остальные — туда, куда смотрит Барыга. Барыга явно наслаждался этим моментом. А потом заявил, будто это была самая обыкновенная вещь на свете: «Только чтобы туда добраться, нам нужна “Надежда”».

Торнхилл услышал, как громко пыхтит Нед. Они были обращены к нему, все эти знакомые лица — Нед, Дэн, Лавдей, Джордж Твист в своей неизменной шляпе, Паук, чьи щеки заметно

округлились. В дымном свете лампы они казались ему чужими — темными, какими-то шероховатыми.

Сама атмосфера в пабе была полна свирепости. Он почувствовал, что эта злоба вливается в него, как вливается спиртное, согревая внутренности. У него заболела голова, он хотел бы уйти, но надо было еще как-то увести к лодке Дэна и Неда, а это было неосуществимо.

Лавдей достаточно набрался и стал красноречивым. Он поднял руку и изрек: «Мы должны вырвать крапиву с корнем, хоть это и болезненная процедура, или оставить эти места на милость жестоким дикарям и вернуться к той жизни, кою мы вели ранее».

Наступила тишина: все задумались о той жизни, которую вели ранее.

Дэн сидел рядом с Торнхиллом, щеки его раскраснелись от рома. Он наклонился к Торнхиллу так близко, что тот слышал, как у Дэна сквозь щели в зубах свистит воздух: «Избавься от черных, и она останется, Уилл, — прошептал он и отодвинулся, хитро на него поглядывая. — Ничем другим ее не удержишь».

Торнхилл и сам знал об этом, и возненавидел Дэна за то, что тот облек его мысли в слова. Если

черных не усмирят, Сэл уедет с мыса Торнхилла. Это было понятно.

Разве можно выбирать между своей женой и своим местом? Как сделать, чтобы она осталась? Он за ценой не постоит.

Барыга, понимающе улыбаясь, смотрел на него. «Никто ни о чем не узнает, клянусь, — сказал он. — Даже жены. Никогда. Никто, кроме нас. А мы никому не скажем».

Торнхилл залпом выпил то, что оставалось в стакане, и быстро, не оставляя себе времени на раздумья, произнес: «Тогда сегодня ночью, к утру будем дома». Голос его прозвучал уверенно, словно говорил кто-то другой, не он.

«Но чтоб никто ни слова, — добавил он. — Если кто-то проговорится, я тому сам брехливый язык отрежу».

• • •

Барыга, хоть и полупьяный и страшно возбужденный, проявил себя куда лучшим стратегом, чем капитан Маккаллум. Он продумал все так тщательно, что, как понял Торнхилл, могло бы сослужить ему в жизни хорошую службу, будь эта жизнь иной.

Барыга знал, что вечером начинается отлив

и что отлив способен донести полную лодку народа за мыс Торнхилла, туда, где от реки под углом отходит Первый Рукав. Там они встанут на якорь и дождутся полуночи, когда начнется прилив. К этому времени взойдет луна, и лодку силой прилива понесет по Первому Рукаву. Не доходя до жилища Блэквуда, чтобы собаки их не учуяли, они пришвартуются и будут дожидаться рассвета.

О том, что должно произойти потом, никто не произнес ни слова.

Дэн и Нед отвязали «Надежду» от пристани Виндзора и вывели на середину реки. Под весом дюжины мужчин лодка здорово осела, однако течение легко несло ее вперед. По команде Барыги они причаливали у некоторых поселений и всем рассказывали историю Головатого. К экспедиции присоединились еще несколько человек — старый костлявый Мэтью Райан из Уилбэрроу-Флэт, Джон Лавендер с братом из Портленд-Хед, Дивайн из Фриманс-Рич.

Они прошли через Хафмун-Бенд, Кэт-Ай-Крик, Милкмейд-Рич, и к тому моменту, когда Торнхилл даже в темноте различил очертания горы над его собственным местом, на борту было уже семнадцать человек. Подойдя к Первому Рукаву,

они бросили якорь в ожидании прилива.

Торнхилл сидел на корме и смотрел на пассажиров, которые дремали, привалившись друг к другу. Он знал их всех, шутил и смеялся с ними за выпивкой, торговался с ними, расплачиваясь за зерно и тыквы. И, в принципе, никогда не считал их плохими людьми.

И все же их жизни, как и его жизнь, каким-то образом повернулись так, что все они сейчас ждали прилива, чтобы сотворить то, на что способны только худшие из людей.

А там, всего в полумиле выше по реке, Сэл сейчас укладывает малышей в постель и поет: «Лондонский мост упал, упал, упал». Она наготовила на завтра лепешек, выставила за дверь узлы, чтобы по возвращении Торнхилла не тратить времени зря. Он приподнялся, в надежде увидеть свет из хижины, но ближайший склон заслонял его. Уилли наверняка заложил огонь кусками земли, чтобы поутру очаг еще тлел и не надо было заново растапливать перед тем, как выпить последнюю на этой земле чашку чая. Он наверняка перегородил вход и держит ружье наготове. Сэл в последний раз легла на их ложе с Мэри под боком. Но ей не спится.

Она более-менее догадывается, что случилось с

Головастым, понимает, что Торнхилл отправился вверх по реке. Но не подозревает, что муж сейчас совсем близко и что если он сейчас встанет и крикнет, она его услышит.

Как же получилось, что жизнь загнала его в этот угол, где ему не оставили почти никакого выбора? Жизнь уже затягивала его в свой водоворот, забросив в камеру смертников в Ньюгейте. Но то, что случится утром, будет делом его собственных рук. А во встрече с мистером Палачом его вины не было.

Разница в том, что сейчас это был его собственный выбор, он сделал его по своей воле.

Его жизнь могла окончиться на виселице, но то, что он собирается сделать, все равно будет означать конец его жизни. Тот Уильям Торнхилл, который ляжет спать завтра вечером, уже не будет тем Уильямом Торнхиллом, который проснулся сегодня утром.

Он все думал и думал о том, что сегодня случилось.

Они с Сэл могли бы спорить до конца дней своих — она не хочет оставаться, он не хочет ехать.

Это похоже на старый узел на веревке, твердый, как кулак. Пытаться развязать его даже смысла не имеет — в таком случае сгодится только добрый

острый нож. Он глянул на темный даже на фоне темного неба утес. Иногда ему казалось, что эти утесы упадут и раздавят его. Поднялась луна, она плыла среди облаков, ее бледная тарелка гасила свет звезд.

Лодка шевелилась под ним, вздрагивала, потому что течение под килем сменило направление.

Им следует договориться о том, что они будут потом рассказывать. Да, они отправились на переговоры с черными. Да, показали им ружья. Даже выстрелили в воздух. Черные же не дураки. Они намек поняли. И ушли.

А если кто-нибудь в чем-нибудь усомнится, так само отсутствие черных станет доказательством правдивости их рассказа.

Хорошую веревку резать всегда неприятно, но уж если разрезал, вряд ли стоит жаловаться.

Он поднял камень-якорь, с которого в лунном свете стекали серебряные струйки. Река бурлила: убывающие потоки встречались с прибывающими. Он всем весом навалился на румпель — прибывающий поток победил и понес «Надежду» в Рукав.

Когда осталась позади первая излучина, сам воздух, казалось, замер, насторожился. Лунный свет был таким ярким, что он мог разглядеть

каждый листик на подступивших с обеих сторон мангровых зарослях. Сама же вода была черной.

Торнхилл пытался изгнать из памяти картинку: рябь от ветерка на голубой воде лагуны. Блэквуд стоит в дверях хижины. Ниточка дыма, поднимающаяся от печи. Женщина, которая подходит к ним, склонив голову набок, совсем как Сэл. Бледнолицый ребенок, который прячется за ней, ребенок, не знающий иного мира, кроме мира этой лагуны.

Куда легче было думать о Головастом. Он все еще чувствовал запах крови, запятнавшей его куртку, слышал вопль, прокатившийся по Виндзору, видел посетителей «Речной девы», замерших со стаканами у рта.

Он снова и снова проигрывал это в своей памяти. Вопли, которые издавал Головастый, когда они перекладывали его на носилки. Побелевшие костяшки обхвативших копье рук. Мольба в глазах — перед тем как Торнхилл накрыл его лицо носовым платком.

Не доходя до хижины Блэквуда, они привязали лодку в мангровых зарослях и снова задремали. Старые карманные часы Лавдея показывали два часа пополуночи. Каким-то чудом собаки их не учуяли.

С рассветом все начало приобретать четкие очертания. Торнхилл разглядел Неда, скорчившегося возле полупалубы, услышал его знакомый храп. Барыга не спал, он переходил от одного к другому, что-то шептал. Последним он подошел к Торнхиллу: «Сначала мужчин, а потом уже баб».

В неверном свете луны люди начали перевариваться через борт «Надежды» и по воде побрели к берегу. За колышущимися под утренним ветром казуаринами Торнхилл разглядел лагуну, где черные разбили лагерь.

Он стоял на берегу, сжимая в руках ружье. Возможно — и даже более чем возможно, — что черные, несмотря на все их старания, все-таки их услышали. Волосы у него на затылке встали дыбом — он представил себе летящее копье.

Они шли к лагерю, и ничто нигде не шелохнулось.

По обеим сторонам высился лес, сплетение ветвей, переплетение кустов, колышущихся теней, где в этот самый миг сотни воинов уже поднимают копья. И ничего он не будет знать наверняка, пока не почувствует копье своим телом.

Представив притаившегося в зарослях человека, он уже не смог изгнать его из головы. Он повернулся, но и теперь за его спиной был лес.

Как ни повернись, разницы никакой. И правда, какая разница, в каком именно месте копье вонзится в его тело — сзади, между лопатками, или спереди, между ребрами?

И в этот миг с колоссальным грохотом выстрелило ружье. Сердце его сжалось, он завертелся на месте. Черный! В кустах! Он выстрелил, отдача отбросила его назад, он еле устоял, выпрямился, посмотрел. Фигура стояла там же, где и раньше, с воздетыми руками — опаленное выстрелом дерево с руками-ветками.

Теперь уже палили все, но не по кустам, а по шалашам. Он увидел Барыгу, тот подбежал к одному из шалашей и, прежде чем выстрелить, глянул внутрь. Выстрелил, отскочил в сторону. Из шалаша выбежал мужчина, так резко и стремительно, что разорвал его, словно лист. Мужчина сделал пару шагов, а потом рухнул на землю, половина его головы превратилась в кровавое месиво. Женщина и ребенок вылезали из-под покрывала из меха опоссума, женщина схватила ребенка, но не успела сделать и шага к лесу, как на нее налетел Джордж Твист с саблей, и Торнхилл увидел, как ее спину и плечо перечеркнула длинная красная линия. Она уронила ребенка и потянулась, чтобы снова его схватить, но Джон Лавендер с саблей

успел раньше и одним мощным ударом отсек ребенку голову. Голова отлетела к его ногам, и он отшвырнул ее прочь.

На Дивайна, рыча, набросилась собака. Он выстрелил ей прямо в раскрытую пасть, и она рухнула, ее черные ноги задергались, вся морда была разворочена.

Брат Лавендера, Паук и Мэтью Райан окружили шалаш и разворотили его ружейными стволами. Из шалаша вырвался Черный Дик с кривой дубинкой, поднял ее и обрушил на голову Райана, тот упал на землю. Черный Дик повернулся к Пауку, снова воздел руку для удара, но сзади подбежал со своей дубинкой Дэн и ударил его с такой силой, что Черный Дик тоже упал, и в следующее мгновение над ним склонился Лавендер и, держа пистолет обеими руками, выстрелил ему в грудь.

Еще один черный с копьем на плече рванулся к Барыге, который перезаряжал ружье, но с другого конца поляны к нему, спотыкаясь из-за слишком больших ботинок, поспешил Лавдей и выстрелил — отвернувшись, чтобы при отдаче не получить прикладом в лицо. Черный упал, на колене у него расцвел кровавый цветок.

Твист влетел в уже развороченный шалаш, в котором женщина пыталась забиться под кусок

коры. Торнхилл увидел, как она запихивает ребенка под меховое покрывало, Твист схватил ее за волосы, оттянул голову назад и, словно это была одна из его свиней, перерезал ей горло. Женщина успела вскочить, прижимая к себе ребенка, поднесла к горлу, из которого хлестала кровь, руку, сделала несколько шагов, очень спокойных, и, сложившись пополам, осела на землю.

Нед, расставив ноги и открыв рот, целился из ружья. Он выстрелил в женщину, пытавшуюся убежать с ребенком на руках. Торнхилл увидел, как пуля толкнула ее вперед — как будто по спине кто-то ударил. Ноги не успели за телом, голова откинулась назад. Она подпрыгнула, пытаясь выпрямиться, будто танцевала на месте, ребенка она по-прежнему крепко прижимала к груди. Полуобернулась, пытаясь понять, что с ней случилось, — он видел ее лицо, ее распахнутые глаза, приоткрытый рот, как будто она пыталась о чем-то спросить, — а потом колени подогнулись, и она упала.

Перед одним из шалашей стоял черный с копьем наизготовку, он уже собрался метнуть его, но тут в него попала пуля, и он с шумом втянул воздух, будто собираясь чихнуть. Уже падая, он успел бросить копье, и копье, кувыркнувшись,

шлепнулось на землю.

Повсюду стреляли, перезаряжали, сабли вздымались и рубили, под вопли, рычание и детские крики лилась кровь. После того первого выстрела все, как показалось Торнхиллу, стало происходить очень быстро. Он поднял ружье, чтобы выстрелить по кому-то из черных, но они разбегались, и он не успевал прицелиться. Он стоял с ружьем на плече и смотрел.

Раздался крик, появился Блэквуд в одной нижней рубашке и в носках, вскинув ружье, он целился в Барыгу. «Убирайся, Барыга!» — рычал Блэквуд. Но Барыга, даже не поднимая руки, хлестнул Блэквуда своей плеткой, раз, другой. Блэквуд отпрянул, уронил ружье, взметнул руки к глазам. Отшатнулся, пытаясь восстановить равновесие, споткнулся о бревно и рухнул, так тяжело, что земля вздрогнула.

Торнхилл открыл рот, чтобы крикнуть, но Блэквуд вскочил, по-прежнему прижимая руки к глазам, опять споткнулся об одно из тел, опять упал, и снова попытался подняться. Теперь Торнхилл услышал, что Блэквуд повторял лишь одно слово: «Нет, нет, нет, нет!»

А потом Торнхилл почувствовал, как что-то ударило его по руке, он уронил ружье, услышал

вопль Дэна, показывавшего на что-то в кустах. Торнхилл повернулся, и в этот миг что-то тяжелое ударило его в висок, свет померк. Он наклонился, чтобы подобрать ружье, но еще один камень ударил в затылок, и он упал лицом в грязь, беспомощный, как жук. Он услышал высокий, совсем как женский, вопль Неда, тот орал, что они его достали и что он богом клянется, но перебьет всех мерзавцев.

Торнхилл поднялся на ноги, вскинул ружье — из леса летел град камней, словно в них плевалась сама земля. Он почувствовал, что что-то жидкое заливает ему глаз, поднял руку, дотронулся — вся рука была алой от крови. Нед с искаженным от ярости лицом что-то кричал, перезаряжая ружье. Торнхилл не мог разобрать слов, только видел лихорадочные движения его рук. Лавдей тоже наклонился, чтобы перезарядить ружье, волосы упали ему на глаза, загонявшие заряд руки дрожали, при этом он озирался по сторонам.

Эта окруженная лесом поляна, с одной стороны сбегавшая к лагуне, а с другой закупоренная горой, была ловушкой.

Он услышал свист, увидел тень, пронзившую землю возле самых его ног, она оказалась все еще дрожавшим копьем. Он уставился на него, заме-

рев от удивления. В какой-то миг ему показалось, что копье ему сейчас что-то скажет.

Из-за деревьев вылетело еще одно копье и ударило Дивайна в плечо. Он как-то по-бабьи вскрикнул, схватил его обеими руками и выдернул. Торнхилл посмотрел, откуда оно прилетело, и увидел на краю поляны мальчика, державшего тяжелое копье обеими руками. Его лицо исказилось, он издал крик, полный ярости и страха, и, вложив все силы, пустил копье. Казалось, оно летит слишком медленно, чтобы причинить кому-либо вред, однако Твист упал на колени, копье торчало у него из головы, наконечник пронзил ее, утянув с собой край шляпы и ухо.

Торнхилл вскинул ружье, но опять он двигался слишком медленно. Там, где только что стоял мальчик, уже никого не было, и только деревья смотрели на него.

А потом из-за них выступил Бородатый Гарри, жилистый и хрупкий. Торнхилл видел, как дрожала его рука, когда он поднимал и прилаживал на плече копье. Его лицо, когда он отклонился, чтобы бросить копье, исказилось от усилия.

Ружье было поднято, палец лежал на спусковом крючке, но он не мог двинуться, как будто все это происходило во сне. Он был уверен, что

приказывает своему пальцу нажать на курок, но палец не шевелился.

Он увидел, как копье вылетело из руки черного и как Барыга сделал шаг вперед, словно намеревался его поймать. Когда он остановился, копье, вибрируя, уже было у него в груди. Он поднял к нему руки и стоял среди всего этого хаоса и безумия, копье торчало из его груди как какая-то ужасная ошибка.

Торнхилл видел, как двигается его рот, как он что-то говорит, но ничего не слышал. Барыга шел к нему, поддерживая копье обеими руками. Он подошел так близко, что конец копья задел Торнхилла по руке, и стоял, глядя на него, но не узнавая. «Господи Иисусе и Пресвятая Матерь», — сказал Барыга. Яркие капли крови начали проступать на рубахе в том месте, где ее пробило копье.

Торнхилл захотелось выдернуть копье, чтобы все было как раньше. Но он знал, что происходит, когда из человека выдергивают копье. Он стоял с ружьем наизготовку, он чувствовал внутри себя страшную пустоту.

Барыга просипел, словно копье разорвало ему и голос: «Иисус Христос Всемогущий, Иисус Христос Всемогущий…»

А старик смотрел на копье, торчавшее из груди Барыги. Он не двинулся с места, не попытался скрыться. Просто стоял и смотрел, и лицо его было серьезным и строгим.

Ружье выстрелило, выбросив облачко синего дыма, звук выстрела оказался странно слабым. Он думал, что промазал, потому что Бородатый Гарри так и стоял на том же месте с тем же выражением на лице, будто ничто его не беспокоило.

Старик наклонился, медленно опустился на колени, прижав руки к животу. Он стоял так долго-долго, как будто, превратившись в камень или в дерево, он мог бы исторгнуть, вытолкнуть из себя то, что в него вошло.

Муха вилась вокруг лица Торнхилла, он отогнал ее. Закрыл глаза. Подобно старику на коленях, он почувствовал, что может стать чем-то другим, не человеком, чем-то, что не способно совершить то, что происходило на этой поляне, то, что вообще немыслимо.

Теперь старик согнулся пополам, по-прежнему придерживая живот в этой странной, деликатной манере. Он опустился в пыль. Изо рта у него показалась струйка крови, тоненькая, словно слюна, но невыносимо красная. Старик склонился к пыли и поцеловал ее своим окровавленным ртом.

А потом повернулся и вытянулся на спине. Торнхилл увидел рану. Она двигалась, как губы, пульсировала, маленькое злобное животное, пробравшееся в тело старика.

Невозможно и представить, чтобы кто-то, в чью плоть проникло это существо, остался в живых.

Торнхилл слышал только собственное хриплое дыхание. Наконец он опустил ружье и аккуратно положил его на землю. Над ухом жужжала муха. Сквозь ветви деревьев пробивались первые лучи солнца, цветными полосами ложились на траву. Он прислушался, стараясь услышать, как бегут по лесу черные, но все смолкло, даже стрекот насекомых в траве.

Каждое дерево, каждый лист, каждый камень смотрели на него в упор.

Среди порушенных шалашей лежали черные тела. Он видел крупное тело Черного Дика с дырой от пули в груди. Возле него, с наполовину отстреленной головой, лежал Длинный Джек, тот самый, который когда-то был Длинным Бобом. В лужице солнечного света лежала женщина, она спала, рядом с ней спал ребенок, вот только голова у нее была странно повернута, она соединялась с телом только полоской изорванной плоти. Затылок ребенка превратился в кровавое

месиво.

Бородатый Гарри лежал там, где он так аккуратно и медленно упал.

Из-под одного из тел раздавался крик ребенка. Появился Дэн со своей дубинкой. Торнхилл видел его лицо — отсутствующее, как у человека, который при свете лампы чинит упряжь. Он ударил раз, два, крик прекратился.

Блэквуд лежал навзничь на развороченном шалаше. Руками он по-прежнему закрывал глаза. Лицо под руками было все залито кровью.

Кто-то вел Барыгу в тень, поддерживая его под локоть. Барыга держался за копье. На каждом шагу конец копья изгибался, словно рисовал какой-то чудовищный орнамент. Копье прошло насквозь. Когда они сорвали с него рубашку, то увидели торчащее из спины зазубренное острие. Барыга был в таком шоке, что даже не мог кричать. Добравшись до тени, он стоял, покачиваясь. Отказался садиться. Паук пытался уговорить его прилечь, но Барыга его оттолкнул.

Джордж Твист хотел помочь ему поддерживать копье, но Барыга жестом отогнал и его. Он смотрел прямо перед собой, сосредоточившись на том, чтобы удерживать копье ровно, человек, чей мир сжался до ощущения древесины под пальцами.

Из уголка рта потекла струйка крови, и в тот же миг колени подогнулись, и он неуклюже осел на землю. Из носа тоже потекла кровь, он закашлялся, кашель был влажный, кровь изо рта хлынула потоком. Мухи уже слетелись к тому месту на теле, где зияла рана. Он протянул руку, будто хотел что-то сказать, а потом завалился вперед и повис на копье, уже мертвый.

Солнце пекло все жарче. Поляна была завалена телами, словно порубленными деревьями, развороченная земля покрыта темными пятнами.

И над всем этим висела огромная испуганная тишина.

Мыс Торнхилла

Шли дожди, сменялись времена года, солнце переваливало через горы, так же как делало оно это с начала начал. Река, следуя приливам, отливам, половодьям, разбухала и съеживалась, деревья росли и умирали и, сгнив, питали почву, которая дала им жизнь. Десять лет для реки — ничто, как и для горных хребтов, среди которых она таилась. Перемены коснулись только прибрежных равнин, да и то отразились, в основном, в названиях.

Человек по имени Милликин теперь жил в том месте, которое раньше было Барыгиным, и оно стало называться заливом Милликина. Там, где местные ободрали посадки Уэбба, пока миссис Уэбб развлекала одного из них, поселился Бенджамин Джеймисон, он перегородил ручей и назвал это место Джеймисон-Милл. Миссис Херринг, одна из немногих старых соседей, оставалась на своем месте на Кэт-Ай-Крик, но превратилась в настоящую затворницу. Уильям Торнхилл купил старый участок Головастого и еще сто акров вниз

по Дарки-Крик, вплоть до самой реки. Теперь это место называлось Торнхилл-Крик.

Поскольку черные теперь не доставляли никаких хлопот, новые поселенцы расхватали землю в каждой излучине. Никем не тревожимые, их посевы и семьи процветали, и торговля на реке шла хорошо. Торнхилл выплатил Кингу его сто пятьдесят фунтов плюс проценты, и занял еще около трехсот фунтов, чтобы приобрести судно, построенное специально для торговли. Ни старая «Надежда», ни новая «Сара» никогда не простаивали. Зимой, когда торговля шла на убыль, «Надежда» перевозила уголь из нового каторжного поселения в Порт-Стивенсе, а «Сара» под командованием Уилли плавала еще выше по реке и доставляла оттуда кедровую древесину, которую поселенцы называли красным золотом. Торнхиллы — а теперь их земли простирались на триста акров, и помимо выращивания зерновых они держали свиней и коров, — поставляли продовольствие правительственным отрядам из закованных в цепи каторжников, которые строили дороги. Они собирались приобрести третье торговое судно, которое возило бы из Новой Зеландии мех морского котика, по двадцать фунтов за шкуру.

В глазах новых поселенцев Уильям Торнхилл был кем-то вроде короля. Если он находился не на реке, то сидел у себя на веранде, присматривая за рекой в подзорную трубу. А жена его стала кем-то вроде королевы, особенно славились ее рождественские приемы, на которых зажигались китайские фонарики и звучали струнные оркестры.

• • •

Ирландец Дивайн построил для мистера Торнхилла чудесный каменный дом, правда, оказалось, что такой дом принято называть виллой. Звучание слова Торнхиллу очень нравилось, хотя язык выговаривал его с трудом. Они назвали свою виллу Кобхэм-холлом. Это была идея Сэл — шутка, понятная лишь им двоим.

Он поднялся на холм, где была вырезана рыба, и показал, где должен стоять дом. Дивайн, прекрасно знавший, с какой стороны мажут масло, восхитился: «Я бы и сам выбрал именно это место, мистер Торнхилл! Именно эту возвышенность!»

Торнхиллу никогда не надоедало обращение «мистер Торнхилл». Он каждый раз испытывал удовольствие. Ему даже не так понравилось, что Дивайн назвал «возвышенностью» то, что для

него было просто холмом.

Дивайн знал множество способов превратить дом в крепость. Уже сама возвышенность это предполагала: «И сотня проходимцев не сможет сдвинуть вас отсюда, мистер Торнхилл», — заверил он. Стены были из камня, в пол-ярда толщиной. Сзади и с боков стены от основания до крыши были глухими, за исключением единственной низкой и глубоко утопленной двери. «Поставьте возле этой двери человека, — сказал Дивайн, — и он перебьет их всех как мух». Он встроил в лестницу мудреный подъемный механизм, вроде тех, что использовались в подъемных мостах, и проделал удобные прорези как раз в размер ружейного дула. На той стороне холма, что за домом, выкорчевали и вырубили все кусты. Теперь никто не смог бы там спрятаться.

В результате место стало совсем не таким, каким когда-то рисовалось Торнхиллу. Все выглядело как-то неправильно: что-то оказалось слишком большим, что-то — слишком маленьким. Входная дверь была настоящим чудом столярного ремесла, но для такой высоты казалась слишком широкой, камень в основании веерообразного окна над ней выпирал вперед, словно кривой зуб. Ведущая на веранду полукруг-

лая каменная лестница была именно такой, как он нарисовал, по памяти восстановив очертания лестницы, ведущей к входу в церковь Святой Магдалины в почти позабытом Бермондси, но, переведенная с бумаги в камень, она стала какой-то карликовой и неуклюжей. За ней поселились сверчки, которые трещали ночи напролет.

Он представлял себе каменных львов на воротных столбах, с оскаленной пастью, — таких, какие он видел возле церкви Христа. Это в них тот другой, почти незнакомый Уильям Торнхилл запустил когда-то грязью. Львов, за сто гиней за пару, выписали из Лондона. Но те, что прибыли, оказались более ручными. Вместо того чтобы грозно скалиться на чужаков, они сидели, вытянув лапы, как кошки возле камелька. Но он не стал демонстрировать свое разочарование в присутствии Неда, который все еще оставался при нем и все еще страдал припадками, когда приходила пора сбора кукурузы. «Совсем такие, как я заказывал, — объявил он. — Точь-в-точь такие». Сэл заглянула ему в глаза и прочла в них все — и его разочарование, и его гордость. И послала ему легкую улыбку, растаявшую до того, как кто-либо смог бы ее заметить.

Воротные столбы сделали высокими, чтобы

никто не мог толком разглядеть львов. Пусть львы были и не такими, как он планировал, они все равно говорили, что и должны были сказать: «Осторожно! Ты ступил на мою землю».

Кобхэм-холл был резиденцией джентльмена. Означало ли это, что он — джентльмен? Иногда ему казалось, что все это — не более чем яркий, подробный сон. Он и представить не мог, чтобы Уильям Торнхилл имел какое-то отношение к такому дому, разве только в качестве незаконно вторгнувшегося в его пределы. Но если у человека все в порядке в смысле денег, он может сделать мир таким, каким ему хочется. Ничего удивительного, что те люди в его лодке, много-много лет назад, выглядели такими безмятежными. Они, с интересом поглядывая кругом, наслаждались покоем, пока лодочник горбился над веслами. Он теперь понимал, каково это — сознавать: что бы ты ни захотел, ты непременно получишь.

А под виллой мистера Торнхилла, придавленная ее весом, по-прежнему плыла рыба. Под полом ей было темно — она больше никогда не увидит солнца. И она не потускнеет, не сотрется, как другие рисунки, те, что остались в лесу, и ни одна черная рука ничего не нарисует поверх нее. Она останется такой же, как в тот день, когда в

половицы вонзились гвозди. Но она больше не будет живой, выхваченной из деревьев и света, в котором плавала когда-то.

Порой, сидя в гостиной в красном бархатном кресле, Торнхилл думал о ней, так четко вырезанной на скале. Он знал, что она там, и его дети, может, и будут о ней помнить, но вот дети его детей будут ходить по половицам и не знать, что у них под ногами.

• • •

Сэл давно перестала делать зарубки на дереве-календаре, старые линии заросли, их поглотило само дерево. Иногда она еще говорила «когда мы поедем Домой», и хранила кусочек черепицы в своей рабочей корзинке. Но у «когда» уже не было определенного срока, а «Дом» превратился в приятную, но далекую абстракцию. Если она произносила эту фразу, он переводил разговор на что-нибудь другое — на чудесного пони, которого он присмотрел для Мэри, или на земельный надел, который купил для Уилли на Втором Рукаве.

Он никогда не произносил вслух того, что они оба и так знали: они никогда не вернутся Домой. Слишком многое в их жизни произошло именно здесь. А для детей Дом — не более чем

история. В Лондоне они были бы чужаками, с их загорелой кожей и колониальными манерами и взглядами. Они могут повидать Лондонский мост и послушать большой колокол Боу, о которых рассказывала им Сэл. Они могут даже полюбоваться на Кобхэм-холл и его виноградники. Но все эти места вряд ли будут иметь для них большое значение — места из истории, принадлежащей совсем не им.

Как в свое время в его теле отпечатались все повороты Крусификс-Лейн, так отпечатались в них здешние места. Когда не идет сон, они не будут нагонять его, повторяя в памяти извивы далекой иностранной реки Темзы — они будут припоминать очертания своей Хоксбери. И тосковать они будут по этим терпким запахам и по этому бескомпромиссному небу. Им непонятно, как можно провести жизнь в сутолоке и толчее Боро, а мысль быть похороненными во влажной земле кладбища при церкви Святой Марии Магдалины внушала бы ужас.

Сэл никогда не говорила об этом такими словами, но она никогда и не оставила бы их, своих туземных детей.

Поэтому, вместо того, чтобы забрать их Домой, она обустраивала Дом здесь, и Торнхилл старался

помогать ей как мог. Он позаботился о том, чтобы у нее было все, что обещал Дом, — пара пружинных кресел в гостиной и софа им в дополнение, девушка для готовки и уборки и еще одна для стирки, шаль с огурцами из Индии — на ней еще выткан павлин, а стоила она столько, сколько он на Темзе заработал бы за год.

И пара зеленых шелковых туфелек без задников. Эти туфельки хранились в тайниках его памяти. Она рассмеялась, когда он их ей вручил: «Что мне делать с шелковыми туфельками, Уилл?» Но она не жаловалась, когда он ночью надел их на нее и взял в них только ради того, чтобы услышать наконец, как они шлепают по пяткам. Особое удовольствие придавало то, что он ей о них никогда не рассказывал.

Это была ее идея — назвать место Кобхэм-холлом, и ее же идея была обнести сад высокой каменной стеной. Он не спрашивал, была ли такая стена в Кобхэм-холле, но отдал распоряжения Дивайну. Он подозревал, что там стены не было, что ее желание вызвано чем-то другим. Но то была одна из тех вещей, о которых они друг друга не спрашивали, а значит, и ответов не требовалось.

Стена — выше человеческого роста и лишь с одними воротами — отгораживала их от всех,

кроме тех, кого они сами приглашали. Так нравилось Сэл, и он не постоял за деньгами, потому что ему и самому так нравилось. Слишком часто он оказывался на неправильной стороне такой вот стены.

Внутри стены землю расчистили и выровняли для сада Сэл. На этом унылом прямоугольнике был распланирован классический английский сад. Высадили нарциссы и розы. По линейке проложили дорожки, вместо гравия посыпали белым песчаником. На свету он слепил глаза, но все равно эти дорожки делили сад на четкие квадраты, как она и хотела. Между садом и домом по совету Дивайна разбили лужайку, дорогущий торф надо было везти из Ирландии. Она будет здесь в полной безопасности, потому что все знают: змеи не ползают по ирландскому торфу. Дивайн, в подтверждение истинности своих слов, приложил к тому месту, где билось его ирландское сердце, бледную руку с длинными пальцами, и сделка состоялась.

Больше всего она тосковала по деревьям, по нормальным деревьям, как она их называла, с листьями, которые облетают осенью. Она показала, где хотела бы их высадить — двойным рядом от реки до дома. Он сообразил, что она увидела

на этом склоне — подъездную аллею в Кобхэм-холле, туннель из зеленой шепчущей листвы, отбрасывающей на землю пятнистые тени. Он не подшучивал над ней по этому поводу. Человек имеет полное право рисовать любую картину на чистой грифельной доске нового места.

Джером Гриффин из Сиднея оказался весьма предприимчивым господином, он сколотил состояние на тополях для тоскующих по дому леди, его тополиный питомник был единственным на всем континенте, и Торнхилл закупил изрядное количество саженцев. Вряд ли ему когда-либо наскучит удовольствие тратить деньги.

Дважды в день, утром и вечером, Торнхилл наблюдал за тем, как Сэл заставляет Неда и других — у них теперь было семь работников и еще три девушки в доме — наполнять водовозку и поливать высаженные растения. Ее дни превратились в сражение с солнцем, норовившим выпить из земли всю влагу, и с горячим ветром, иссушающим листья.

Вопреки всем ее заботам сад не желал разрастаться. Розы не укоренялись. Они цеплялись за жизнь, но все равно оставались низкорослыми. Нарциссы были высажены, однако никто так никогда и не увидел ни одного цветка. Торф

пожелтел и скукожился, и в конце концов его вместе с клочьями сухой соломы сдуло ветром.

Единственным упорным растением оказались кроваво-красные герани, черенки которых дала ей миссис Херринг. Они пахли резко, но, по крайней мере создавали цветовые пятна.

За несколько недель большинство из двух дюжин тополей превратились в иссохшие палки. Но у Сэл не поднималась рука их повыдергивать. Когда дул ветер, эти трупы деревьев тоже раскачивались в жалкой пародии на жизнь.

Она тем сильнее любила те, которые выжили. На закате она спускалась к ним и стояла внутри треугольника из трех уцелевших тополей. Их блестящие зеленые листья дрожали на длинных стебельках. Он иногда наблюдал, как она стоит среди них. Как трогает лист, лаская его прохладную родную шелковистость, смотрит через него на солнце, чтобы увидеть его тайные прожилки. Она прикасалась к ним так нежно, как прикасалась к детским щекам, и порой Торнхиллу казалось, что, стоя на закате и трогая листья в форме сердца, она с ними разговаривает. «Когда я умру, — сказала она, — похорони меня здесь. Чтобы я чувствовала, как на меня падают листья».

Она уже не так быстро бегала, но настроение у

нее неизменно было ровным. У них родился еще один ребенок, еще одна девочка, которую они окрестили Сарой, но называли Куколкой из-за хорошенького личика и светлых кудряшек. После рождения Куколки Сэл поправилась — теперь они могли себе позволить жить спокойно. Он смотрел, как она прохаживается по дорожкам сада. Он и представить себе не мог, чтобы его быстроногая молодая жена превратилась в эту неспешную улыбчивую матрону.

Да и он погрузнел. Мышцы на плечах стали мягче, а мозоли на ладонях — он-то думал, что унесет их с собой в могилу, — превратились просто в утолщения на коже.

В гостиной висел портрет «Уильяма Торнхилла с мыса Торнхилла», напоминавший ему о том, кем он стал. Был еще другой портрет, но его спрятали под лестницу.

Этот первый портрет был откровенно неудачным. Художник лишь недавно сошел с транспортного судна, на нем был сюртук в ломаную клетку, лишь слегка потертый на манжетах, копна шелковых волос и кембриджский диплом с отличием. Торнхилл не стал больше ни о чем расспрашивать, поскольку понятия не имел, что такое диплом с отличием, но этот тип опреде-

ленно производил впечатление джентльмена. За свои деньги Торнхилл желал получить только лучшее, даже готов был переплатить: пусть все понимают, что его деньги ничем не хуже денег всех остальных.

Художник заставил его стать возле маленького столика, который притащили из гостиной, и постараться «повернуться чуть вбок, совсем немного, просто смотрите на угол камина, сэр». Приятно, когда к тебе обращается «сэр» джентльмен с дипломом из Кембриджа, даже если он и знает, что Уильям Торнхилл — из тех, кого называют старыми колонистами, что на деле является вежливой формой выражения «старый каторжник».

Джентльмен в сюртуке в ломаную клетку вглядывался, наносил мазки и осторожно выспрашивал клиента о его прошлом. Торнхилл послушно отвечал.

Но в этом рассказе Уильям Торнхилл родился не в грязном Бермондси, а в чистом Кенте, у меловых отрогов. И поймали его, потного от страха, не у причала Трех Кранов с досками, принадлежавшими Маттиасу Прайму Лукасу, а был он захвачен на галечном пляже с грузом французского бренди в лодке. И это было его прикрытие,

потому что на самом деле он работал на короля, перевозил английских шпионов во Францию.

Это была отлично сконструированная история, все детали подогнаны так ладно, как будто ее рассказывал сам Лавдей, а ведь это была именно его история. Но от этой кражи-то никто не обеднел, верно? В этом месте, где все начинали жизнь заново, подобных историй было что ракушек на берегу. В такой раковине мог поселиться краб и жить, пока она не становилась для него слишком тесной, тогда он перебирался в другую, побольше. Лавдей тоже нашел себе новую историю, в ней была юная дева, жестокий отец и оговор. Так что старая история ему уже была без надобности.

Сэл искоса наблюдала за мужем, пока он излагал эту историю джентльмену из Кембриджа — одной половиной рта, чтобы не испортить позы. А когда добавил еще и встречи при луне с дочкой богатого судовладельца, она опять-таки промолчала.

Но джентльмен из Кембриджа написал неважную картину. Желая втереться в доверие к работодателю — возможно, в надежде на новую комиссию, портреты шестерых детей и жены вдобавок, — он придал портретируемому черты лучшего из известных ему представителей че-

ловеческой породы, а именно — самого себя. Так что Торнхилл, от природы крепкого сложения, получился изящным господином с выпирающим под странным углом костлявым коленом и аккуратненькой головой с завивающимися над ушами волосами и бледным ликом.

В руке он держал полуоткрытую книгу. Книгу предложил сам Торнхилл, и на лице джентльмена из Кембриджа, когда он прилаживал на книге пальцы клиента, было написано негодование. Мерзавец решил поиздеваться над заказчиком, поскольку тот держал книгу вверх ногами. Все сделали вид, что это просто недосмотр художника, но Торнхилл терпеть не мог этот портрет. Заплатил он без звука, как истинный джентльмен, но не стал заказывать портреты детей и жены.

Лавдей порекомендовал другого художника, к тому же, как и они сами, старого колониста.

Портрет, написанный Аптоном, его поразил.

Он в визитке сидел за столом. Аптон заставил его держать подзорную трубу, но таким манером, каким ни один нормальный человек подзорную трубу держать не станет — как-то кокетливо уложив ее на кисть руки. Он пожалел, что не настоял на своем, что так трубу не держат, да и

вообще сомневался в уместности присутствия подзорной трубы на портрете. Он подозревал, что это каким-то образом сообщит о нем нечто достойное осмеяния, вроде книги вверх ногами.

Аптон поймал этот его странно неуверенный взгляд. Портрет воплощал все то, что произошло в его жизни. Он видел в нем и твердость, но и нечто другое — растерянность. Это был портрет человека, озадаченного тем, что может вытворить жизнь.

• • •

В «Газетт» написали о том, что случилось тогда у Блэквуда. Медленно, монотонно, как бы отстраняясь от произносимых ею слов, Сэл прочитала написанное вслух. Туземцы виновны в актах мародерства и незаконных действиях. Произошла стычка, и поселенцы их разогнали.

Нельзя сказать, чтобы это было абсолютным враньем. Но все-таки события описывались не совсем так, как Торнхилл их помнил.

В «Газетт» не говорилось, конечно, о женщине, которую Торнхилл не мог забыть, о том, как сверкали во мраке ее зубы, о каплях крови на ее коже. Или о мальчике, отведавшем угощения Головастого, и выгибавшемся, словно рыба на крючке.

Когда он вернулся домой после большого костра — они подносили и подносили дрова, и костер горел с утра до самого вечера, пока все не было сделано как надо, — она ждала его с лампой в руках, отбрасывавшей на стену длинную черную тень. Она все подготовила, увязала в узлы, сварила суп из остававшейся у них солонины.

Он рассказал ей свою историю: сначала они вели переговоры, потому пригрозили ружьями, потом те разбежались. Сэл слушала молча. «Они больше нас не побеспокоят, — сказал он наконец. — Господь мне свидетель». Она внимательно смотрела ему в лицо, так что он вынужден был спрятать глаза, притворившись, будто ужасно занят стаскиванием куртки. «На этот раз они ушли навсегда, — произнес он старательно будничным голосом. — Теперь нам не нужно никуда уезжать».

Она поставила лампу на стол и долго стояла, повернувшись к нему спиной и глядя на огонь. «Надеюсь, ты не сделал ничего такого, — наконец сказала она. — Потому что это я тебя подтолкнула». Он услышал, что она ужаснулась собственным словам, и поспешил осведомиться с веселым недоумением: «О чем это ты, Сэл?» Теперь она возилась у очага, снимала с углей

чайник. Что бы он ей ни говорил, какое бы радостное оживление ни изображал, она не желала этого слышать. Она повернулась с чайником в руках, налила горячую воду в миску. «Вот, Уилл, вымой-ка руки», — сказала она. Лицо ее было спокойным, таким как обычно, но смотреть на него она не могла.

Перед тем, как зайти в хижину, он вымыл в реке лицо и руки, а перед этим помылся еще на Первом Рукаве. Убедился, что на одежде нет следов крови. И даже оторвал сзади край рубахи, потому что там кровь не смывалась. Но теперь он снова и снова тер скользкие от мыла руки и погружал их в воду. Она глядела на его руки так, будто это были ее собственные руки. Она по-прежнему не смотрела ему в лицо, даже когда он брал у нее полотенце, даже когда она ставила перед ним миску с супом.

Если бы она только хоть что-нибудь сказала! Но она молчала. Ничего не говорила ни тогда, ни потом. Он принял бы даже обвинение. Если бы она его обвинила, он смог бы ответить. Ответ у него был наготове. Но она никогда не обвиняла его. Она распаковала узлы, снова поставила на балки-поперечины свои безделушки. Повесила на прежний колышек гравюру с изображением

Старого Лондонского моста, расстелила на полу одеяла. Привязала веревку для сушки белья и спела лондонскую песенку детям. Она, как всегда, продолжала жить.

Продолжала делать зарубки на дереве, но сама мысль о возвращении Домой постепенно блекла, бледнела. И когда у Куколки случилась лихорадка и Сэл была вынуждена сидеть с ней днем и ночью, ей было не до зарубок, а когда девочка выздоровела и снова начала бегать, Сэл уже не возвращалась к своему дереву. Сменилось время года, дерево сбросило кору, и старые зарубки были уже не так заметны.

Торнхилл видел это, но ничего не сказал. Между ними в ночь, когда он вернулся с Первого Рукава, возникло что-то новое — пространство, наполненное молчанием. И легкой тенью невысказанного.

Он терялся в догадках: знает ли она? Миссис Херринг наверняка знала правду — на реке мало что происходило без ее ведома. Но она перестала к ним приезжать, и Сэл редко о ней заговаривала.

Но то, о чем Сэл знала или о чем догадывалась, все время оставалось с ними, и изменить это было невозможно. Он никогда не думал, что несказанные слова могут лежать между людьми,

словно воды.

Они по-прежнему любили друг друга. Сэл по-прежнему улыбалась ему, и губы ее были по-прежнему сладкими. Он брал ее руку в свою, чувствовал, какая она узкая по сравнению с его рукой, и она не противилась. Какая бы тень ни жила вместе с ними, это была не только его тень, но и ее тоже, пространство, разделявшее их, было общим пространством. Но молчание пространства нарушить разговором было невозможно. Их жизни медленно обрастали его, как обрастают камень корни речного фикуса.

• • •

В «Газетт» ничего не говорилось о Томасе Блэквуде, который по-прежнему жил в своей хижине на Первом Рукаве. Теперь он все время молчал, этот большой человек ушел в себя, плечи его поникли, походка стала неуверенной. Один глаз отсутствовал, глазница была закрыта веком, второй глаз болезненно щурился.

Мистер Торнхилл, этот добропорядочный гражданин и щедрый сосед, время от времени плавал вдоль Рукава, останавливался у старой пристани Блэквуда и шел в дом с мешком муки, апельсинами из своего сада, фунтом табачка. Он взваливал

мешок на плечи, отвыкшие мышцы напрягались — теперь он чаще наблюдал, как таскают на закорках мешки и потеют другие, — и ощущал стоявшую здесь настороженную тишину.

Он смотрел на казуарины, окружавшие заплатку голой желтой земли возле лагуны, где в ночи пылал огромный костер. С почвой что-то случилось, потому что с тех пор там не выросло ни травинки. Ничего на той земле написано не было. И на бумаге тоже ничего не было написано. Но сама пустота рассказывала о себе тому, кто имел глаза, дабы видеть.

Блэквуд не разговаривал с Торнхиллом, он сидел, опустив голову. Говорил Торнхилл, слова изливались на него дождем, а Блэквуд ждал, когда дождь закончится. В хижине стояла тишина, сквозь щели пробивалось солнце. Каждый раз, попадая сюда, Торнхилл прислушивался — вдруг обнаружится еще один человек, женщина, носившая наготу словно бальное платье, и ребенок с соломенными волосиками. Но он ничего не слышал, а спросить не мог.

В хижине с Блэквудом жил Дик. Другие, благоговея, говорили о том, какой замечательный человек Уильям Торнхилл, и его жена тоже, если отослали сына помогать бедному Тому Блэквуду.

Он понимал, что это чистой воды подхалимство. Они все хотели быть в добрых отношениях с Уильямом Торнхиллом, который был слишком богат, чтобы с ним враждовать.

В том, что касалось Дика, он их не поправлял. На самом деле мальчишка не сказал ни ему, ни матери о том, что уходит. Спустя какое-то время после так называемой групповой драки он просто взял и ушел. Все еще слишком маленький, чтобы управлять лодкой, он переплыл реку на бревне, а потом пешком добрался до Блэквуда. Когда Торнхилл его нашел, мальчик ответил, что какое-то время побудет здесь с мистером Блэквудом.

И, как Блэквуд, Дик при этом не смотрел ему в глаза.

Дик работал в поле у Блэквуда, выращивая столько, чтобы место по-прежнему считалось чьим-то. Теперь ему было восемнадцать, и он на плоскодонке Блэквуда развозил по реке ром. Время от времени он проплывал мимо мыса Торнхилла и заходил повидать мать, но только когда отца не бывало дома. Торнхилл иногда видел его на реке, он стоял на корме, правя веслом, и течение уносило его прочь. Он стал хорошим лодочником. Торнхилл смотрел и ждал, но парень ни разу не взглянул в его сторону. Торнхилл ви-

дел только его затылок, старую шапку, ставшие мощными плечи. Он превращался в мужчину, но предпочел делать это без помощи собственного отца. В груди у Торнхилла, когда он смотрел, как плоскодонка скользит по реке, а потом исчезает, что-то сжималось. Он утратил что-то, цену чему он узнал, только потеряв.

Новые поселенцы не знали, что Дик — сын Уильяма Торнхилла. Однажды он услышал, как его назвали Диком Блэквудом. Он дернулся, как если бы порезался бритвой. В момент когда порежешься, еще ничего не чувствуешь — видишь только разверстую плоть, боль приходит потом.

• • •

Из черных в этой части реки остался только Длинный Джек. Другие, скорее всего, перебрались в отведенное им губернатором место под Саквиллом и существовали там на то, что губернатор в доброте своей им посылал. Полагали, что они просто вымрут. В конце концов, с их-то телосложением, они вряд ли могут выжить. Те, кто не умрут, вступят в браки с низшими представителями белых. Ученые джентльмены утверждали, что через несколько поколений чернота исчезнет сама собой.

Ученые джентльмены никогда не посещали резервацию в Саквилле, а если б посетили, то были бы очень удивлены. Оказывается, они ошибаются! Здесь было полно детишек, они носились повсюду и вопили, и даже если некоторые из них были посветлее, все равно было понятно, что они — того же племени. Вопреки всем предсказаниям черные вымирать не собирались.

Выстрел Барыги Джека не убил. След от раны на голове, там, где была сорвана кожа, хоть и затянулся, но был все еще заметен. Выстрел нанес и другие повреждения, Джек подволакивал левую ногу, тело его согнулось, и передвигался он с большим трудом и как-то боком. Лицо его словно закаменело — выстрел повредил что-то там такое, из-за чего его лицо не выражало ни удовольствия, ни даже боли.

Он проводил время возле маленького костра в том месте, где — в другой жизни — они с Торнхиллом сообщали друг другу свои имена. Сэл за ним присматривала. Это было для нее чем-то вроде епитимьи, сообразил Торнхилл. Она дала ему одежду — старые мужнины штаны, еще вполне теплую куртку. Даже связала ему пару носков и шапку. По ее настоянию Торнхилл расчистил для него кусок земли, обнес аккуратным забором,

дал кое-какие инструменты и мешок семян. Даже отрядил своих людей построить ему уютную хижину, а Сэл принесла котелок и чайник и показала, как готовить чай и как правильно печь лепешки в золе.

Но он так ни разу и не надел ни штанов, ни куртки. В холодную погоду он кутался в старую накидку из меха опоссума. Одежка валялась на земле, зарастая грязью. Один из связанных Сэл носков болтался на кусте — его отнесло туда ветром, там он и застрял. Он ни разу не взял в руки инструменты и не переступил порога хижины. Лепешка, которую при нем испекла Сэл, тоже осталась валяться на земле, пока ее не растащили крысы и опоссумы. Он все сидел, сгорбившись, возле костра, куда-то уходил, возвращался, иногда подходил к задней двери попросить еды, но только если поблизости не было Торнхилла. Порой он исчезал на недели, и Торнхилл соглашался с другими, полагавшими, что он ходил к своим в Саквилл.

Как-то раз поутру, когда вдруг сильно похолодало, Торнхилл отнес ему одеяло и несколько мешков, на которых тот мог бы спать. Джек поднял глаза, и Торнхилл увидел, какими безжизненными они стали, это был взгляд слепца,

который вроде как пытается разглядеть то, что от него скрыто. Он стал ужасно тощим, совсем как лежащий на земле хворост. Торнхилл таким тощим его еще никогда не видел — ребра и ключицы выпирали вперед, а плоть между ними провалилась.

Торнхилл хорошо помнил, что такое голод. Человек, который познал голод, никогда уже его не забудет. Он положил одеяло и мешки рядом с Джеком и сказал: «Вот, Джек, согрей свою черную задницу», но Джек только мигнул в ответ на душевные слова.

Торнхилл сказал: «Пойди в дом, возьми себе какой-нибудь еды». Он еле сдерживался, чтобы не повышать голос. Стал показывать, как едят — подносил руку ко рту, но Джек на него не смотрел, и он сказал уже громче: «Я дам тебе еды, с заднего хода» и показал, как Джеку надо обойти дом и подойти к кухне. Но Джек по-прежнему на него не смотрел. Дымок от костра поднимался над их головами и таял в воздухе.

У Торнхилла кончилось терпение — надо же, сидит как камень. Когда он сам голодал, никто не предлагал ему такие вкусности, которые ждут этот мешок с костями у него на кухне, — свежий хлеб, испеченный из его собственной пшеницы,

солонина, приготовленная из его собственных свиней, яйца, хрустящая зеленая капуста, чай и сахару сколько хочешь. «Клянусь богом, приятель, я б на твоем месте пошел, — голос у него звучал убедительно, голос доброго человека. — Много еды, отличной еды, приятель, — он наклонился, взял Джека за руку, чтобы поднять. — Пойдем, давай».

Прикосновение пробудило Джека к жизни. «Нет», — сказал он.

Торнхилл впервые услышал, как тот произносит английское слово.

Джек сильно шлепнул ладонью по земле, поднялось и уплыло облачко пыли. «Мое, — произнес он. — Мое место». Он провел по пыльной земле рукой, оставив на ней шрам, похожий на тот, что у него на голове. «Я здесь сижу». Лицо его снова закаменело, он уставился в огонь. Порыв ветра прошелестел в дереве над их головами, потом все стихло. В костре зашипела, запела тоненьким голоском сырая ветка.

Торнхилл почувствовал острую боль. Вряд ли кто трудился усерднее, чем он, и он был вознагражден за свои труды. У него имелось около тысячи фунтов наличными, три сотни акров земли, владение которой подтверждено бумагами,

этот замечательный дом со львами на воротных столбах. Его дети носили ботинки, и в доме никогда не переводился лучший дарджилинг. Он имеет полное право утверждать, что у него есть все, что человеку нужно.

И все равно, когда он смотрел на поглаживающую землю руку Джека, он понимал: есть что-то, чего он никогда не сможет получить — место, которое изначально было частью и его плоти, и его души. Не было такого места в этом мире, куда он мог бы возвращаться и возвращаться, как возвращался Джек, просто для того, чтобы ощутить его под собой.

Как будто сама почва дарила утешение.

В нем вскипел гнев, и он крикнул: «Ну и мерзавец же ты тогда, Джек, можешь здесь подыхать от голода, удачи тебе!» И ушел, не оглядываясь. В конце концов, он сделал все, и даже больше. Мог ведь пристрелить его, как пристрелили бы другие, или отхлестать плеткой, или спустить собак. Все, он умывает руки. Если этот чернозадый голодает, так в том его, Уильяма Торнхилла, вины нет.

После этого он время от времени видел дымок, но больше туда никогда не ходил.

• • •

Под вечер он всегда сидел на своем любимом месте на веранде с подзорной трубой в руках и любовался алыми и золотыми отблесками заката на утесах. Там ему сделали скамейку, не особо удобную — обыкновенную деревянную скамейку, но она его полностью устраивала. Девлин приносил ему на серебряном подносе мадеру и сигару. Он смотрел на тополя, которые раскачивал вечерний ветерок, на розы и сирень, в вечернем свете казавшиеся зеленее, чем днем. Вот его стена. Вот его жена в шелковом платье от Эрмитиджа, стоившем двадцать две гинеи, прогуливается по дорожкам. Он слышал мычание своего стада, ждавшего дойки, и крики работников, загонявших стадо в хлев. Чувствовал запах качественного навоза, доносившегося из конюшни позади дома. Сам-то он никогда верхом не ездил, но постарался, чтобы его дети научились сидеть в седле не хуже благородных.

Когда он оглядывал свое имение, то вполне мог вообразить, что все это находится где-то в Англии. Каменная кладка стены так сверкала в солнечном свете, что глазам больно делалось. Четырехугольная, недвижимая, она была подобна

величавому аккорду, звучащему посреди этой взъерошенной земли. Ради этого он трудился. Ради этого лежал без сна, планируя и высчитывая, ради этого надрывал сердце греблей и тяжестями, и вот она, поднесенная ему, словно мадера, хорошая жизнь.

Но там, за стеной и за серебряным подносом, существовал совсем другой мир, в котором за ним, выжидая, наблюдали утесы. Над розами и всем таким прочим вздымался лес. Свист ветра в казуаринах, прямые стебли камышей и тростника, жесткое синее небо — оттого, что Уильям Торнхилл окружил стеной кусочек Нового Южного Уэльса, с ними ничего не сделалось.

Он смотрел, как Сэл вышла из сада, чтобы, как обычно, навестить тополя, теперь уже выросшие настолько, что их ветви смыкались у нее над головой. Она повернулась, чтобы посмотреть на драму света и тени, разыгрывавшуюся на утесах. Взглянула на него, и лицо ее смягчилось. Кожа ее в безжалостном свете потускнела, стали четче видны морщины, но улыбка осталась такой же, какой была на Темзе.

«Все высматриваешь?» — спросила она и присела рядом с ним на скамью. Он чувствовал своей ногой ее ногу, теплую, основательную, это всегда

его успокаивало. Они молчали. Иногда ему казалось, что их тела способны разговаривать друг с другом даже тогда, когда сами они говорить не могли. Потом сказала: «Будешь продолжать вот так, Уилл, и дело кончится очками». Он не ответил. Он подумал, что она знает, что он высматривает, но хочет, чтобы он сказал вслух.

И вдруг она сказала: «Ты знаешь, Уилл, когда я была маленькой, я думала, что ты такой чудесный!»

Он чувствовал у себя на лице выдохи, сопровождавшие каждое произнесенное ею слово. Посмотрел на нее — она улыбалась хорошо знакомой улыбкой. «Почему, милая? Что ж во мне было такого чудесного?»

Она засмеялась: «Ты же так далеко плевался! Па, сказала я, Уильям Торнхилл умеет плеваться очень далеко!»

На всем белом свете об этом могла помнить только Сэл. Он засмеялся, пораженный, смех прокатился по веранде. «А я все еще владею этим искусством, Сэл! Просто здесь такая сушь, что человеку приходится держать всю слюну при себе».

Она встала, положила руку ему на плечо, задержалась на мгновение, а потом вошла в дом. Он

услышал, как в гостиной разжигают камин. Немного погодя он тоже войдет, сядет в свое кресло и будет наслаждаться тем, как в комнате мерцает свет и отгоняет ночь.

• • •

Смотреть на переливы света на утесах — это как смотреть на море. Сколько бы ни жил рядом с ними, все равно их лик остается незнакомым, меняется каждую секунду. Он сквозь подзорную трубу изучал то место, где золотое и серое создавали особый узор. Он знал это сочетание скал и теней так же хорошо, как лицо жены. Но стоило ему глянуть в сторону, а затем снова попытаться найти то место, как свет падал уже по-другому, и оно куда-то исчезало. Подобно океану, утесы никогда не повторялись.

Отсюда трудно было оценить расстояние или размер — уступы на самом деле могли быть как маленькими ступенями, так и вздыматься на сотню футов, деревья казались молодыми побегами, уцепившимися за серо-золотые стены утесов. Без человеческих фигур все это было зыбким, как мираж.

Сквозь подзорную трубу видно было, что деревья, покрытые обрывками коры, растрескались.

Скалы казались живыми существами, старыми, неповоротливыми, только что выбравшимися из моря, их серые морщинистые шкуры испещрены белыми лишаями, кое-где покрыты мехом. Разглядывая их в подзорную трубу, он хорошо познакомился с ними со всеми. Он видел, что глыбы у основания утеса были когда-то частями самого утеса, потому что в тех местах, откуда они отвалились, на краю плато, лес внезапно обрывался. Глыбы отваливались одна за другой и стремительно летели вниз.

Он никогда не видел, как они падают, только иногда слышал дыхание утеса и смотрел в подзорную трубу в надежде поймать момент. Как это происходит, как отваливается глыба — медленно, как падает подрубленное дерево? Или все случается резко, в одно мгновение, и только птицы взмывают с деревьев? Он сидел, прижав трубу, оперевшись локтями на спинку стула, пока все не начинало плыть перед глазами. И все равно ему никогда не удавалось уловить этот интимный акт — момент отрыва от утеса.

И была драма, повторявшаяся каждый день, но за которой он не уставал наблюдать — как тень горы за домом, его собственной горы, наползала на сад, и все, через что она проползла,

становилось темно-серым. Подойдя к реке, тень замедляла наступление. Под конец он видел линию у основания утесов, а затем, через несколько минут, тень взмывала вверх и поглощала последние полосы льющегося света.

Иногда вершина утеса, там, где лес вдруг остановился, как отрезанный, казалась пустой сценой. Но если утес был сценой, тогда он был публикой. Он внимательно и последовательно рассматривал линию леса, водя трубой то туда, то сюда. Кое-кто из них еще мог жить там. Вполне возможно. Выживать, как они умеют, на коре и корешках, на опоссумах и ящерицах. Разжигая костры только по ночам. Они все еще могли быть там, в этом сложном, запутанном ландшафте, отвергавшем и побеждавшем белого человека, — и они готовы были ждать.

Он понимал, что если бы они хотели, чтобы их увидели, он их увидел бы.

Иногда ему действительно казалось, что там, на вершине утеса, он видел человека, глядящего вниз. Он вскакивал на ноги, бежал к краю веранды и всматривался, всматривался, пытаясь различить человека на фоне других вертикальных линий. Не отводил взгляда — он был уверен, что это человек, который смотрит на него, на

его дом.

Он знал эту их способность сливаться с ландшафтом и просто быть. Он смотрел в ту сторону и напоминал себе, как они терпеливы, как они могут превращаться в часть леса. Говорил себе, что это человек, такой же темный, как ствол эвкалипта, человек стоит на авансцене и через все пространство, через воздух смотрит на него, глядящего на сцену. Он продолжал напряженно всматриваться в окуляр подзорной трубы, пока глаза не пересыхали.

И в конце бывал вынужден признать, что то был не человек, просто еще одно дерево, похожее на человека.

Каждый раз он заново испытывал разочарование.

Потому что все это он выбрал сам, вот эту скамью, сидение на которой иногда казалось ему наказанием. Он не мог забыть узкую скамью в проходе в Зале водников, где сидел Уильям Торнхилл, затаивший в душе ужас от того, что его могут не принять в ученики. Та скамья была частью покаяния, которым мальчик должен был заслужить шанс на выживание. Эта же скамья, с которой он озирал свои богатства и на которой отдыхал от трудов, могла бы служить наградой.

Он не понимал, почему не чувствует себя победителем.

В этот поздний час ветер улегся, и река была гладкой, как стекло. Утес рос прямо из воды, и его отражение падало обратно в воду. Легкий ветерок взъерошил реку почти у самого противоположного берега и провел светлую полосу между утесом и его отражением. Полоса то ли разделила их, то ли объединила. Два утеса дополнили друг друга, превратились в нечто законченное, совершенное.

Он опустил подзорную трубу, ощутив внутри гулкую пустоту: «Слишком поздно, слишком поздно». Каждый день сидел он здесь, наблюдая, ожидая, и пока в долине накапливался сумрак, изучал деревья и молчаливые скалы. Он не мог заставить себя положить трубу и отвернуться, пока не становилось совсем темно.

Он не мог объяснить, почему должен продолжать здесь сидеть. Только знал, что покой — хоть немного покоя — он обретает, лишь когда смотрит в подзорную трубу. И даже когда последние лучи заката заставляли утесы мерцать золотом, когда в наступившем мраке они все еще таинственно светились тем последним светом, который, казалось, исходил из них самих, он все

равно всматривался в темноту.

Благодарности

Во время подготовительной работы над этим романом мне помогали многие, я и предположить не могла, что столько людей поделятся со мной своим временем и своими знаниями. Другие жертвовали своим временем, чтобы прочитать черновики. Эта книга не могла бы появиться, если бы не ваша щедрость.

Жизнь одного из моих предков стала основой для описания ранних лет Уильяма Торнхилла, существуют и другие исторические лица, у которых я почерпнула определенные детали при создании персонажей. Но все герои этой книги — вымышленные.

В процессе подготовки я познакомилась с огромным количеством документов, опубликованных и неопубликованных, и приспособила их для своих целей, целей воображения. Читатели, например, могут узнать и описание Олд-Бейли образца 1806 года, и некоторые строки из донесений губернатора Сиднея. Я благодарю тех, чьи труды сделали эти ресурсы доступными для автора романа.

Я от всей души благодарю Школу английского языка, истории искусств, кинематографа и средств массовой информации Сиднейского университета за поддержку во время работы над «Тайной рекой».

Эта книга не могла бы быть написана без помощи Литературного комитета Совета Австралии. И я чрезвычайно благодарна за эту поддержку.

Об авторе



Фото: © Darren James

Кейт ГРЕНВИЛЛ — одна из самых известных австралийских писательниц, чье творчество изучают в колледжах и вузах. Автор восьми художественных и четырех докумцентальных

книг, в том числе бестселлеров «Тайная река», «Идея совершенства», «Лейтенант» и «История Лилиан». Ее романы получили множество наград как в Австралии, так и в Великобритании, по ним сняты фильмы, они переведены на европейские и азиатские языки.

Кейт Гренвилл родилась в 1950 году в Сиднее. Обучалась на факультете искусств в Сиднейском университете, продолжила образование в Университете Колорадо (США), где изучала литературу. Работала редактором в кино и на телевидении.

В 2006 получила степень доктора искусств в Технологическом университете Сиднея, а также была удостоена степени почетного доктора литературы в Сиднейском университете. В том же году вышла в финал международной Букеровской премии. В 2017 году награждена премией Совета Австралии за вклад в австралийскую литературу.